

- **ЧУДОТВОРЕЦ ИЗ МЕСТЕЧКА** —  
новая повесть Бориса Хазанова
- **ЕВРЕЙСКИЕ КОРНИ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ** —  
главы из книги проф. Д.Флуссера "Иисус"
- **КТО ВИНОВАТ?** —  
поляки и евреи в дни Катастрофы
- **ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ** —  
главы из книги М.Хейфеца "Цареубийство в 1918 году"

76

**22**

**МИЛЛИАРДЫ И ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ**

**МИ**

**№76**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ**

# **ДВАДЦАТЬ ДВА**

*Издание общественно-культурного фонда  
"МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ"  
под покровительством комитета ученых  
при общественном совете солидарности с евреями СССР  
Лауреат премии Р.Н.Эттингер за 1984 год*

# **76**

**апрель — май 1991**

## СОДЕРЖАНИЕ

*ЛИТЕРАТУРА:* Марк Зайчик. Воспоминания жизни Семена (оконч.) — Катя Капович. Стихи 1989-91 гг. — Семен Бурда. Стихи — Борис Хазанов. Чудотворец .....3

*ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРЕМИЯ 1991 ГОДА:* Збигнев Герберт. Орфей и Эвридика .....92

*ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ:* Поляки и евреи .....94

*РЕЛИГИЯ-ФИЛОСОФИЯ:* Давид Флуссер. Иисус (главы из книги; оконч.) .....118

*КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ:* Станислав Баранчак. Окно и зеркало. — Лев Аннинский. Дело в евреях? .....131

*СУДЬБЫ ИДЕЙ:* Жак Гимпель. Средневековая машина (эпилог к книге; послесловие А.Кустарева) .....149

*ЗАГАДКИ ПРОШЛОГО:* Михаил Хейфец. Цареубийство 1918 года: преступление и фальсификация (оконч.) .....180

*РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ:* Михаил Золотоносов. "Мастер и Маргарита" и субкультура русского антисемитизма ...200

*ЛЮДИ И КНИГИ:* М.Вартбург. Рецепт бессмертия. — А.Пташкин. Заметки читателя .....216

*На последней странице обложки — Александр Тавиунский (Израиль). Из иллюстраций к повести А.Платонова "Котлован".*

### ВОСПОМИНАНИЯ ЖИЗНИ СЕМЕНА

(Окончание; начало см. в № 60 )

#### Часть II

Когда Сеня только приехал и ему дали койку в студенческом общежитии в комнате на двоих на первом этаже, то каждую ночь в течение примерно недели он слушал доносившийся из телефона-автомата на углу разговор про любовь неизвестного американца с неизвестной подругой в городе Тэнифлай штат Нью-Джерси. Громкий взволнованный голос американца влетал в Сенино открытое окно под регулярный лязг, с которым телефон съедал за заморские связи жетоны, которые надо было загодя купить. Рот парня и половина близлежащего квартала были наполнены резиновыми и ватными звуками американской речи.

Почему ты говоришь, как твоя мать? Что значит "почти не помню твоего лица"? У меня все в полном порядке, кроме того, что ты там, а я здесь. Я все время думал, что со мной это пройдет, а тут выяснилось, что не проходит, а совсем наоборот.

Сеня долго подозревал в этих ночных разговорах одного парня из общежития, потому что тот, прежде всего, был американец, во-вторых, постоянно угрюм, а в-третьих, с подозрительно блестящими фанатичными глазами, и фамилия его тоже была Малкинд, подходящая. Но позже выяснилось, что это был не Малкинд, а совсем другой человек. Сам Малкинд ему это сказал, добавив, что он с ним знаком, еще по Нью-Йорку. Был человек, как человек, богач, красавец, повеса, а вот случилось с ним это, как болезнь души, и нет спасенья, она его не любит, и все. От этого он и из Америки сюда уехал, — сообщил Малкинд. Малкинд назвал фамилию этого человека, и Сеня постарался как можно быстрее и сильнее ее позабыть.

С соседом своим по комнате, грубо скроенным увальнем из Варшавы, то отпускаявшим бороду или усы, а то их сбривавшим, Сеня

неожиданно сошелся близко. Изредка они предпринимали поход в бар на пиво. Отменное бочковое, "свеженькое", как ласково говорил варшавянин, пиво, невнятная, так называемая лирическая, музыка, которую извлекал из потрескивавшего рояля гривастый тапер с лицом и равнодушным, и снисходительным, и две-три девушки у стойки, за беседой ожидавшие прибыли, создавали тот стремительный уют и мерный покой, без которых подобные заведения не привлекательны, да и просто не живы. Возвращались поздно по освоенному, обжитому городу пешком в горку мимо больницы и вниз с нее через "субботнюю" площадь опять вверх и вниз, мимо религиозных учебных заведений различного уровня, от детских садов до раввинского училища имени Аарона, мимо "бухарского" рынка и турецкой бани со сломанной халатомеароновским хулиганьем вывеской, через несколько лет тем же хулиганьем сожженной до самого черного банного дна, через перекресток в общежитие с бдительным, остроглазым дежурным в двойной рамке окошка и бакенбардов, выкурить, сладко повздыхав ("а та в лиловом была какая, да-а?", "интересно, сколько это стоит?") по последней уже горьчайшей от излишества сигарете, и спать. Спать.

Сеня еще только набирал, все ему было в плюс на этом подъеме, на тем более таком доброжелательном месте, все влияло на него, даже сны. Только он никак не мог научиться их запоминать и записывать за известную личную красочность и некоторую трагичность в предполагаемую тетрадь под названием "Личные Сны Семена Н." Он ничего не мог поутру вспомнить. Помнил ощущение чудесного постороннего интереса, некоторую ночную отчужденность, а вот что, как и, в известном смысле, с кем, не вспоминалось никак. Ничего не помогало никогда. Сеня, конечно, досадовал, но смирился легко, значит, не суждено записать свои сны — он был, вернее сделался, фаталистом. Но, в общем, Сеня был очень счастлив, приехав в эту страну жить. Немного стеснялся своего вида, выражения лица и прочего, считая, что ему никак было не успеть заслужить за свои молодые годы этой жизни. Божественный предел ежедневно сияющего над ним бездонного неба каждое утро по дороге на лекцию подчеркивал это Се-не.

Погодные условия очень нравились ему, превосходя все его молодежно-юношеские предположения. И новый язык ему поддался: он уже читал газеты, книги, учебники, титры в кино, только стеснялся своего произношения, ошибок, опасался вопросов в автобусе, просьб на почте и прочего, не говоря об унижительной возможности спро-

сильно что-то самому. С аборигенами Сеня говорил междометиями, стесняясь чужих улыбок. Впрочем, это довольно быстро прошло, вместе со временем, небольшим, но временем. Это уж совсем потому он и не стеснялся ничего, никого, и было что сказать, а вот говорить не тянуло.

И еще, кроме спокойной подготовительной учебы, трепетных писем от родителей на сероватой в линейку, с осколками дерева, советской бумаге, русских книг в мягкой обложке, футбола по выходным на бесконечной парковой поляне возле парламента, когда его настойчиво соблазняли выступить за местный клуб, но он как-то устоял, девушек, девушек разного происхождения и положения, старого города и стены в нем и дороги к стене, было, среди прочего, великолепное устойчивое чувство свершившегося предопределения.

Изредка Сеня захаживал, когда бывали деньги, в маленькое кафе, сжатое прачечной и табачной лавкой до трех столиков, на первом этаже соседнего с общежитием дома. По утрам там давали яичницу с помидорами, перцем и луком, белый хлеб, масло и чай, хозяин хмурясь изучал газету, свежо толковало радио толковые комментарии на два голоса, и хозяйская дочь выходила из-за кухонной занавески, смущенно улыбаясь. Она была неожиданного цвета. Неожиданного, так как глядя на ее мрачного отца за стойкой, масть которого далеко зашкаливала за понятие темный или смуглый, приближаясь к понятию, скажем, опаленный, можно было предположить некий парадокс природы, что и имело явное место. Она была на полголовы выше отца, ясная нежность ее лица под мягчайшей, пшеничной тенью подсказывала, что в создании ее участвовала и мама, на которую тоже следовало бы взглянуть, из любопытства. Звали ее, как часто бывает в этих семьях, Оделия. За девушкой этой следовали лохматая собачонка и пепельный кот, широкогрудый и гладкий. Она несла поднос с Лениным обгаренным завтраком, и когда она наклонилась расставить на столе тарелки и волосы завесили ей лицо совсем, Сеня сказал стуча сердцем о грудную клетку:

— Ну что, Оделия, как здоровье жизни?

В радиоприемнике гороховый сухенький дождь слов сменился программой про оперы и арии в них. Хозяин нахмурился еще больше и, не отрываясь от газеты, прикрутил у Кармен громкость.

— Я начала учиться позавчера, — сказала Оделия, прижимая к себе поднос и улыбаясь Сене от удовольствия самочувствия.

Сеня заулыбался ей тоже, закивал, спрашивая ее глазами, каким, мол, наукам отдала она свое сердце.

— Я изучаю английский язык и литературу, а также литературу американского наречия, — отвечала Оделия скованно, стоя к отцу спиной и сияя Сене изумрудными глазами.

— Оделия, — тускло сказал ей ее отец — кондитер и повар, то есть бывший кок грузового судна. Не говорливый, конечно, человек, с очень цепким взглядом, медлительный курильщик, не лезший никогда не в свое дело, сам по себе, как бы все видевший насквозь. Невозможно быть суровым во сне и со сна, а вот Оделин папа приходил после обеденного сна открывать кафетерий, который у него просто назывался "Париж", и даже отпетый, обкуранный уже, окружной хулиган, сидевший на низкой красноватой иерусалимской стенке напротив парижского входа, ежился и сдвигался под быстрым, враждебно-мрачным взглядом бывшего моряка. Нужно ли говорить, что Оделия, вздрогнув и ничего больше не сказав, повернулась и ушла чуть ли не в слезах.

— Как досадно, и не поговорили, — подумал Сеня, глядя под темным взглядом кондитера на свой горячий, ало-желто-зеленый завтрак, переперченный даже на пересоленный Сенин взгляд, и, так ничего кондитеру не ответив, успев подумать о том, "флаг какой страны так аппетитно представлен передо мною", принялся с всегдашним аппетитом за еду, промолчал.

А что было, собственно, говорить?

За хозяином, на стене, уже тогда сотворенный, висел портрет плачущего трагическими слезами мальчика, который потом украшал спальню Сени, по другим соображениям, и вышитый. А здесь, этот, был нарисован трагическими масляными красками, отражая, в известной степени, судьбу народа в изгнании и на родине, но все же излишне преломленную возбужденной душой неизвестного художника. Так как душа Сени была в то время не так возбуждена, то картина эта еще не украшала его жилища.

Занавеска двинулась, весело потрещав деревянными кольцами под потолком, и Оделия вышла с подносом для другого любителя восточной кухни поутру, сверкнув в сторону Сени сизоглазым нежным профилем. Так называемый "другой" любитель восточной кухни поутру, сидевший у восточного солнечного окна, прятал от солнца круглое бритое лицо, уж совсем обнажившееся после того, как любитель восточной кухни снял и сложил в футляр свои невнятные очки, легко и уютно расцепив и сцепив. А затем еще несколько раз, просто так, для удовольствия звука и ритма: расцепить и сцепить, расцепить и сцепить. Внимания глаза этот человек, может быть, не заслу-

живал, но, как и все люди, заслужил внимание слова. Он был рыхловат, одет без изыска и фантазии, впечатление производил подозрительное. Про себя говорил без уважения "Мишка", обыкновенно в третьем лице: "Куда бы Мишке пойти? А пойдет-ка Мишка в кино".

Был он откуда-то из провинции, выехал в составе огромной семьи через Польшу лет двенадцать назад, был не женат, тридцатилетен, где-то нехоту работал, помогая себе жить песней из старого фильма: "Не кочегары мы, не плотники, в чем сожалений горьких нет, как нет, а мы монтажники-высотники, да, и с высоты вам шлем привет". И свистел, как разбойник, надкусывая нижнюю губу.

— Ты думаешь, она не даст, — сказал Мишка громко через все небольшое, но конструктивно веское пространство кафе, — а она даст, и еще как даст.

Мишка смотрел на Сеню, перенимая от Одели тарелки, расставляя их на столе.

— Отца она, конечно, боится как огня, он ее бьет как сидорову козу, как в барабан, бьет, но тебе, подчеркиваю тебе, она даст, — Мишка подмигнул двумя глазами, свистнул и начал есть, хлопая щеками.

По глазурному небу пробежал как бы штрих за внезапно смеркшим окном, как это бывает в этой местности земли. Ненастье, как несчастье из пунктира непогоды. Нагнало ветром мрачных облаков, прозрачная синь стремительно сгустилась, и из одинокой помехи для глаза образовался частый неестественно крупный, резкий ливень, взбивавший пену на уличных, непреходимых потоках. С каменным страшным гулом побежала вода в сточных каналах, задул ветер в нижней октаве, и если, сокращая путь от автобусной остановки до дома, перебежать газон тяжелыми вязкими шагами, то следы ваши в траве будут неожиданно огромны, глубоки и полны черной густой воды...

— Ничего нет лучше, чем сидеть в тепле в такую погоду и питать тело, — сказал Мишка, оглядываясь на мокрое окно.

Середина декабря. Осень.

...и если посмотреть сверху, из своего окна, на этот, кажущийся идеально ровным, газон, окруженный стриженными кустами лавра и кривым голым ореховым деревом в его правом углу, на суетливый пунктир расплзающихся луж, пару минут назад бывших твоими собственными следами, то становится не по себе и сжимается сердце.

Так как Сеня был более непредсказуем, чем иерусалимская погода, которую предсказывали по радио на три дня вперед с точностью оптического прицела, но не менее неожидан, чем она, то поступки,

совершаемые им, были неожиданны даже для него самого. В его душе и характере было это женское начало, была эта женская импульсивность, эта непрекращающаяся борьба зла и добра, о результатах которой он не всегда знал, не мог догадаться и не всегда желал знать.

К вечеру Иерусалим, который находится на вершинах холмов и на подступах к вершинам, отражается в мокрой асфальтовой части Иерусалима подножий, в окнах улиц низин, и, конечно же, наоборот, нижний городской профиль отражен вверх.

Сеня попросил счет, и хозяин, глядя исподлобья, выбил в кассе одним пальцем умеренную во всех смыслах сумму: и в смысле цены стоимости. Все распроцались: хозяин сказал свое хрипкое слово так, что вошедшая с кофе для Мишки Оделия споткнулась, Мишка сказал "заходи", а Оделия пошевелила пальцами свободной руки, что, "мол, я жива еще, чего и тебе желаю".

Он вышел и от неясного огорчения расслабленно, как почти никогда не делал, пошел к автобусной остановке. Расслабленно — это когда суставы рук и ног при ходьбе работают как бы в трех измерениях, некий оптический самообман, некая работа над собой, над своим впечатлением от себя. Отойдя, Сеня обернулся и увидел, что Оделия, нагнувшись у окна, вытирает тряпкой листья пальмы, скучно произрастающей в кадке, и смотрит на него исподлобья.

Мгновенно Сеня промок до самой труднодоступной точки тела — поясницы, дышать было нечем в этом дожде, на остановке Сеня спрятался под узкий навес, встав на скамью к троим пострадавшим, и дождь полил с края крыши так мощно, что увидеть Сеню даже вблизи стало невозможно — занавес закрылся.

Короче, ничего у Сени с Оделией не вышло. Больше того, она куда-то пропала и один "русский" Сенин сокурсник, скуластый человек из Иркутска, живший поэзией и в поэзии, ну и, может быть, еще в своей подруге, рассказал вскоре Сене за утренним, мрачно-коричневым кофеом, что "слух прошел — Оделию отдали замуж за местного мужчину" и что "так, наверное, для всех лучше, потому что она головы всем тут дурила, всухую, правда, но все равно отец ее ненормальный кого-нибудь бы прибил". Он и сам писал стихи, этот парень, и часто Сеня повторял, выпив с ним по рюмке, глядя на его красное от удовольствия, смущения и вина лицо:

Все как прежде Ни лица, ни стона Лишь зловеще кричала ворона,  
А по улицам Иерихона Проходили полки Шарона.

Жизнь его по его рассказам восстановить было трудно, времена-

ми невозможно, и хотя Сеня отчаялся уже что-нибудь понять, да и не желал знать, тот по-прежнему рассказывал истории из журнала "Посев": про попытку перехода границы где-то на юге, "и представь себе, уже был за кордоном, запыхавшиеся пограничники, суетясь и матерно ругаясь, спускали с длинного поводка собак, вызывали по рации вертолет, я дышал воздухом свободы, но поверишь, так защемило сердце, аж задохнулся, и я вернулся".

— А собаки что? — спрашивал Сеня.

— А я след табаком присыпал, так и ушел, — отвечал сосед.

— А-а, — говорил Сеня.

Звали его подходяще — Абрам. Однодумом он не был и после окончания подготовительного курса собирался закончить курс права и стать адвокатом униженных, оскорбленных, бесправных. И все равно Сеня Абрама любил.

"Поляк" Сенин из его комнаты уехал в Стокгольм встретить своих оставшихся в Польше "поляков", которых окончательно прогнали из дома либералы-коммунисты. "Поляк" простился, собрался, как по команде, и, грустный — он все же прижился здесь — отбыл, чтобы, кажется, не вернуться. Вся его кровная Польша была в Стокгольме: растерянная семья, польская газета в изгнании, польский клуб культуры, польское кафе, польские пенсионеры при галстуках, польское свободное место. Здесь, на еврейской земле, квота на "поляков", Бог весть кем установленная как бы изустно, была давно выполнена и, по мнению некоторых, перевыполнена.

С Сеней "поляк" свылся, привык к нему, ему нравилась Сенина сдержанная манера, его уважительный разговор на вы, но уехать ему было надо, ничего поделаться было нельзя, и он уехал. Место "поляка" сумел занять Абрам после непродолжительной, темпераментной борьбы с доброжелательной администрацией. Он вселился со своими бесконечными книгами, литературно обработанным прошлым, гардеробом и опять книгами. "Еще один сумасшедший русский", — как нежно говорила симпатизировавшая Абраму американка с их этажа по имени Нэнси Шапира. Настольное зеркальце в деревянной иркутской оправе часто демонстрировало Абраму его лицо: его широкий, щетинистый, скуластый образ. Не без удовольствия Абрам поглядывал на себя.

С ними в компании был еще, старше их, крепче их, художник Витя — любимец Бога, то есть Готлиб. Неизвестно, чем уж и так уж он его любил, так как Витя, хоть и не был одинок, но все равно зрелище являл собой еще то: пожилой, лысый, рыхлый, не нужно прибавлять,

что бедный, но зато цепкий, глазастый, рукастый, вызывающе спокойный, и можно добавить, что отвратительно самостоятельный. Возле рынка он снимал двухкомнатную квартиру за небольшие деньги, половину из которых ему выделяло агентство евреев и евреек. В первой комнате возле детской кровати стояло советское фортепьяно, из "красного октября" которого извлекала простенькие мелодии красивыми руками юная жена Вити Валюша, женщина, по ее же словам, "счастливая". Во второй комнате за неприбранной супружеской кроватью стоял на венском стуле телевизор "Темп" еще не переделанный на местный стандарт. Телевидение только-только началось в этой "маленькой, солнечной стране" на окраине востока, вернее центра юга, если смотреть с севера. Напротив окна стоял мольберт с начатым фиолетовым натюрмортом: баклажан и яблоко на кривом столе. В углу, лицом к стене, стояли прислоненные, тяжелые от краски, холсты. Так вот: Сеня и Абрам проходили гостиную, стараясь идти медленно — Валя, кивая, укачивала ребенка, из дверки в стенных часах выскакивала кукушка, отмечая ровно четыре часа, — и просачивались во вторую комнату, где Витя, буднично шурясь, вытирая пальцы о сатиновый, рабочий халат, оценивал под светом коңчающегося дня результаты своего труда. Всегда находилась у хозяина бутылка так называемого "медицинского" коньяка, еще бутылку приносили гости. Выпивали достаточно для того, чтобы потеплеть, расслабиться, признаться в грехах, полюбить Витину линию и цвет, достойные этой любви. Из окна видна была огромная лощина, ставшая иссине "прусского" цвета под багровым, слабеющим солнцем. Мир за окном смягчался и принимал выпивших в себя просто и ласково. Тем не менее в этом районе шла война, свои и вражеские люди в цветущих годах теряли конечности, внутренние части тела, кровь, жизнь, рассудок. Наш одинокий самолет хищно и чудовищно громко пролетел над египетским берегом, сбросив кувыркающийся многократный груз, сыгравший на фортепьяно земли длинную, пыльную гамму смерти.

Напевая чудную современную песню "Мой флаг бело-голубой" в немислимом ритме, вошла, как всегда веселая, Валя, укачавшая, накормившая уже ребенка и как бы весь мир, во всяком случае такое создавалось впечатление у выпивших. Песня про флаг звучала в ее устах дивным гимном любви.

— Покушайте холодца, мальчики. Я холодец, мальчики, вчера сготовила из курьих ног, и хренка вот Витя в рынке взял.

Она сама, Валя, была из Москвы, из профессорской семьи и гово-

рила так не специально, разыгрывая некую мифическую хозяйку русского дома в Иерусалиме, а потому что была сослана вместе с мамой за уральские горы в ссылку. Ее отца арестовали как особого, медицинского врага русского народа и еще называли "выкормышем" известной подпольной организации жидов "Джойнт". Вот в Сибири Валя и стала так говорить по-русски, и отучить ее, как ни старались, ни родственники, ни муж не могли.

От Валиного голоса и вида Сене неожиданно стало вдруг так сладко, тоскливо, одиноко, что он отчаянно, чуть ли не сдерживая слезы, пожалел себя, свою жизнь. Вот где-то есть мягкие, теплые, понимающие женщины для кого-то, кто их заслуживает, а вот он ты, выпивший водки, одинокий. И, Боже мой, когда наконец я буду счастлив так, как был счастлив в детстве и как мечталось в юности?

У Вали было прекрасное настроение от этого вечера, от того, что ребенок спит, от ощущения своей зрелой, расцветшей после родов красоты, от этих трех выпивших мужчин. Глухим от любви голосом она пела прицепившуюся еще в Москве песню: "Пароход белый-беленький, черный дым над трубой, мы по палубе бегали, целовались с тобой..."

Походя она включила на подоконнике приемник "Спидола", отделанный под слоновую кость с российским устрашающим изяществом.

— Семнадцать часов шесть минут, передаем популярную музыку, — сказал диктор.

— Всю жизнь хотел стать президентом США, из СССР уехал для этого, и на тебе — нет права быть избранным, — пожаловался Абрам, — крушение основ.

— Каких основ, Абрам? — спросила Валя, накладывая ему студня в глубокую тарелку с позолоченным узором по краю.

— Па..ри..ра..ра..ра..ра..а..ра, — нежно запело радио. .

— Музыка из кинофильма "Мужчина и женщина", — договорил диктор.

— Та..ри..ра..ра..ра..ра..ра..ра, — пела таинственная женщина, сжимая Сенино сердце.

Студень оказался несъедобен, что в общем-то ожидалось и было заранее всеми прощено, кроме мужа. Муж с раздражением рассматривал в вечерней газете рекламу фильма на всю страницу: одинокая привлекательная девушка широким ножом отбивалась от сумасшедшего маньяка с кровавой царапиной на ужасном лице.

— Есть женщины, которые никогда не испортят студня, — меч-

тательно сказал Витя.

— Кого ты имеешь в виду? — спросила Валя.

В Сениной душе наступил хаос, он перестал понимать происходящее и окружающее, он позабыл русский и другие полужнаемые языки и прилег возле тахты навести в себе порядок, поспать. Витя с закрытыми глазами обнимал левой рукой мольберт. Абрам читал стихи из только что начавшей выходить на русском языке газеты, громко, в поэтической напористой манере: В магазине мы вдвоем замечательно живем Книги жмутся возле стен, Только фильмы взяли в плен. Радуетя вся семья Репин к ним пришел Илья. Он из финских хладных стран В гости к нам в Израиль зван.

Валя немного прибралась, затворила окно, из которого уже холодно дуло, подняла пачкавшуюся как бы сажей газету возле заснувшего Абрама, которому снилось стихотворение "Клеветникам России", как раз слова: ...От потрясенного Кремля До стен недвижимого Китая, Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля? ...выключила свет и с газетой в руках вышла в другую комнату, плотно притворив дверь за собой. Она сделала себе чаю, и рассевшись возле кровати с чашкой, пропустила новости первой страницы, разгромные экономические обзоры третьей, задержалась в "женском уголке". Там, за питательными масками из огурца и клубники, между упражнениями для живота и груди, Валя нашла брачное объявление. "Одинокий вдовец, — было написано откровенно и громко, — предлагает полной женщине (полная женщина подчеркнута):

1. Дружбу и любовь.

2. Отдельную комнату с правом пользования всеми приборами для совместного проживания.

3. Одинокая, без детей (мать не будет помехой), скромная, честная и хорошая хозяйка может рассчитывать на счастливую семейную жизнь. Саша".

— Обаятельный наверное мужчина, — удивленно подумала Валя. Она подошла к заворочавшемуся мальчику, долго смотрела на него, "какие все эти младенцы рукастые", повздыхала, выкурила в открытое окно сигарету. Светила полная яркая луна за ясной тюлевой занавесью облачного неба, на соседнем крытом балконе четверо пожилых мужчин в шляпах набекрень играли в карты за голым столом, гудела переполненная пепельница фальшивого фарфора, женщина в платке вносила творожный торт на розовом блюде, озабоченно разыскивая глазами место, а также время.

Круглоголовый, стриженный бобриком, сливоглазый Мишка из

кафе "Париж", в котором сияла кудрями Оделия, появился неожиданно. Пришел в общежитие к Абраму и Сене, сел, не спросясь, за стол, достал карточную колоду, потрещал, помешал, потрещал, карты были новенькие, небольшие, в клетчатых рубашках, так и летали, синенькие.

— Возьми одну, запомни и верни, — сказал он Абраму.

— Ну что Мишке с вами делать? — спросил Мишка, размешивая колоду и из плотного веера неуверенно извлекая бубновую семерку, — эта, что ли? А ты, Абрам, говоришь стихи, кто играет семь бубен, тот бывает, что, Сеня, бывает? Совершенно верно думаешь — победен.

— У меня лекция, — сообщил Сеня, нагибаясь в поисках ботинок.

— Ты видел, — закричал Абрам. У них в Иркутске таких "фокусников" били и сажали в холодную.

— Ошибаешься, я не видел и видеть не мог, мой дорогой пастушок, — сказал Мишка.

— Почему пастушок? — опешил Абрам.

— Потому что похож, вылитый босой пастушонок, я такими в "Родной речи" после войны наслаждался, золотоволосыми дикарями, а вот еще раз Абраша семь бубен, — и он извлек очередную семь бубен из колоды и выбросил на стол.

— Я тебе сейчас по морде дам за дикаря, — сказал Абрам тихо.

— Прости, прости, Абрам, не хотел, так кто, Семен, играет семь бубен, тот что, Семен, бывает? Правильно думаешь, товарищ, нае..ен.

— Тебе же надо чего-то, говори уже, а то все это кончится плохо, — подсадовал Абрам. Где и когда успели они сойтись, и на ты, впрочем Абрам всем немедленно начинал говорить "ты", чему способствовало, кроме происхождения, устройство вновь обретенного языка. — Сейчас, ты радио выключи, я живу в другом ритме, — карты летали вокруг него заморскими быстренькими, пластиковыми птичками, которые задешево во множестве продавались лоточниками вразнос в центре города на разгул печали и веселье души. — И вообще, что это вы меня не угощаете с азиатским гостеприимством? И не развлекаете? — поинтересовался Мишка. — И не веселы? Я такую весть принес. Где чай и пироги?

Абрам, который, как почти всякий пьющий человек, не мог пить тонизирующие напитки, при слове чай, произнесенном высоким баритоном, поежился. Да что говорить, когда он воды не мог выпить, потому что жидкая, похожая и булькает. — Сейчас будет чай, — ска-

зал Сеня.

— Вот это по-нашему, по-профсоюзному, — возрадовался Мишка. Он спрятал карты в карман, поглядел на зубастое пламя под чайником, качнулся и сказал: — Министерство спустило фонды на издание книги воспоминаний о жизни нашего народа в России, от и до наших дней. Я — главный редактор и казначей, вы — писатели. Оплата — месячная зарплата врача каждому.

— Почему врача? — не понял Абрам.

— Хорошо, — согласился Мишка, — двух врачей.

— А еще кто с нами?

— А тебе что, нас, Абраша, мало? Мы тебе плохая компания, Абраша? — спросил Мишка с уже как бы соучастником Сеней. — Вы ребята грамотные, все за всех вдвоем за недельку и напишите.

Сене стало смешно, но он сдержался и, шнурюя ботинки, как можно мягче сказал:

— Я, Миша, пас, найдите кого-нибудь другого.

И притопнул, вставая, ненадевшийся башмак.

— Да что ты, Сеня, такое говоришь? Где же я найду? — помимо всего прочего Мишка еще был ленив. Лень, вообще, была его положительным качеством.

— Мне вспоминать нечего, я и не помню ничего, писать воспоминания надо уметь — я не умею и не хочу. Что тебе от меня надо? Давай, вали отсюда, — сказал Сеня, почему-то улыбаясь.

— Да что с тобой такое? Что случилось? Какая муха укусила? — Мишка вслух искал мотивы.

— Действительно, Сень, ты чего на людей бросаешься? — Абрам хотел мира, литературной славы и денег.

— Не хочу я объяснять, мне это просто не нравится, подозрительное предприятие для проходимцев, я опаздываю на лекцию,пусти меня, Абрам, — и Сеня вышел.

— Ну, ты тоже отказываешься? — спросил Мишка.

— Нет, я с тобой, не понимаю, что с Сенькой происходит? Неважно, так вот, — решительно сказал Мишка, — план такой...

Повернувшись спиной к столу, Сеня сидел в глубоком кресле и смотрел в окно на черную трубу над плоской крышей противостоящего двухэтажного дома, сложенного из огромных, нарезанных в окрестной каменоломне, блоков, на мокрую частую поросль стриженного дерева рядом, на бело-оранжевый закат, видневшийся на подъеме между домами за окраиной города в конце веселого, как бы ситцевого, голубенького неба зимней Палестины.

К центру города бежала довольно широкая улица под названием, ничего не говорившем малосведущему в библейских делах Сене. По этой улице можно было, если захотеть и поторопиться, спуститься и успеть в университет, а можно было и, наоборот, подняться в дешевую, малопривлекательную рюмочную — штаб местной прогрессивной интеллигенции и запущенной бездельной шпаны, и ни на кого не глядя, пряча от авангардистов, либералов и хулиганов глаза, захмелить себя двумя стаканами коньяка за смехотворно дешевую сумму вдруг окрепших еврейских денег.

Но все это еще ничего. Все это еще проходит и проскальзывает, не нанося урона душе и телу. Возраст еще таков, что таинственное будущее окрашено многообещающим небесным цветом мечты, которую можно слепить и склотить своими гудящими от сухожилий и мышц руками в прекрасное настоящее из современного отлично написанного романа. Сениной души еще не коснулась тень так называемой взрослой жизни, столь презираемой и желанной. Он был слишком поглощен своей подругой, сложением ее тела, ее случайно произнесенными словами, чтобы задуматься о своей судьбе. Жизнь подруги была заполнена постоянной борьбой: она боролась с дверкой автомашины, с водой при плавании, с университетским обучением, с банковскими операциями, с состоянием красоты своего лица и никогда — со своей душой. Девушка эта была, что называется, правильный, хороший человек, Сеня женился на ней по совокупности всех этих качеств, а еще за лицо, за угаданную душу, за особую гладкость кожи и за наполненную линию, ведущую от поясницы к ягодиче и к ноге. У нее совершенно не было памяти на слова, на любовь и все такое. Вчера любила, шептала чудные слова, а сегодня как бы забыла, все надо начинать сначала. Не нарочно, а такая разная женщина. Они познакомились на баскетбольной площадке у моря, выложенной фигурным бордовым кирпичом. Была шутливая игра на все поле. Смешанные команды в оранжевых сумерках. Сене досталась "на стражу" эта девушка, и, как человек ответственный, он выполнял свои обязанности на совесть: задерживал двумя руками ее не профессиональный, но судорожно-грациозный проход. Она была в очень широких цветастых шортах, не спортивна, но по-деревенски крепка, умопомрачительно сердилась. Кто знал, что эти объятия на баскетбольной площадке перейдут в совместную супружескую жизнь?

Нельзя не сказать, что память все-таки понятие аморальное, и не согласиться вслух с этим.

А потом приехал Овся со всеми своими женщинами, папками вос-

поминаний и багажом в двенадцати огромных контейнерах, сколоченных без просвета из неошкуренных половых советских досок. Конечно, Сеня взял с собой в аэропорт Абрама, и, конечно же, они принялись по глотку тут и там, "сыграли горниста" в честь приезда Овси на трубе "распрекрасного" коньяка, прочистили глаза политурой неба над аэродромными флагами и дождались его появления из раскрывшихся по электрическому приказу дверей, как и разумелось само собой, перед выдающимся воспоминанием. Впечатление Сеня и Абрам производили на несколько сдержанную столичную публику и разношерстную, более расположенную и демократичную, тель-авивскую, примерно похожее — ошеломляющее. Абрам был хотя и в костюме, но в застегнутой доверху белой рубашке без галстука, из-за не любви к нему, в великоватой кепке букле, в излишних брюках и икал. Его лицо медно-азиатского типа пылало и ширилось шире плеч, он с утра говорил стихами Заболоцкого. Сеня как-то держался, поддерживая Абрама за локоть, за пиджачный рукав, нашептывая ему на ухо контексты, противоядие на этот опшумный, сладкий шквал слов. Фразы, высеченные на камне Сениной мамой, повторяемые ею годами, являлись этими драгоценными каплями. "Язык дан, чтобы говорить умные вещи, — невнятно впевал Сеня в пурпурно-бурое ухо Абрама, — если нет ума, то это надолго. У Бога много. Дурак не заметит, умный смолчит. Что, Абраша, написано пером, того, милый, не вырубишь топором". А Абрам, знай, свое. В общем, они ладили. И когда Овся наконец появился с торчащей из кармана пиджака бордовой авторучкой, то отношения всех троих можно было с уверенностью обозначить словом "братание".

— Это Абрам, Овсей Самуилович, — говорил Сеня.

— Неважно, главное свой, — отвечал Овся.

Женщины его стояли возле, Мила стала уже полной, законченной красавицей, уже никто не мог даже подумать о том, чтобы дать ей фору; мать ее, строгая женщина в платке, по-прежнему Сеню пугала, хоть и была растеряна и удивлена. Здесь же Сене была вручена рукопись воспоминаний, в которой прибавилось как страниц, так и событий. Сеня отошел в сторонку и волнуясь развязал тесемки папки. Овся поглядывал за ним ястребом. Рукопись была перепечатана заново, на хорошей бумаге с полями, на первой странице было большими буквами написано: "Овсей Самуилович Принцип. Моя жизнь". В текст Овся изменений не внес и там все так же одно за другим аккуратно подобранные бежали слова: — Маленький городок, большой лес, кругом рощи, сады. Поют птички, гудят пчелы. Дачная мест-

ность. Можно хорошо отдохнуть. Мне 10 лет. Вокруг живут разные люди. Выделяется сосед Колокуйский, по национальности белорус, себе на уме. Он еще нас позже обкрадет во время отступления в 18 году. В канун праздника Кущей 1915 года в наш город вошли немцы. Мировая война, которая началась раньше и наделала много шума в мире, была вначале не страшной. Немцы ехали на сытых лошадях. Офицеры были любезны, не устали, улыбались и говорили между собой по-немецки.

У Сени заципало в носу, поплыли, как всегда, дальнейшие строчки, и он отвернулся от Овсиного взгляда, толкнув плечом охранника аэропорта в штатском, который, облокотясь о колонну, торопливо шептал что-то в черный аппарат связи с торчащей антенной. Парень бешено прошипел Сене в ответ неличеприятные слова, и коробка в его руке аж заревела — не выносила ругани. Сеня был настроен так мягко, так растроган, что все это пролетело мимо. Мимо. Не задело и упало в углу под стеной невзрачной кучей. Только "сука недорезанная" выделялась, как бы говоря: "Вы хотели моего сучьего тела — вот оно".

Абрам смотрел на Милу, держась рукой за горло, как героиня русской драмы. Мила ему понравилась. Она напоминала соседку, которую Абрам в детстве ругал словом "голенастая". Мать Милина разделяла их на всякий случай неприступным утесом своего плеча. Овся смотрел на Сеню во все глаза и был счастлив, как бывают счастливы неприхотливые, неизбалованные жизнью люди. Он приехал к своим, и они его сразу признали за своего. Все сошлось, и гармония теперь была полной. Рядом дружки обнимали известного демократа в расстегнутой ковбойке. Порхала по рукам бутылка коньяка, казавшаяся ладным и чудным букетом коричневых цветов. Демократова жена укачивала поблизости близнецов в стальной коляске, влажно шмыгал носом демократов пес-боксер у хозяйских ног, и демократ азартно рассказывал сильным голосом, как его раздели на таможне и он ушел из России голым, как художник Брюллов. У демократа было крепкое большое лицо без переносицы — лоб без перепада переходил в перебитый, корявый нос. Демократ был губаст, ушаст, рот плотно сжат. Взгляд каторжника, хотя и не злой, короткая стрижка, залысины, длинные руки в закатанных рукавах. Клиуха "отмахивается", — как говаривали когда-то в Питере.

Почему-то в этой группе хорошо друг другу знакомых людей стоял и Мишка, выжидая паузы в этом бесконечном московском дивертисменте. Наконец вступил, оттопав такт, как дети, впрыгивающие

под скакалку: "Дорогой друг, свободные профсоюзы этой маленькой, но солнечной страны приветствуют вас на родной земле".

Демократ потоптался, пожал плечами, потрещал дневной щетиной, убрал от лица руку и смущение и сказал приветливо, как мог: "Да-да, спасибо большое". Они пожали руки, жене демократовой Мишка вручил букет гладиолусов и тут же произнес:

— Вы знаете, уважаемый! Небольшое интервью для нашей профсоюзной газеты?!

— Как-то, я, здесь, с друзьями, — промямлил демократ, еще не привыкший.

— Пять минут, а нам очень важно, — сказал Мишка, — как вы расцениваете?..

— Кому это нам? — мрачно подумал Сеня.

— Ситуация на самом деле такова, — деловито сказал демократ.

Сеня отвернулся и опять увидел сияющего от счастья Овсея, его дочь Милу, играющую в гляделки с Абрамом, и их строгую жену и мать, прикрывающую дочь телом от поползновенный нервного охранника, который, забыв об обязанностях, револьвере на ягодице и аппарате связи, ходил вокруг Милочки, плотноядно треща зубами, сверкая неукротимыми глазами, покорно свесив набок язык. Мать выбрала справедливо из двух зол меньшее, хотя, по ее мнению, и пьяное, и теперь активно способствовала знакомому и понятному русскому альянсу.

Их отвезли всех на временную квартиру в город Иерусалим в семиместном такси, Овсей занял, распахнув от счастья окно, два места, радио играло, потрескивая, "Амурские волны", Мила хотела нарезать воздух ломтями и есть, как пирожное из "Севера", шофер озабоченно поглядывал в зеркало заднего вида на себя и эту кудахтающую девицу, квартира была новой, пахла краской, олифой, двери прилипали, Сеня был пьян, Абрам влюблен.

— Слушай, какой подарок можно сделать молодой женщине, а, Сеня? — отступая от своего изображения во весь рост в шкафом зеркале, любуясь нарядом без галстука, спросил Абрам.

— Купи золотой кулон, — посоветовал Сеня. Он лежал глубоко в кровати, руки за головой, настроение философски-созерцательное.

— Я куплю духи, — сказал Абрам, поворачиваясь в зеркале боком. Бок его, надо сказать, был также хорощ.

— Что же спрашиваешь?

— Ты посоветовал, я и решил, — невозмутимо сказал Абрам, вглядываясь в свое лицо в зеркале и находя его совершенным.

— Тяжело ей придется, — удовлетворенно решил он. — Почему ты, Сеня, смотришь без выражения плохо скрываемой зависти и нескрываемого одобрения на меня?

— Надо говорить наоборот, кажется, нескрываемая зависть и так далее, а почему ты решил, что она придет?

— Ей просто некуда от меня деваться, такого, — прищелкнул языком Абрам, довольный и общим видом себя, и его частями.

— Ты знаешь ответы на все вопросы, и все они правильные. Ты не только хорош собой и привлекателен, но и очень умен, я горжусь своей близостью к тебе, — сказал Сеня с кровати.

— Я тебя понимаю, — хладнокровно ответил Абрам. Он уже выходил.

— Не мучай девушку, — крикнул ему вдогонку Сеня.

— А вот это уже как получится, — сказал Абрам, вышел и закрыл дверь.

Сутулый старик при входе, ответственный за содержимое вносимых сумок и в известном смысле душ, взглянул на Абрама именно так, как тот желал: с завистью и одобрением. Абрам вошел в зал, похожий на подарочный набор "Галантерейный: для вас, женщины", если можно войти в подарочный набор. Вот есть понятие "душный запах духов", вероятно, точное, но здесь из-за пространства и света запахи одновременно и жили, и растворялись, ходили рослые продавщицы косметики с крупно и ало намазанными губами, скрипичная группа филармонического оркестра играла в невидимом радио песню "битлз": "Я люблю тебя так сильно", Абрам у главного прилавка сказал развинченно гулявшей у полок женщине в форме: "Мне нужны духи в подарок. Шанель номер пять".

Женщина кивнула и, пристукнув о стеклянный прилавок, выставила перед Абрамом маленький простой флакончик. Абрам взял его, понюхал, не отвернув крышки, и тревожно спросил — этот флакончик вызывал у него смутные сомнения: "Сколько это стоит будет?"

Продавщица, округлив рот, быстро отщелкнула цифру, равную приблизительно восьмидесяти долларам в национальной валюте. Бедный Абрам, эта сумма не могла вместиться не только в его кармане, но и в воображении.

— Подождите, — сказал он, придерживая флакончик, — я думаю.

— Вы не думайте, понюхайте лучше, как пахнут эти чудные духи, — и она, быстро брызнув из флакона на запястье, поднесла к его лицу руку.

— Прекрасно, но я бы хотел посмотреть и другие духи, — сказал

Абрам.

Девушка не обиделась за напрасный труд, довольно и соблазнительно улыбнулась, заставила с мягким пристуком флаконами весь прилавок, "выбирайте, мол, Абрам, обвораживающий запах". Из всех флаконов она взяла пробу на свои обнаженные до плеч, так сказать, пьянящие руки, и Абрам, прикрыв глаза, утомленно внимал, ловил эфирный кайф и в конце концов поймал, потому что, кто ловит, тот в конце концов и поймает. Девушка и сама как бы "торчала", хотя на ногах стояла твердо, не падала еще. За ее спиной сдвинулась шторка, и Абрам усмотрел незанятым краем глаза подсобное помещение, уставленное картоном с духами, и небольшой стол, за которым дядька в сером халате с недовольным видом вкушал столовой ложкой из половины арбуза.

— Беру вот эти, — сказал Абрам, показывая пальцем на ее локоть.

— "Белая лилия", — безошибочно пропела девушка, — у вас хороший вкус, молодой человек.

Она мгновенно и равнодушно упаковала флакон и сказала, протягивая квитанцию:

— Платить туда, в кассу, равняется пятидесяти девяти долларам.

— И то хлеб, что не шестьдесят, — отвечал очень довольный Абрам, — а это кто?

— Наш заведующий секцией, очень любит арбузы. Слышали, по радио объявили — саранча из Синая движется?

— Вы шутите?! И много?

— Нет, правда-правда, черная туча саранчи, уже все в панике, говорят, Голда велела заправить бомбардировщики ядом для опыления, но все зависит от силы и направления ветра, — азартно рассказывала продавщица. Покоя не сулили ни вид ее, ни слова, лицо ее напряглось, как бы осунулось, она подурнела, влага кокетства ушла из нее, она перешла из отношений между женщиной и мужчиной в отношения между человеком и природой, в отношения между человеком и государством и в отношения между народами.

Пока Абрам стоял в кассу, он послушал из транзистора кассирши интервью профессора из университета, судя по лексике и фонетике, религиозного "немца", в котором тот все рассказал про саранчу: и как она размножается, как питается, как дышит, каким является деликатесом. "Деликатесом?" — спросил журналист. "Конечно, — уверенно и надменно сказал профессор. — Я сам в одна тысяча девятьсот пятьдесят третьем году съел яичницу, приготовленную из тысячи

яиц саранчи". — "Ну и как?" — "Прекрасно, похоже на яичницу из одного куриного яйца". — "Мгм, я вам верю, конечно, но вижу и выражение лица нашей милой Михаль в окне студии..." — "Это все дело вкуса. Повторяю, что мясо и яйца саранчи нам разрешено кушать, то есть они кошерны, а значит, вкусны..."

Тут подошла Абрамова очередь платить, что он и сделал, так и не услышав, где этот картавый, наглый, так называемый "еке поц" отъел королевского блюда.

Они увиделись в городе на площади Сиона. Мила была в выходном, явно лучшем своем платье, не мешавшем ее красоте, удивленно и достаточно уверенно поглядывала вокруг, не сжигая пространства, на радиус своего сине-зеленого взгляда. Солнце скатывалось за вершину холма за город в самое Средиземное море в районе Корсики, а может быть еще дальше. Из банка вышел небритый чиновник и остановился при виде нашей Милы Овсеевны из дома Принцип, при виде ее передних и задних достоинств, достойно продемонстрированных социалистическим мини-платьем, но смутился Абрама и перевел глаза вверх на солнце. Ей понравились духи, очень понравился Абрам, городом она была очарована — нет нужды говорить, что Абрам был потрясен любовью. Несколькими месяцами позже Абрам говорил:

— Мне нравится проза моей жены. Она пишет: "Абрам, доброе утро, я в магазине, целую, твоя Мила".

— Действительно оригинально, — бормотал Сеня.

Но это было позже.

— Я вам, Мила, даю от себя духи, себя, свою любовь, ну и там все: скажем, остальное, — пробормотал в растерянности Абрам, — а вы мне, дорогая, не взамен, а так, отдайте свою честь, себя и свою душу. Понюхайте, Мила, духов.

Мила подумала, что как жаль, что он не просит заодно и ее руки и не отдает ей своей руки, затем она подумала о том, что все это очень странно, как скоро все делается, вчера еще из царства питерской влажно-мерцающей тени, а сегодня уже обожаемая, на пороге любви и свадьбы, в облаке духов "на столицу мира опираясь", прочищая сиреневым воздухом дыхательные, воспаленные невымским прохладным климатом, пути.

Витя с Валюшей и сыном смотрели с советского, переделанного на местный стандарт, телевизора спортивную передачу. Волынился черно-белый футбол. Энергичный, уса́тый, с бакенбардами до челюстного сустава национальный форвард успешно, с лета, провернувшись на сто восемьдесят градусов, решил глобальную задачу, стояв-

шую перед ним, и, тряся от счастья кулаками, побежал обратно к центру поля, обвешанный дружками, как немытая гроздь.

— Ликует форвард на бегу, — прокомментировал стоя Абрам. Валюша вскрикнула, взмахнув рукой, Витя сказал "браво", как в трубу, а Мила смолчала. Она была равнодушна к спорту даже в его эгоистическом национальном проявлении. В перерыве не менее энергичный, не менее усатый двойник форвардов, хотя и более высокий, более плечистый, так же успешно решал локальные задачи баскетбола.

— Ну, наверное, хватит зрелищ, — поднялся вдруг хозяин. Ему вообще быстро надоедало, когда он не работал. Валя выключила телевизор и ушла в кухню. Мила смотрела на незаконченную работу на хозяйском мольберте: мужчина и женщина за столиком, рюмка и бутылка, оставившие темный след на поверхности, женщина подперла щеку кулаком. Сложно было бы назвать эту женщину привлекательной. Мужчина был уродом в синей рубахе. Тень от него не умещалась на полу рядом. Была ли вся эта композиция утехой глазу — ну, вероятно, была. Мила была утехой глазу и без ну, и без вероятно. В этой небольшой разнице все и заключено.

Переезд через три государства, с посадками в трех столицах, под морозящим европейским дождем, не оставил в Миле ничего, кроме дикторских, объявляющих на трех гулких языках, голосов, объединивших эти языки в один, слова которого понять было никак невозможно. Небольшую группу так называемых "русских беженцев", людей с розовыми дорогостоящими визами, торопливо, несдержанно подгоняя, "пришаркованные" стюардессы перегоняли в транзитные залы аэропортов Варшавы и Будапешта, где их демонстративно запирали на ключ, благо присутствовали скамьи и туалеты. Довольно унижительное, пусть хоть и к бывшим, но гражданам великой страны почти победившего социализма, отношение братских стран. Один "переселенец" был на костылях, с протезом вместо лучшей правой ноги, другой был синего цвета, задышался после инфаркта, и еще торопливо семенила рыжая, золотозубая, кормящая мать с плачущим новорожденным Немиком, Рая, которая все время говорила озабоченным стюардессам: "Не бегите так, девушка, у меня молоко стекает от скорости". При каждом из них была семья, состоявшая из нескольких так называемых членов — ЧСИР (член семьи изменника родины). И чуть в стороне от группы, как бы ничья, бежала вприпрыжку восьмилетняя с бантами, какая-то пегая без передних зубов девчонка, настойчиво повторявшая неопознанной маме: "Я хочу шоколада с орехами, я хочу шоколада с орехами".

Из Будапешта в Вену летели на трансатлантическом лайнере, по-хожем на беременную, не хищную рыбу. На втором этаже самолета, где их разместили, показывали кино, усатый улыбающийся стюард, похожий на итальянского офицера, обнес их ледяными бокалами с манговым соком, принесшим известное освобождение. Другая, праздничная, столь ожидаемая жизнь. Мила не могла расстаться только с интонацией, с которой таможенник сказал другу по послеуниверситетской службе, тщательно досмотрев авиационный багаж семьи Принцип: "Какие кадры уезжают", — кивнув на Милу. Ритм этой фразы оскорбил ее тоже.

В Вене цепкоглазые охранники играли в коридоре замка в футбол, играя "в стенку" с побеленной стеной, выкрикивая все время одну и ту же фразу. Мила сидела в холле перед телевизором вместе с секретаршей, одетой по-секретарски смело, и старшим усатым, который возлагал определенные надежды на этот вечер в связи и с секретаршей, и с этой "умопотрясающей" русской — либеральной любительницей слабости, каковыми по слухам являются девушки из этой невозможной страны.

— Сейчас будем пить колу, — торжественно сказал по-английски старший охранник.

— Что они все время повторяют? — спросила Мила рассеянно про топотающих в коридоре ребят.

— Что надо играть тише, так как все спят, — объяснил старший охранник. Действительно, час был поздний, и все в замке уже тревожно спали, окутанные цветными снами переезда, только охрана, секретарша и Мила нет.

— А когда они спят? — спросила Мила, делая ударение на слове "они" и показывая на ребят, на их украшенные каленым железом пистолетов спины.

— Они не спят никогда, — невозмутимо и несколько деланно сказал старший охранник, гипнотизируя Милу темными глазами, поигрывая усом. Он был похож на писателя Вильяма Шекспира, по мнению Милы. Секретарша поглядывала на них встревоженно и раздраженно.

— Ох, рано встает охрана, — пропела Мила весьма мелодично, но ни секретарша, ни старший охранник русского языка и его песенных достижений не знали и знать не хотели. Секретарша хотела завладеть старшим охранником, а старший охранник хотел овладеть и секретаршей, и Милой одновременно, которая, заметим, очень нравилась представителям пограничных и таможенных служб, внутрен-

ней и внешней безопасности, то есть людям в форме и при исполнении по всем сторонам границы мужской души.

Секретарша, судорожно и трогательно думавшая и заботившаяся о своем здоровье, о красоте своего лица и тела, об их красках, представляла собой, как и Мила, впрочем, тоже, наглядное пособие правильности решения отцов Маконского собора о том, что у женщины тоже есть душа. Несмотря на все их многочисленные и очевидные достоинства, она у Милы и секретарши явно была. Не все человек может знать, должен знать и должен хотеть знать, есть свои достаточно четко очерченные границы этих "участков", но вот серебряный перебор струн судьбы Мила услышала ясно: "Моя жизнь изменилась, она будет теперь чудесной", — подумала она восторженно, как будто до этого жизнь ее была не такой. Неблагодарная от неопытности, она играла опасную игру. Где-то очень далеко прозвучал свисток, судья видел все — штрафной удар. "Не накличь сатану", — повторяла ей в детстве мама. Всегда державшая ушки на макушке, Мила сейчас расслабилась, что было понятно, но что, как выяснилось, не всегда происходит.

В комнате, отведенной семейству Принцип в замке, папа Принцип Овсей осторожно извлек из кожаного портфеля свою папку и, развязав и развернув, с наслаждением прочел:

"Маленький городок, большой лес кругом, рощи, сады. Поют птички, гудят пчелы. Дачная местность. Можно хорошо отдохнуть. Мне 10 лет. Вокруг живут разные люди. Выделяется сосед Колокуйский, по национальности белорус, себе на уме. Он еще нас позже обокрадет во время отступления в 18 году.

В канун праздника Кущей 1915 года в наш город вошли немцы. Мировая война, которая началась раньше и наделала много шума в мире, была вначале не страшной. Немцы ехали на сытых гладких лошадях. Офицеры были любезны, не устали, улыбались и говорили между собой по-немецки..."

— Ах, — восторженно прошептал Овсей, — хорошо.

Он выключил свет и долго смотрел, лежа на боку, в темно-свежий прямоугольник окна: ничего не было видно, только легко угадывалась сырость хвойного парка, ленивый, толстый порыв ветра в кустах и высокий выкрик совы.

— Вот оно как вышло, — подумал Овся. Потом он вспомнил, что когда их оформляли вечером в замке по приезду, то за спиной секретарши по телевизионному экрану, медленно набухая, проплыл дирижабль, на круглом огромном боку которого по-английски было ясно

написано: "Весь этот мир — твой. Панамерикан". Он подумал о своем сердце, уверенно набравшем ритм новой жизни и бухавшем, как в молодые годы, наполненно, плотно, гладко-красно. Жена его шевельнулась, отодвинула от его возбужденного тела свое сильным грузным движением поясицы и, бормоча во сне "сейчас, сейчас", впала в свой тяжкий сон, в тяжелое плотское удовольствие. Ее догоняя, виновато припал к ее сну и Овся.

А утром, — как пишут воспоминатели в своих книгах про жизнь на войне, которые издавались в юношеские годы родины на русском, идише, польском, румынском и других языках малыми, дорогостоящими тиражами, — был транспорт.

В объеме средневропейского солнечного луча быстро опускалась яркая взвесь тонкой пыли и по коридору гибко шел старший охранник, гордясь скрываемой силой тела, и подряд постукивал в "русские" двери, ритмично произнося слово "самолет".

Но Бог, как говорится, с ним, со старшим охранником. Он не герой Милиного романа, у него своя жизнь, свои заботы, а сама Мила в центре мира, в одной комнате с человеком, который ее любит и хочет на ней жениться.

— Мы с вами поженимся, Мила, и вы будете жить как королева, пожизненно счастливо, — прошептал ей на ухо Абрам. Он хотел наладить будущий семейный организм, настроить его на камертоне вечного счастья — согласие, довольство и любовь.

Мила кивнула, держась за его руку, сделанную из прочнейшего сибирского материала — кантонистской плоти.

Все смотрели на них, не в силах не смотреть. Ребенок в другой комнате проснулся и тихо, лежа на животе, задрал голову, смотрел через раскрытую дверь на них. На улице фонарь то гас, то загорался, показывая на немудреном морском языке регулярно повторяющееся слово, прочитанное бывшим моряком БВФ Виктором Готлибом, как уже говорилось, любимцем Бога, как "протоплазма". Протоплазма и протоплазма, проверить его никто не мог. От народного дома к футбольному парку в ложине с маршем спускался в темноте, заслоненный домами и не видный, зато хорошо слышный сводный оркестр израильской армии с руководителем, идущим перед строем вниз спиной вперед, подполковником Грациани с малым и темным балканским лицом. Он помахивал небрежно мелодией знаменитой песни "Еврейская мать", исполняемой оркестром в маршевом ритме.

Затем все меряли черную тяжелую шляпу, которую зачем-то купил Витя в дорогом специализированном магазине. Сене она была к

лицу, определяла оттенки, разграничивала свет и тень. Очень шла шляпа Валюше, элегантно контрастируя с ее пшеничной мастью, усугубила, так сказать, ее женскую тайну. Затенила двойной клычок в углу ее рта. Остальным она не пришлось ни к анфасу, ни к профилю, ни к чему прочему, что не значило впрочем абсолютно ничего.

— Мы будем жить хорошо, в достатке, — вполголоса сказал Миле Абрам, хотя она его об этом не спрашивала. — Я буду переводить, буду грузить и все нести в дом. Вчера вот вольно перевел для русского еженедельника много страниц, посвящая эту статью тебе. — Абрам достал пачку листов из кармана пиджака. Это была не статья, а скорее лирические воспоминания 37-летнего испробовавшего все музы и преуспевшего в политической журналистике местного джентльмена, как бы набросок к роману, на который все нет времени и сил. Как он, восьмилетний, водим был друзьями вечером в темное место на берегу, где работали три огромные темнокожие женщины. Как они смотрели из-за каменного заборчика, как женщины принимают клиентов на замызганных лежаках в быстро остывающем вечернем воздухе, резко пахнущем водорослями, рыбой, дымом от костров в порту. Как одна из женщин, самая темная, самая большая, говорила каждому клиенту по-английски с налетом арабского акцента:

— Спасибо.

Тут же они собрались и ушли, "и не поев", — как огорченно сказала Валюша в дверях. "Но выпив", — подсказал Абрам. Лестница в этом доме была в лучших традициях Петербурга, только что двухэтажная: абсолютно темная, облупленная, какая-то шершавая, кривая, но выметенная и пахнущая стройкой. Внизу в кромешной тьме — проем парадной выходил на стену соседнего дома — Абрам положил ей руку на плечо, и она с готовностью повернулась, привстав на цыпочки, обняла его за твердую шею, пытаясь разглядеть его, и они, приладив губы, соединились, поцеловались на длину подводного выдоха, когда судорожно выныриваешь из глубины, глотая воздух, вытаращив глаза и удивляясь и радуясь жизни. Его губы, рот, небо, гортань, сердце с душой, которые так лакомились словами чужих стихов, были весомо и тяжело наполнены женским телом, женской душой, женской любовью. Счастье обступая теснило его — "просто некуда деться" — в темный угол, в паточную тьму забвения, выбирались из которого всегда под барабанный маршевый бой на местное сражение или вселенскую войну.

Как-то им надо было еще добраться до Абрамовой комнаты, о

чем Сеня был уже предупрежден, путь был томителен и неблизок, но преодолевался сильнотелыми молодыми людьми настойчиво и, как говорится, с плохо сдерживаемым нетерпением. Так называемая "порядочная еврейская девушка из приличного дома" с большим, надо сказать, удовольствием потеряла контроль над собой и своими горящими чувствами, тормоза ее сгорели, она неслась в чаду под аккомпанемент песни Тома Джонса "Она была моей...", звучащей из окна медленно искавшего клиента такси. Перейдя улицу и садик с пластмассовой детской горкой посередине, они наконец пришли и по шести ступеням поднялись в общежитие студентов с освещенным из битого плафона входом. Вахтеры в своем чудесном, задымленном мире стучали костями, а в коридоре на первом этаже из первой же двери на верхнем звуковом потолке звучал фортепианный этюд Шопена. Вторая дверь была распахнута, и в замке ее, как в часовом механизме, осторожно крутила отвертку одна из двух сестер-близнецов, живших за нею. Обе сестры были близоруки, одна учила психологию и всегда была в желтом, а та, что чинила замок, была всегда в синем и учила неизвестно что. Посередине коридора, мешая проходу, покачивался ответственный за культурное просвещение студентов вечно простуженный мужчина и небрежно беседовал с желтой сестрой. Ярко горела в коридоре только что ввинченная лампочка, вместо постоянно перегоравшей. Все эти люди с интересом обглядели Милу и с удовольствием оценили беспорядок в ее одежде, запинаящуюся координацию ее шага, ее лицо. А на Абрама что смотреть? Абрам и есть Абрам.

Его койка была узка, как каноэ, все время проворачивалась под ними, и тогда они менялись местами друг над другом. Ночь эта не кончалась, Мила несколько раз видела его мальчишеский костистый профиль в отсвете его сигареты, светлевший и темневший от затяжки к затяжке. На предплечье и плече у него проходил огромный рваный шрам, который Мила гладила, дула на него так, как будто он болел.

— Что это?

— Да вот порвался о колючую проволоку еще в Союзе. Уже много лет не болит.

— И вот тут еще.

— Это все тогда. По совокупности, так сказать, греха. Мне целый мир чужбина, и только ты моя радость, мое отечество, неизвестно чем я все это заслужил.

— И я люблю тебя.

Свадьбу справили по первому разряду, который в Палестинах,

как известно, перекрывает и кандидатский минимум, и мастерский. В нанятом сверкающем лимузине ехали, как пара сконфуженных голубей, Абрам с Милой, смущенно улыбаясь и поглядывая вперед чуть не исподлобья. Семеро мотоциклистов в коже и шлемах составляли им почетный эскорт, фары горели напропалую в иерусалимском полдне, крутились в тенистом воздухе разноцветные ленточки и надувные шары, и все это с открытого тендера на тесной уютной улочке вблизи дворца английского губернатора, возле огромного земного провала напротив старого города, его золотых ворот и синенькой арабской деревни на самом дне, снимал лобительской кинокамерой Мишка-профсоюзник на вечную память. Округлым движением нерельефной левой руки Мишка смыкал и размыкал ряды мотоциклистов, продвигал вперед "мерседес", подгонял всех, объединял — незря он был в профсоюзах: его талант организатора был всегда при нем.

Свадьбу правил Овсей Самуилович Принцип сам. Маленький и стройный, он собрал свое лицо, соединил черты в строгую гримасу счастья и осторожно ходил с ним по залу, уклоняясь от случайных объятий и поцелуев. Он выдавал замуж единственную дочь, и ему никто не был нужен. Он все знал и помнил. У него для этого хранилась ветхая картонка — каболэ, как называл ее Овсей, — на которой черной гушью сорок лет назад подтверждали, что Овсей Самуилович Принцип имеет право.

И вот выступает двадцатилетняя невеста с завершенным лицом, рисовая кожа которого крашена и пудрена в салоне красоты у Мики по высоким стандартам Палестины. Невеста высока, ее белый наряд не подчеркивает, но и не скрывает ее передних и задних достоинств. Спина ее сильна, шея горда, ноги крепки и высоки, она сияет. Она готова к любви, к семье, к мужу, к детям, к жизни.

— Дорогу невесте! — говорит от дверей служитель.

А вот жених. Он поджар, широк, напряжен. О его спину можно зажигать спички. Нельзя сказать, чтобы он был очень хорош собой, но свадьба ему к лицу и ясно видно, что Абрам надежный, влюбленный человек, на которого вдруг можно опереться и положиться. Он внимательно смотрит блестящими глазами.

— Вот она идет, наконец, все будет хорошо, — думает он.

И все там были. Сеня был там тоже, конечно, со своей скромной избранницей, нервно сжимавшей ему руку от увиденного и очень возбужденной от этого. Вообще, глядя на Абрама и Милу, хотелось жениться, заводить дом, детей. Такие вот странные желания. У Сени

сошло это тяжелое раздражение, которое сопровождало его последнее время. Он был обручен уже в это время, и его невеста справедливо подозревала себя в беременности. На Абрама он не смотрел, точнее, не видел его, а еще точнее, смотрел сквозь него на окружающую жизнь. Во Вьетнаме шла ужасная война, в киножурналах показывали горящие белым пламенем хижины в пронзительно зеленых джунглях, в грузовые вертолеты гуськом брели согнувшиеся под вещмешками солдаты, показывали тощие смуглые трупы низкорослых мужчин, гудящие особым звуком тропического леса джунгли, радужные лужи вблизи подбитых машин, белые с красным каски военных полицейских, все это под несколько секунд "рока вокруг часов", исполняемого счастливым голосом Элвиса, тогда еще живого. Тогда вообще многие были живы.

Через несколько лет Семен посмотрел уже художественный фильм про вьетнамское время. Вместе с женой, в мягких креслах перестроенного и еще никем не ошельмованного "Оргия", он познавал чудесный — потому что чувствовалось, что честно и точно воспроизведенный, — быт американских парней, мобилизованных служить в Юго-Восточной Азии. Один на армейской радиостанции орал поутру в микрофон, закрыв от раннего удовольствия глаза: — Доброе утро, о, Вьетнам, — другой его ревновал, толстый негр его защищал, юная вьетнамка, похожая на тунисскую еврейку, любила его, но предрассудки и условности были сильнее ее чувства, ее родной брат, хотя на еврея не похожий, был подпольщиком и боролся посредством бомб с американской оккупацией, все было непросто в этом фильме, но в конце пожилые вьетнамцы, выучившие английский, играли почему-то с конвоируемым двумя квадратными военными жандармами в аэропорт диктором в бейсбол, в развалочку перебегая от станции к станции, и военные полицейские, не выдержав, расстегнувшись, подсучив рукава и сняв каски, присоединялись, тоже как бы приобщаясь к этому всеобщему бардаку, свободе и року. Юная вьетнамка выходила из-за забора в пасторальный, немного пыльный пейзаж, где писали, повернувшись спиной к камере, голые продолжатели дела Хо-Ши-Мина, петушок топтал курочек в загончике, из вертолета на заднем плане выбегали и рассыпались цепью американские десантники с целью победы капитализма над коммунизмом, и юная вьетнамка, пользуясь тем, что ее не замечают, впервые пожимала руку американцу, многословно и грустно объясняя, почему их любовь невозможно осуществить в смысле даже духовном, потому что любовь у буддистов это прежде всего духовная связь, уж не говоря про

то, чтобы дать, и еще раз дать, и еще, это грустно. С этим янки и улетел на большом самолете, и Сеня отчего-то заплакал, и жена гладила его по голове.

В общем, прошла свадьба. Поженились. Абрам и Мила стали жить вместе. Хозяин зала, в котором произошло действие свадьбы, предоставил молодоженам комнату на сутки в роскошной гостинице "Царь Давид", не разрушенной, к счастью, боевиками Бегина до самого фундамента четверть века назад. Стены в комнате были белые, кровать застлана атласным покрывалом, тихо пели "битлс": "мы с тобой, моя любимая, ...я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя", и Мила осторожно, бочком, не без грации, сидела на краю кровати в короткой комбинации, ожидая мужа. Пока Абрам шел к ней от окна — четыре шага — он вспомнил, как в пятом классе он пришел в школу и в классе застал до звонка кучку ребят вокруг последней парты, за которой сидел дважды второгодник Шевченко и вслух читал из "Иностранной литературы", лежавшей перед ним вместо "Матери" Горького "Над пропастью во ржи" Сэлинджера. Про проститутку с худыми плечами, не могущую ни секунды побыть в покое, и мальчика Холдена, кажется. Какой это был месяц? Солнце, звонко колотившее по окнам было явно весенним.

"Я обнял эти плечи и взглянул".

Наутро они налегке перебрались в однокомнатную чудесную квартиру, снятую на девятом этаже нового дома, и вид из окна был суровый, графический, не опаленный, потому что была весна и еще изредка колотили струи ледяного "пасхального" дождя, не разбирая дня и ночи. Мила утром в тапочках на босу ногу спускалась в лавку за молоком, оставляя записки, прозой которых Абрам громко восторгался. Он вытаскивал из кармана рубашки клочки бумаги и читал Сене или Вите при встрече: "Абрам, доброе утро, я в магазине, целую, твоя Мила".

— Да, — отвечал обычно Виктор жестко глядя, а Сеня бормотал:

— Действительно оригинально.

Потом вдруг Овся заболел, что-то у него было неопознанное с кашечником, он лежал за ширмой из непрозрачного пластика, из кисти его торчала игла, приклеенная пластырем, лицо его сморщилось, посерело, он страдал, ожидал старшего хирурга, который должен был решить его оперировать. Сеня приходил его навещать по вечерам.

— Мое здоровье неплохое, но оставляет желать лучшего, — говорил Овся, — воспоминания мои в больнице пишутся, как срок в лагере идет, то есть не идет. Жизнь странная штука, особенно во сне.

Вот я загорелый и молодой, в кепи, иду в тюрьму понуря плечи, а вот я старый и больной, не жалуясь, страдаю в другом краю.

Овсей откинулся на подушке, и тут Сеня разглядел, как тот стар, слаб, бело-желт, какое у него как бы чуть поддутое лицо, и Сеня весь сжался от страха и жалости к Овсе, его спина как бы покрылась льдом, пальцы рук занемели.

— И когда они планируют резать? — спросил Сеня.

— Ты только должен понять, Сеня, что я про операцию не знаю, еще не дал согласия, думаю, а воспоминания не могу писать, до того тошно.

"...В канун праздника Кущей, — размеренно и глухо начал наизусть читать Сеня, — 1915 года в наш город вошли немцы. Мировая война, которая началась раньше и наделала много шума в мире, была вначале не страшной. Немцы ехали на сытых гладких лошадях. Офицеры были любезны, не устали, улыбались и говорили между собой по-немецки..."

Овсей лежал с закрытыми глазами, улыбаясь, довольный, лицо его разгладилось, выправилось, и Сене отчего захотелось-то выпить.

На воздухе настроение Сени улучшилось настолько, что он запел из репертуара 4-й программы "Голоса", транслируемой на границе, песню "Еврейская мама":

— Еврейская мама! Ты всех прекрасней на земле!

Эти перепады настроений были часты у Сени в последнее время, и им было объяснение: жизнь его стремительно менялась — невеста была беременна, он получил повестку на призыв в армию на действительную службу, Овсей страдал от боли и страха, Мила была беременна, цветная чередка жизни была чудесна, но он за нею не всегда попевал.

Перед домом невесты он подержался за чугунную, витую оградку круглого сквера, вытянувшую из его тела часть алкогольной радости посредством мокрого толстого металлического холода. Так что он позвонил ей хотя и несобравный, но чуть хотя бы подсобравшийся, и звонок его был решителен, но не нагл. Наглость вообще не была его доминантным мотивом.

— Ах! — воскликнула Сенина невеста или жена (он сейчас не помнил), всплеснув руками и как-то мучительно краснея от счастья. — Смотрите, кто припел.

Они поцеловались, и Сеня неожиданно подумал, что не заслуживает свежеполного, нежноупругого женского вкуса этого человека.

— У меня гости сидят, тебя ждут, — тихо задыхаясь в его руках

сказала она.

В гостиной как бы отбивали чечетку — Абрам читал стихи.

...Ветер сюда не доносит мне звуков  
Русских, военных плачущих труб.

— Уж так уж и ждут, — вздохнул Сеня и вошел в комнату. Там сидела и Мила, конечно, тоже. Абрам сидел на диване, и полупустой стакан в его руке ему не мешал. Отнюдь. В смерть уезжает пламенный Жуков. Абрам поднял руку со стаканом: или приветствовал, или просил не мешать.

Жизнь свою кончивший глухо в опале  
Как Велизарий или Помпей...

Сеня сел на другой конец дивана, и хозяйка принесла ему стакан, присев рядом и коснувшись его. "Я бы хотел, чтобы ее бедра стали моей лирой". В известном смысле так оно и было. Ее звали Сарит, по местному обычаю. Абрам закончил стихотворение, допил стакан, запил, так сказать, музыку слова музыкой души и сказал Сене без оживления:

— Слушай, я тут повестку получил — два года родине служить.

— Я тоже получил повестку и тоже на два года, выпьем, Абрам, — ответил Сеня.

— Уж мы наслужим так наслужим, будь здоров, Сеня.

Мила сидела напротив, держа незажженную дорогую американскую сигарету в левой руке — она не курила, но любила форму и цену, и вид, а также белоснежный цвет и запах табачной смеси, и вообще "придает уверенности". За ней на буфете стоял серебряный семи-свечник, почерневший за столетие своей жизни, работы маэстро Риделя, создателя варшавской школы, с двумя обязательными львами, двумя пальмами и двумя птицами. Над всем этим симметричным серебряным, райским садом висела картина Виктора, на которой был изображен венский стул, покрашенный черной краской на желтом и зеленом фоне. Стул этот по приезду в Иерусалим Витя нашел как-то пятничным вечером на рынке и с тех пор постоянно изображал его венский черный ажур в своей геометрии, не говоря о цвете. На стуле этом сидели все Витины персонажи — раздетые и одетые бабы, лежали гитары и бутылки, стояли стаканы. Валя вытирала его сухой тряпкой, а их мальчик, уже начавший ходить и говорить, иногда обращался к нему на "ты".

— Я был у папы сегодня, он выглядит неплохо, — сказал Сеня Миле, которая хоть и была беременна, но сохраняла прелести в надлежащей несколько более зрелой форме.

— Я была у него утром, он спрашивал о тебе, — ответила Мила.

Выпили еще по разу, закусили битыми маслинами и орешками, мир, естественно, изменился. Взгляд Сеня изменился: стал как бы шире, легче, зацвел. Зазвучала музыка, и небритый мордатый парень в свитере запел с дымящейся эстрады под струнное сопровождение:

— Полмира поет по-гречески, дрожь пробирает мое бременное тело, сойди...

Пьяный Сеня свободно передвигался по пространству времени вперед и назад, как по известной всем лестнице вверх и вниз. Ненароком он продвинулся на 19 лет вперед. Водка, как средство передвижения. Именно как средство, а не топливо, как можно ошибочно подумать. Его старший сын, пришедший на побывку из армии домой, включил в маленькой комнате радио. Жена в кухне, млея от удовольствия, нюхала белый цветок, как фарфоровый, минуту назад подаренный сыном.

— Белый цветок — ворованный, говорила когда-то моя мама, — сказала она Сене, морщась от слез.

— А моя мама говорила: "Еду не любят, еду едят", — сказал Сеня, сидевший за столом.

— Еще говорила: "Все мужчины одинаковые — у них только одно на уме", — Сарит уже не плакала. Музыка из комнаты сына гремела так, как будто это не он не был дома полтора месяца.

— Эх, — вздохнул Сеня, — сейчас заплачу.

Сарит сходила позвать мальчика кушать, радио смолкло, она вернулась и сказала грустно:

— Он спит.

И здесь Сеня переместился на свадьбу. Абрам тронул его за плечо. Костюм его пах портняжной новизной и свежестью, еще несло хорошим табаком, крепким мужским одеколоном и виски "Джи Би". С другой стороны Мила прижалась к Сениной щеке. Молодожены обходили гостей, фотографируясь со всеми, как заведено на палестинских свадьбах издавна, и теперь пришла очередь Сени быть запечатленным на черно-белой пленке в дурманящем объятии новобрачных.

Сеня вышел на этой групповой фотографии каким и был: выпившим, расплывающимся, с неловкой улыбкой. Абрам не выглядел как человек, выигравший в лотерею, — он был почему-то смущен. И только Мила, только Мила всходила без оглядки. На этом фоне настраивали свои струнные инструменты и один альт-саксофон оркестранты ансамбля "От всего сердца", пианист и руководитель которого

го поглядывал за паствой, прихлебывая холодный чай, а солистка, "несравненная Гитана", как объявлял ее и пианист, и художественный руководитель, быстро поедала порционный шницель с рисом, успевая кокетничать и с контрабасистом, и со старшим официантом, и, кажется, даже с отцом невесты.

Телевизор, стоявший на почетном месте в гостиной возле Милы, как бы сам включился, и все без исключения, даже противник западной культуры и почти всех ее представителей Абрам, умиленно и грустно смотрели, как совсем юный, нежнолицый Элвис Пресли, энергично аккомпанируя себе на рояле, чистым, страстным голосом пел американским головокружительным речитативом: "Ты одна, и я люблю тебя".

Сразу за Пресли давали последние известия и женщина сказала грудным голосом: "Самолеты израильских ВВС атаковали сегодня после обеда базу террористов возле деревни Машрара, в восточном секторе Южного Ливана. Все наши самолеты благополучно возвратились на свои базы. База террористов уничтожена".

Женщина сделала, так сказать, зачин и передала слово мужчине, который сказал следующее...

Здесь последние известия слушают, как откровение, здесь новый год справляют в сентябре, здесь в столичном белом граде, накрытом проливной декабрьской непогодой, заставляющей в середине дня зажигать свет в доме, блестящее от воды, гибкое шоссе обвивает турецкую стену старого города и взбирается на гору Сион в неуклюжие ворота до кремового квартала евреев и евреек, который каменно грядет к собственно стене бывшего еврейского дома, здесь над столицей гулко и часто гоняют реактивные штурмовики, сжигая воздух о металл своих тел, — больше им негде летать, так как страна Израиля до очередного увеличения все время сокращается: пустыня туда, полуостров сюда, каменное плоскогорье, Богу Слава, тут; здесь ястреб, кружащий над кустарником горного склона, присаживается, устает, на полянку и превращается в буро-рыжую поклевывающую птичку; здесь принимаются законы о свинье; здесь собирают на приданое невесте через призыв в газете: "Сирота, почтенный род"; здесь говорят с ошибками родную речь, но повсеместно встретишь говоруна.

Здесь по пятницам диктор радио Алекс названивает из студии редакторам, и те благословляют по телефону на всю страну своих военных мальчиков и девочек, "и чтобы у них все было хорошо, и чтобы вернулись целыми и здоровыми, и чтобы все наши солдаты были живы и здоровы на радость мамам и папам, и державе, амеин. И еще я

прошу песню "Мама", если можно, которую поет Авиноам, да?!"

— Все можно, немедленно играем песню "Мама" в исполнении юной звезды восточной песенной традиции Авиноама, — говорит Алекс, и отчаянный детский баритон исполняет песню "Мама" в сопровождении ансамбля "От всего сердца", и вся страна, все мамы и папы плачут, и Алекс, кажется, тоже, хотя, конечно, скрывает. Но есть некоторые гордые, или не сентиментальные, или с развитым в Европе музыкальным вкусом, которые и не плачут.

Случается, что здесь родители хоронят детей и потом рассказывают о них по телевизору — какими они были, что любили в деревенском детстве, и как один погиб в танке, а раненый брат, узнав, умер в больнице, отказавшись выздороветь, и толстая, вспоминающая мама через столько лет (15) стесняется плакать перед псом-журналистом.

Здесь часовой на посту питается бананами и крутыми яйцами, здесь через шоссе, сметая пыль, скручиваются с гор местные с прозеленью смерчи величиной с мужскую руку по локоть, здесь фауна богатая и флора, здесь в местности Самария пролетают на север патрульные самолеты, похожие на возвращающихся домой гусей, с приподнятой над телом кабиной и черточками ракет под крыльями, которые как бы волокут за собой по холмам и лощинам свою небольшую бесформенную тень, прогоняя перед собой бомбовые пространства огромного шума, похожего на галактические потрясения, здесь тоже текут реки, и одна из них знаменита, упруга и холодна даже в летние, застывшие от зноя полдни, здесь можно жить, привыкнув охлаждать себя и согреть.

Здесь разнообразна человеческая порода, а также масть: часты пиковые валеты, но есть бубновые дамы и червовые короли.

На ночной пост Сенно беззвучно сопровождала сова. Она несправедливо приняла его за добычу и ждала момента отъесть ему голову в каске. Момент этот все не наступал, но сова была очень терпелива и надеялась, что скоро трапеза произойдет, пусть мертвечинка, пусть, но произойдет. Сене ночной эскорт не мешал, а нравился. "Вот все говорят, — думал он, неловко шагая по просеке, — что у человека есть живая душа, а у животных и птиц — нету. Неправильно говорите, есть у них душа, есть, может и лучше чем у иных королей". К нему на пост часто прибегали по ночам разные зверушки поглядеть на огонек сигареты, помолчать. Зайцы, барсуки, кабаны, полевые мыши и прочая живность.

Как уже говорилось выше: — здесь фауна богатая и флора.

Здесь разнообразны человеческие интересы и устремления. Они не ограничиваются, как ошибочно может подумать посторонний или нервный вновь прибывший, войной, игрой в нее, подготовкой к ней. Нет. Это не так.

Здесь собирают марки и картины, здесь грабят банки, здесь охотно делают так называемые добрые дела, здесь пишут киносценарии и бесконечные романы, здесь адюльтер ночует в итальянском интересере. И прочее.

Рота, в которой Сеня служил, являла собой 60 (шестьдесят) переутомленных молодых людей с разнообразным прошлым и одинаковым настоящим, спавших по три часа в сутки, с перегруженными сухожилиями от дневных пробежек с носилками, групповых упражнений на силу с бревном на вытянутых руках. Верхом на бревне сидел взводный или особая честь — ротный. "И, — говорил он растягивая звуки, как ведущий утреннюю зарядку по радио, — побежали, сгибая и выпрямляя руки в локтях. Эть, — зычно, — два, — медленно. — Эть, два, эть — зычно, — два, — медленно".

Еще перемещались по вертикальному шестиметровому канату — четыре суровых морских дюйма по диаметру, — надежно свисавшему с бревенчатой поперечины буквы пэ, посередине песчаного утоптанного плато, называемого спортивным комплексом армии. Канатов было четыре, на всех хватало.

Еще тогда не рассказывали в казарме того анекдота, еще тогда не сочиненного:

— Как гномиха, пардон, "достигает счастья"?

— Бегаёт по траве без трупов.

Аплодисменты, здоровый голодный смех.

Зато уже пели песню: "Жеребенок, жеребенок, белой лошади ребенок".

Сеня и все это изнывающее от молодого озноба кодро ждало выступления из-за реки немногочисленного смелого войска невысокого короля — хитрована заиорданского. Но король что-то не шел. Уже война как бы кончилась, как бы сошла на нет, уже одна победившая армия морила одной рукой окруженного противника, другой поставляла противнику воду и еду, уже один знаменитый генерал сообщил другому, возвращая тому не пришедшийся приказ со словами: "А сходи-ка ты со своим приказом в сортир и подотри им жопу".

Уже погиб Абрам. Уже начало ноября, ночью уже холодно в Приорданье. В дозор уже поддевают кальсоны и приятель-коллега по происхождению кричит Сене в палатке с российским присущим

демократизмом: "Ячки-то присыпь, присыпь, поморозишь ячки-то, иди, керя, я тебе тальку отсыплю".

Только тальком, конечно, дело не кончается. Узкоглазый, бородатый либерал, любитель поторчать, наливает Сене в крышку двухлитрового термоса двести пятьдесят граммов ледяной водки, сохранившей холодок и градус в том же термосе, дает заесть куском колбасы, обмокнутым в палестинскую аджику, и отправляет его в путь риторическим вопросом:

— Ну парень, так-то лучше? А?

Лучше. Сеня выходит из палатки экипированный и снаряженный к военной и любовной жизни, ловя себя на мысли, что эти две области человеческой деятельности странным образом пересекаются и вообще являются синонимами глагола жить. Воюй, люби, живи — такой ряд строит Сеня, поживаясь от волнения и холода, задегивая с улицы полог. Умереть, действительно, в этот ряд ни спереди, ни сзади, ни тем более в середине не подставить — остальные участники достаточно резко и агрессивно не впускают. Невдалеке ротный, оттянув на шнуре трубку от громоздкого аппарата на спине связиста, вполголоса беседует с кем-то, отзывающимся на слово "кодкод". Семеро патрульных возле бряцают оружием и снаряжением, подтягивая ремни, под сумки, елозя под бельем и формой. Чудовищно сильный, злой, косоглазый водитель бронетранспортера, "турок" Моше, отзывающийся на кличку "турки катан" — "маленький турчонок", торопливо ест с двух рук, отставляя стан от чего-то, текущего соком, из правой руки. "Два дня не ел, поверишь, Сенька", — говорит он. Сеня не верит, но как-то не настойчиво. Половина четвертого утра. За леском, за рекой, за аккуратной возделанной долиной, расщеченной рекой, тихо дышит, отдыхая, соседнее королевство. Не Сеня создал этот мир, но он все равно ему сейчас таким нравится. Здесь, южнее востока, даже птицы поют, в отличие от собственного востока, где еще постреливают, вспыхивая, враги, и от собственно юга, где промеривают неустойчивое перемирие.

Из-за бетонного бордюрика, за которым в неглубокой траншее они лежат, виден справа кустарник, точнее, его очертания, а слева и прямо — смешанная рощица, повеселевшая после прошедших давеча дождей. Холодно и вкусно дышится, на поляну черными стрелками пикируют ласточки. "К дождю", — думает Сеня и, сложившись, сползает по стенке на дно траншеи покурить. — "В землю кури, в землю", — бурчит недовольно взводный. Небо меняет цвет на синий из глубоко-черного, тьма становится жижее, через кустарник кто-то

мощно и быстро продирается навстречу солдатам. Взводный рукой придерживает слишком резко встающего Сеню, другой наводя прибор ночного видения, сидящий на автомате. Зло топя копытцами, из кустов вырывается черный сухой кабан, в прицеле ночного видения белый и полый, но такой же злой и растрепанный. Он стоит напротив боевой позиции, упираясь в них мелкими глазами, не видя их, но догадываясь. Не дай кому-то Бог шевельнуться. Ветер шевелится с другой стороны, со стороны кабана. Некое смущение наблюдает за ним взводный в прицел ночного видения. Сеня видит вдруг длинный школьный коридор, пронзенный пыльным свежим лучом, в конце которого стоит его мама, которую он не видел пять лет, и хмурясь говорит: "Кабы не дырка в роте, ходили бы в злоте".

— Да, мама, — говорит Сеня. Вместо "в" мать произносит "у", как в Белоруссии, на родине.

Кабан вприпрыжку убегает от них, подгоняемый свежим ветерком, поддувающим из королевства, в котором разгулялась погода, небо раскалывают четкие, пронзительно желтые зигзаги молний, оглушительно грохочут литавры неба за горами Моава. Здесь, на местной земле, очень тихо, сопит взводный, справа за мертвым озером, или, как его еще называют, Мертвым морем, часто падают звезды, но Сеня никак не может успеть загадать желание. Что-то у него случилось со зрением, с приказами головного мозга. Раньше мог, как говорится, не глядя, а сейчас не успевает, и все. А звезд сыпалось несчетно, и тогда Сеня загадал заранее, на то, что упадет, чтобы вся эта история кончилась для него и для всех его... все же это наверное не в счет, — еще подумал он. Взводный хватнул его за локоть: "Гляди, Шимон, звезда упала, загадай желание".

— Какое желание, опаздываешь, друг, — сказал Сеня.

— А вот еще одна, — сказал взводный.

— Опять опоздал, — не без злорадства сказал Сеня. У взводного, видно, тоже было что-то со зрением, с приказами головного мозга.

— У них-то там не сладко, небось, лежать, под дождем, а, Сеня? — спросил взводный, кивая в сторону королевства за реку.

— А тебе сладко? — спросил Сеня, хотя и считал, что там да, не сладко лежать, но взводный его раздражал сегодня по неизвестным, вероятно, все же физиологическим, причинам. Скажем, сопение.

— Ты держи себя в руках, Бранд, я на тебя майору на базе пожалуюсь, — сказал взводный.

— Вот-вот, для жалоб ты годишься, — буркнул Сеня, отворачиваясь от взводного, от его округлого лица еще округленного крас-

кой.

— Перельман, тю-тю мать, — на той же ноте яростно запишел взводный, — в землю кури, Перельман, сын бляди Перельман, в землю кури, я из-за тебя подыхать не хочу.

В нервном напряжении ожидали войско королевства и войско государства пустить друг другу крови.

Когда они наконец возвращались из дозора, так и не совершив никаких подвигов, и слава Богу, утро уже набирало молодую силу, зрел, зрел и брызнул на все тусклый слепой дождь, прибревший из-за гор короля, на радость третьему урожаю в этом году, помидоров и сладких перцев, в мошаве Аргаман. Последние 200 метров они несколько тяжеловато, как бы вприпрыжку, бежали к своему лагерю, подпираемые злым ветром по глинистой разбитой дороге, пытаясь не оскальзываться на гребне обочины.

Смурной ротный, бритый, чистенький — дождь ему не помеха — встречал их у входа на базу, редкая честь. Ротный, человек настолько занятой, что рассказывают о нем, будто бы он засыпает на своей подруге, достойной как раз пожизненного бодрствования, если не больше. Но другого времени спать у ротного нет, как это ни звучит печально.

Ротный стоял, облокотясь о железный, крашенный желтым столб, поза его не способствовала суровости его взгляда, и темно-карий взгляд его не был, действительно, суров. Обычный бездельный, может быть, даже печальный взгляд застоявшегося двадцатичетырехлетнего бугая.

— Ты, Шимон, — говорит он, мельком кивая Сене, — подойти ко мне позже.

И опять Сене чудится некое смущение в его голосе, некая даже грусть, и даже сердце Сенино, работающее от бега слаженно и сильно, как бы тормозит, приостанавливается, и движения его тела, еще мгновение назад столь гармоничные, идут вразнобой.

Ротный поворачивается и легонько, как бы укрощая мощь толстых ног, упрыгивает в свой желто-серый, свой тесный асбестоновый закуток.

— Что он еще надумал, бес? — Сеня заныривает в свою палатку на "одиннадцать рыл", как говорит земляк, лежащий в дальнем от входа углу. Горит 150-ваттная матовая лампа наверху, и земляк, потряхивая бородой, читает русскую книгу. Шум ворвавшихся коллег, по-так сказать, оружие не мешает ему отнюдь. Он читает, по-прежнему лежа на спине, тщательно и с апшетитом.

— Ну что ты там еще вычитал в этой книге, как бишь ее? — спросил Сеня автоматически, усаживаясь на койку и укладывая рядом ружье бельгийского производства по названию "ромат". "Ромат" этот ...бучий тяжел, по выражению того же земляка, как "судьба много-страдального нашего народа". "Ялелядское оружие" сикариев, — отвечает ему на это, покуривая, Сеня.

— "Алые погоны", "алые погоны", запомни уже, это тебе твой снобистский экстремизм не дает это помнить, Семен. Я прочитал, что играть в футбол против ветра так же тяжело, как и писать против него.

Сеня раздевается и бежит в резиновых шлепанцах в душевую, где под четырьмя сильными струями очень горячей воды, набранной в Иордане загодя, мылась половина личного состава их патрульного отряда. Взводный дурным голосом поет популярную песню: "Маечки и трусики и немножко пусики, я хочу тебя, как мармеладный торт".

Солдат, которого взводный называет Перельман, закрыв глаза от удовольствия, сообщает всем, что "если бы у меня были сиськи (показывает), то я бы всю оставшуюся жизнь с ними бы игрался".

"Ишь чего, сисек захотел, мерзавец", — думает Сеня.

Ротный на Сеню как-то не хотел смотреть, чего-то там переключал из стола в карманы, подвинул рацию, спросил: — Кофе хочешь?

Сеня кофе не хотел, вид ротного его очень встревожил, Сене стало холодно: "Боже мой, что-то случилось ужасное?! Как я это переживу?"

Когда ротный поднял наконец глаза, не бегающие, но какие-то смущенные — Сене стало совсем плохо. Ротный не мог быть смущен, ему не могло быть неловко — это было невозможно и это можно было сравнить, смущенный взгляд ротного, с космическими катастрофами, с крушением миров, с поражением ленинградского "Зенита".

— Тебя тут просили позвонить в Иерусалим, — сказал ротный внятно и подвинул пальцем по столу бумажку. На ней был написан крупными цифрами телефон Овсея Принципа и сверху было приписано энергичным росчерком ротного "срочно".

— Я прошу тебя сказать мне всю правду, лучше ты, — крутя эту бумажку попросил Сеня.

— Звони, — сказал ротный веско, становясь опять прежним человеком и восстанавливая таким образом гармоничную карту вселенной и таблицу чемпионата СССР по футболу.

Ротный встал, взял прислоненный к стенке стола автомат и вышел, бросив на ходу, почему-то по-английски: "Тэйк е тайм".

Сеня облокотился о поверхность стола, отстучал пальцами неоконченную гамму вперед и назад, и еще раз, взялся за телефон и набрал номер.

— Слушаю, — прозвучал голос Овси, — я слушаю вас.

— Это Сеня говорит, что случилось, Овсей Самуилыч?

— Абрам умер, только что вернулись с похорон, приезжай, — сказал Овси и замолчал.

— Я не понимаю, — душа Сенина дрожала под звуками Овсиного голоса.

— Его бронетранспортер наехал на мину, он сразу умер, приезжай.

— Сейчас, Овсей Самуилыч, сейчас, еще немного.

— Мила в больнице, у нее был выкидыш. Сеня, я не верю, что все это происходит со мной и сейчас, приезжай, пожалуйста, — попросил Овси, — видишь, я вылез из лагеря, из СССР, из больницы, и здесь меня это достало, Сеня.

"В канун праздника Кушей 1915 года в наш город вошли немцы. Мировая война, которая началась раньше и наделала много шума в мире, была вначале не страшной. Немцы ехали на сытых, гладких лошадях. Офицеры были любезны, не устали, улыбались и говорили между собой по-немецки"...

СТИХИ 1989-91 г.г.

\* \* \*

Однажды, значит все-таки однажды,  
я верю, мы увидимся с тобою,  
где обернулась коконом бумажным  
зима, еще не ставшая зимою,  
с запаянною в трубочку рекою  
под временной пристройкой в виде баржи.

Мы заживем легко и нелюдимо.  
И если жизнь расписана, как схема,  
то только смерти праздничная схема  
возводит мысли в строгую систему.  
И в пустоту тогда уходим все мы,  
и забываем собственное имя.

Там падает снежок на мостовую  
и тает, не коснувшись тротуара  
под видимо-невидимой стопою  
двух ангелов, не молодых, не старых,  
там каждой твари Бог подарит пару  
прекрасных уст, но не для поцелуя.

И в том эдеме, в том тепле трамвайном,  
в том неглиже бесполох жен и дочек  
все явное обратно станет тайным,  
покуда взгляд, читающий меж строчек,  
который здесь — забыть тебя не хочет,  
там по тебе скользнет уже случайно.

\* \* \*

Мы покинем страну, где ушиб на ушибе  
штукатуркой лежал на потрепанном нимбе,  
где так сладко друг другом мы бредили в гриппе  
и глотали сухой порошок новостей.

Но лишь небо весной просинеет на гнибе  
мы не пеплом, ни снегом голов не посыпем,  
и не липовым цветом, что так ненасытен,  
будто вправду настоян на смерти твоей.  
Будет этой последней весной нам подарен  
тот особенный запах бензиновой гари  
и дешевых духов на прогретом бульваре,  
о, каким невозможным покажется он,  
и каким беспощадным при каждом ударе,  
когда сердце подобно пустой стеклотаре,  
то ли в светлом бреду, то ли просто в кошмаре  
мы однажды уже этот видели сон.

И однажды уже мы забыли нелепо,  
что почти акварельное синее небо  
все равно не размочит чернейшего крепа  
на березовых голых стволах за окном.  
И когда мы оттуда оглянемся, чтобы  
убедиться, что нету ни грусти, ни злобы,  
что березы хранят нам неверность до гроба,  
нам покажется это таким пустяком.

По сравнению с новым, чудовищным, хмурым  
не пейзажем, не даже рисунком с натуры,  
будто кто-то впотьмах переставил фигуры:  
мы играем вслепую, не видя доски,  
заполняя собою пространства цензуры,  
мелкой пешкой скользим по земле черно-бурой,  
даже если душа и дает уже фору  
всем оставшимся сзади и всем впереди.

Что сказать тебе, город, вдогонку и с кем бы  
разделить эту праздность, наверное, слева  
сердце проще и вправду той пареной репы,  
а весенней солнце всплывает в пруду,  
и кричат эти птицы и требуют хлеба,  
и что дать им, скажи, кроме боли и гнева,  
кроме собственной жизни, дырявой, как невод,  
и тех нескольких слов, что остались во рту.

\* \* \*

После высокого пышного лета  
снова сентябрь между прутьев и веток,  
снова сквозь ретушь прозрачную эту

вечному "ретро" ты шепчешь "прости".  
Вновь удивляешься свойству предмета  
быть хладнокровным, и, стало быть, где-то  
втайне завидуешь собственным бедам,  
бедности той, где концов не свести.

Видно, и впрямь не хватает чего-то  
нам, словно птицам в конце перелета.  
То ли утрачена точка отсчета,  
то ли отсутствует начисто цель.  
Небо повсюду похоже на воду,  
но не в пространстве и времени года  
дело, а в том, что мы — люди без рода.  
Адрес. Прописка. И боль на лице.

Видно, и дом наш — не крепость уж наша,  
а вавилонская башня среди пашен  
с видом печальным, поскольку выдавшим  
все: и барашков на гребне волны,  
и крестоносцев. И воздух так влажен,  
что ни вдохнуть и ни выдохнуть даже.  
Будешь глотать эту пресную кашу  
с ложкою соли, что мутной слезы.

В сущности мы благодарны презрению,  
с коим, страна, ты равняла нас с чернью.  
Мы не упали, не стали мишенью  
в чьей-то игре и с ума не сошли.  
И воздержавшись от слов утешенья,  
все-таки скажем спасибо за время  
года, за мокрые эти ступени,  
лбом сосчитавши все плиты в пыли.

\* \* \*

С.Ф.

В нечет и чет сентябрей не веря,  
каждому Бог воздаст по мере  
хлеба и столько же земли, и гири  
эти точны, хоть на вкус и цвет  
нету товарищей у идущих  
прочь из любой, даже райской, кущи,  
даже когда поводок отпущен,  
память собакой, берущей след

знает, в которые ткнуться двери,  
даже когда все ворота пере-  
крашены белой краской через  
десять и более лет. И знак,  
писанный мелом, не виден глазу,  
запах потери почувешь сразу,  
это запахнет над синим газом  
чем-то паленым ночной сквозняк.

Зеркало не отражает, впрочем,  
тела, а только края обочин,  
листья, летящие в пропасть ночи,  
словно лишь это берет в расчет  
время, которое липким скотчем  
клеится к стенам, сродни тем клочьям  
старых обоев, и вещь заочно  
знает, что снова переживет

бывших жильцов и послужит новым.  
Ты же всегда будешь болью скован  
и не поймешь, для чего ты снова  
здесь, а не там, где тебя, птенца,  
не запирали на ключ за пьянки,  
или за кражу бухой буханки,  
зная, что завтра ты скажешь данке-  
шон и исчезнешь, сойдя с крыльца.

\* \* \*

И глаза, погруженным в смысл пустоты,  
не заметят уже приближенья зимы,  
и над крышею в небе не будет звезды,  
а быть может, и крыши самой.  
И от первой слепой оплеухи дождя  
покачнется фонарь среди белого дня,  
и еще напоследок увидишь себя  
словно залитую темнотой.

Был бы снег под ногами — упала бы в снег,  
но чернеет асфальт и прощается век  
с глубиной своих замороженных рек,  
и итог подводя годовой,  
горизонт, как шлагбаум, как плаха, висит,  
черный поезд, поля рассекая, летит

с пассажирами, просто сменившими вид  
за окном на какой-то другой.

Значит, правда, что смерть не приходит одна,  
что на так уж страшна эта бездна без дна,  
пред которой стоишь ты во все времена,  
не решаясь назад посмотреть.

Там вчерашняя юность, там в мерзлом лесу,  
где закат на рассвете растопит росу,  
о, катиться б и мне, как тому колесу,  
сквозь листья облетающей медь.

\* \* \*

Заморожено время в песочных часах,  
взгляд не ищет уже журавля в небесах,  
и заботясь скорее о теплых вещах,  
чем о вечных, уходит в себя.  
Даже если расписаны дни наперед  
и на сдачу с рубля можно жить еще год,  
но не в этом же смысл, чтоб дробить этот лед,  
а лишь в том, что иначе нельзя.

А иначе в морозном замри колпаке  
в однозначной своей беспредметной тоске,  
перед буквой закона в чужом языке  
ты свой русский язык прикуси.  
Все равно этих слов не хватает на то,  
чтоб покрыть пустоту между двух городов,  
удаленных всегда друг от друга на сто  
световых ослепительных зим.

О, какое отечество нам предпочесть.  
Перемена ли места слагаемых есть  
перемена, иль это — лишь времени месть  
за любовь к постоянству, когда  
то, что раньше казалось дерюгой кулис,  
стало уличной тьмой без знакомых в ней лиц,  
хоть, по правде сказать, это лучшее из  
выбираемых зол за глаза.

\* \* \*

Это самый печальный из дней в году,  
когда нет за окнами птичьей стаи,

когда рыба всплывает в гнилом пруду  
и когда осина стоит сырая.

Когда мы с тобою бредем с утра  
под косым дождем, затянувшим город,  
и беседа наша похожа на  
за чужой спиной молчаливый сговор.

Это так же и самый печальный из  
сентябрей, у которого нет концовки.  
Черный зонтик акации так раскис,  
что не держит неба на остановке.

Из пустого в порожнее рвется связь,  
словно это уходит душа из тела,  
но рукой холодной перекрестясь,  
умываешь руки, и выбор сделан.

Посмотри же отсюда судьбе в лицо!  
Кто посмеет оспорить, что это правда,  
что живем мы тоже в конце концов,  
даже смерть свою отложив на завтра.

Что распалась связь всех времен, всех дней,  
но никто не слышит того, и значит,  
только ты кричишь, мой птенец, о ней,  
и лишь черный воздух в окне маячит.

### Портрет речной мозаикой

*Е.Игнатовой*

Не безумья — бессмертья печать на лице,  
так раскрытая клетка грустит о птенце,  
так стоят и стоят на горячем крыльце,  
ищут слово, но в памяти брешь,  
и уже не считают коротких минут,  
ибо все уже начерно выбрано тут  
меж веревкой и мылом, меж свернутой в жгут  
простыней — и клубочком надежд.

Философия смерти проста, как часы:  
впереди и поодаль сплошные плюсы,  
перекрестки дорог образуют кресты,  
а дома отступают во тьму,

и асфальт под ногой расквадрачен не зря,  
видно, каждый твой шаг кто-то числит, взведя  
злополучный курок духового ружья,  
впрочем, что-то мешает ему.

Это то, что душа так прозрачна в своем  
одиноким стремлении слиться с торцом  
и фасадом и стать просто тенью на нем,  
то есть тем, чего в сущности нет.

Но ведь был же он, был — не приснился же нам  
этот вдаль устремленный, к ночным фонарям,  
силуэт, горький призрак любви твоей там,  
где весною меняют свой цвет

пустыри, где, как травка, меж тающих плит  
зеленеет волна и, вгрызаясь в гранит,  
отраженье твое бесконечно дробит,  
оставляя от целого часть:  
удивленно взлетевшие брови дугой,  
шарф, опутавший горло, и взгляд ледяной,  
обращенный к кому-то, кто мутной рекой,  
вероятно, засвечен для глаз.

## КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

*предлагает!!!*

**РАФАИЛ БЛЕХМАН.** Мосад, Аман и все такое. 128  
стр.

Документальная повесть об израильской разведке.

**АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ.** Трепет забот иудейских.  
Изд. второе, исправленное. 207 стр.

Художественно-философская проза, запечатлевшая  
опыт духовной биографии еврейского интеллигента из  
России, его размышления об особенностях еврейского  
национального характера, о связи и противостоянии рус-  
ской и еврейской истории, о судьбах русского еврейства.

\* \* \*

И все еще идет игра,  
И теплый дождь как из ведра,  
И красных яблок кожура  
Сквозь зелень сада.

Чего мы ждем, пора бежать:  
Уже проснулись сторожа,  
Уже проснулись сторожа  
И где-то рядом.

Бежим по бешеной воде,  
То в свет, то в тень ныряет день,  
Она то пропадет в дожде,  
То вновь найдется.

Смеется, скачут не попад  
Шары под майкой дразнят взгляд,  
И тянется, и тянет сад,  
И юбка бьется.

А дождь не дождь уже — гроза,  
И пляшет черная коса  
Меня, как цепь шального пса,  
Навек отметив.

И кажется, что вся в слезах  
Одна на весь огромный сад  
В худых лопатках та коса —  
Одна на свете.

Я капли за ее спиной  
Ловлю протянутой рукой,  
И под стремительной водой  
Рука качнется.

А там, где ржавчина оград,  
Где, как свеча, мерцает сад,  
Две яблони, склонясь, глядят  
Во тьму колодца.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

*предлагает!!!*

**ЗАГАДКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ** (сборник).  
250 стр.

Нерешенные загадки, странные факты и увлекательные гипотезы — таков спектр тем этого первого в своем роде сборника, в центре которого — первый перевод на русский язык знаменитой книги З. Фрейда "Моисей и монотеизм" и первое на русском языке изложение всемирно-известных книг И. Великовского.

**ОЛЕГ КУСТАРЕВ. Вальс** (повести и рассказы). Худ.  
Р. Левин. 200 стр.

Художественная проза автора, чей иронический и точный взгляд запечатлел гротескные и сюрреалистические особенности современной советской реальности.

## ЧУДОТВОРЕЦ

*(По мотивам киносценария Петера Лиллиенталя "Simon der Magier", книги Феликса Канделя "Очерки времен и событий" и рассказов Бруно Шульца)*

*Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхованиями.*

*Деяния апостолов, 8:9*

*Иди, скажи Симону: Петр ждет тебя у дверей.*

*Деяния Петра, 9*

Тебе, мой внук, я завещаю эту тетрадь — известие о жизни и смерти твоего легендарного прадеда, чей образ, я знаю, не перестает занимать твое воображение. И еще я надеюсь, что когда-нибудь тебя заинтересуют некоторые мысли об устройстве мира, которые я решился передать бумаге, а также обстоятельства моей собственной жизни, записанные мною по памяти. Быть может, ты сумеешь найти в этих событиях тайный смысл, который мне неизвестен. Я же со своей стороны не могу дать пережитому нами иного истолкования, нежели то, которое содержится в одной старой притче, каковую я и решаюсь предпослать своим запискам.

Некогда жил в одном из богатых и славных городов Прирейнской Германии муж, известный своей ученостью. Время от времени его приглашал к себе местный епископ, и они беседовали о Боге. Епископ мечтал обратить его в христианскую веру. Но спор ни к чему не приводил, оба собеседника, исчерпав свои аргументы, оставались каждый при своих убеждениях. Однажды князь церкви потерял терпение и спросил напрямую: когда же, наконец, почтенный рабби опомнится? Еврей ответил: я скажу тебе через три дня. Прошло три

дня, настал праздник Троицы. Епископ ждет еврея, тот не является. Уж не случилось ли чего с ним? Люди докладывают епископу, что еврей жив и здоров. Тогда епископ приказывает привести его силой. Я понимаю, говорит он еврею, решение далось тебе нелегко, но властью, данной мне, я освобождаю тебя от угрызений совести, если они тебя все еще мучают. Твои сомнения — не более чем предрассудок... Не стану повторять всего, о чем мы уже говорили не раз, но разве тебе не ясно, что синагога отжила свое время, что она была лишь преддверием подлинного храма? О, я верю, продолжал епископ, свет, просиявший в Галилее, в конце концов просветит и народ, который все еще носит повязку на глазах своих! И он увидит, что заблуждался, и тогда закончатся его скитания... Но тот, кто пришел к истине путем долгого размышления, — любимейший из моих духовных сыновей и драгоценное дитя церкви, сказал епископ. Уверен, что ты подал пример своему народу. Итак, да или нет? Почему ты молчишь?

Я хочу, сказал еврей, чтобы мне отрезали язык.

Ты боишься сказать вслух о своем решении? — спросил епископ. Хорошо, оставим его в секрете. Скажи мне только на ухо: ты уверовал?

Вели отрезать мне язык за то, что он дал тебе повод подумать, что я способен отречься от веры моих отцов, — прошептал еврей.

Ах вот как, проговорил епископ. Нет! Не язык я тебе отрежу, закричал он и затопал ногами, не язык, а ноги за то, что они не привели тебя в Троицын день, как мы уговорились! И так велик был его гнев, что он в самом деле распорядился отпилить раввину ноги, и приказание было выполнено. После этого прошло сколько-то времени, и настал иудейский Новый год. Искалеченный рабби попросил отнести его в синагогу. Некоторое время он лежал и слушал кантора, а потом поднял руку и запел сам. Он запел гимн о небесном суде. Окончив пение, он умер.

Потрясенные люди разошлись в глубоком молчании, но никто не мог вспомнить слова гимна. И прошло еще сколько-то дней. В канун Судного дня покойный рабби явился во сне главному раввину города, и наутро раввин записал слово в слово гимн, услышанный им во сне, и с тех пор его произносят во всех синагогах дважды в год, в день Рош-га-шана и в день Кипур. В Судный день, сказано в этом гимне, утверждается то, что намечено в ночь накануне Нового года: скольким отойти и скольким явиться на свет. В этот день утверждается, кто будет зачат и какой он умрет смертью, в свое время или безвременно, от воды или от огня, или от меча, или от голода, от руки вра-

га или от руки друга, от болезни, от унижений, от несчастной любви или на чужбине; в эту ночь решается, кому быть богатым, кому бедным, кому жить в покое, а кому скитаться, кого будут помнить, а кого забудут, кто оставит детей и внуков, а кто уйдет в темноту один. И лишь покаяние и благие дела смоют злое предначертание, так что глаза Судьи не смогут больше его разобрать.

Рассказывая эту притчу, мой отец добавлял: "В христианском учении по крайней мере одно бесспорно, — это то, что Йешу был евреем, что ему плевали в глаза и таскали его за бороду, и под конец прибили живьем к столбу позора. А как же могло быть иначе? Ведь он тоже один из нас. Только это и бесспорно. А все остальное..." И он разводил руками и поднимал глаза к потолку.

Мой отец занимался коммерцией, и в этом не было ничего удивительного: три четверти жителей города были ремесленники и мелкие торговцы. Но разбогатеть он не смог. Не говоря уже о страшных событиях, которые обрушились на нас, он не мог рассчитывать на успех в пору, когда всех охватила великая мечта об Америке. Мечта о будущем... Да будет тебе известно, что это страшная болезнь. Она состоит в том, что люди больше не довольствуются реальной жизнью, не хотят оставаться в реальном мире, а хотят жить в воображаемом будущем. Это болезнь нынешнего века. И в конце концов она докатилась и до наших мест. Почему я заговорил о ней? Потому что тот, кто живет будущим, не желает знать о прошлом. И людям, проходившим мимо магазина "Шимон Шульц. Антикварные предметы и древние реликвии", просто-таки не приходило в голову, что все эти предметы можно купить.

Разумеется, вещи, выставленные в витрине, составляли только малую часть того, что находилось внутри, громоздилось на полках, стояло в углах, свисало с потолка, мерцало и поблескивало в полутемной лавке, не говоря уже о стеллажах, ларях и коробках в задних помещениях, в подвале и даже на лестнице. Чего там только не было! Одежда и утварь всех времен, посуда, из которой ели тысячу лет назад, оружие, которым размахивали при царе Горохе, украшения, амулеты, индейские трубки мира, греческие иконы, марокканские бусы, кости святых, коллекции насекомых, книги, которые я листал в тщетной надежде что-нибудь понять, ночной сосуд императрицы Марии Терезии, глиняный футляр для детородного члена, принадлежавший африканскому вождю. Там была, наконец, гордость фирмы, редчайшая реликвия: зазубренный чугунный меч с грамотой, удостоверяющей его подлинность: именно этим мечом вождь русской ре-

волюции Троцкий снес голову последнему царю.

Все это барахло мой отец привозил из дальних поездок, приобретал за немалые деньги в надежде продать, все это ящиками доставлялось в лавку, дюжие мужики вносили их и ставили прямо на пол, а следом шел мой отец, неся шкатулку с какой-нибудь особо важной редкостью. И все это было продолжением нескончаемого и без конца повторяющегося сна, который я как бы видел наяву, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, сна, который, собственно, и был моей юностью; и оттого, что он повторялся так часто, он стал неотличим от действительности.

Во всяком случае, с годами граница становится для меня все менее очевидной. Я надеюсь, что мои слова не вызовут у тебя недоумения. И разве ты в свою очередь не созерцаешь сейчас сон своей жизни? Разве в вечности, из которой мы вынырнули и в которую однажды погрузимся заново, наши грезы и наше дневное существование не сливаются в нечто нерасчленимое? Я не хочу забегать вперед и рассказывать сейчас о той удивительной поездке, которую мы совершили втроем, я, мой отец и кучер Владимир Приходько, о чудесном избавлении, которое Бог послал мне и твоей бабке в самый последний момент, об этих и других происшествиях нашей жизни, — но не кажется ли тебе, что вся история нашего народа — это сон, который снится нашему народу? Глядя на сон глазами действительности, мы думаем, что то, что нам привиделось, было иллюзией; но что нам мешает взглянуть на действительность глазами сна?

Однако я отвлекся, а предмет моего рассказа требует особой точности. Память слабеет с годами, и, может быть, очень скоро я окажусь не в состоянии восстановить все случившееся в том порядке, в каком оно совершилось... Итак, мы говорили о нем, о моем отце. Мой отец был чрезвычайно занятым человеком. Поиски товара, путешествия по ближней и дальней округе, поездки в города, о которых в ту пору я имел крайне смутное представление, занимали у него все время, так что в лавке по большей части сидела Адела или моя мать, если у нее не было мигрени. Им помогал Арье, которого все называли Ареле, тупой большеголовый парень старше меня на два года, сын почтальона. Помню, с каким нетерпением я всякий раз ждал моего отца, и всякий раз оказывалось, что у него нет времени поговорить со мной или хотя бы рассказать всем нам, что он видел в далеких больших городах. Владимир разгружал коробки, Ареле нес их в дом, а в это время мой отец метался из магазина на улицу, с улицы домой, останавливался на минуту, чтобы велеть мне или Аделе рас-

паковать раскрашенную деревянную куклу, изображающую апостола Петра, "это пойдет для витрины", бормотал он, его башмаки стучали по каменным ступенькам подвала, тяжело поднимались по скрипучей лесенке на чердак, он носился, как дух, по всему дому, лихорадочно перелистывал счета и квитанции, щелкал счетами и внезапно впадал в задумчивость, грызя вставочку, словно поэт, которому не хватает рифмы. "Завтра, завтра, — отмахивался он, — сил нет, всю ночь провел в вагоне..."

Но на другое утро оказывалось, что ему нужно срочно ехать на аукцион в Копривницу, на ярмарку в Коломны, поспеть к распродаже какой-то необыкновенной библиотеки бывших владельцев усадьбы под Каменец-Подольском. Такая непоседливость огорчала мою маму: во-первых, говорила она, неизвестно, зачем это нужно, лучше бы он как следует занялся торговлей, разгрузил склад, где негде повернуться; а во-вторых... Во-вторых, было обстоятельство, о котором в нашем доме не говорили вслух, так как оно подразумевалось само собой. Дело в том, что приезжая домой, отец мой чаще всего проводил ночь не с матерью.

В тот год над городом несколько месяцев стояла комета, лето было исключительно жарким, что само по себе служило дурным предзнаменованием, коего смысл, однако, стал ясен лишь после того, как оно сбылось; но не то же ли происходит со всеми предупреждениями, которые делает нам судьба? Мне шел шестнадцатый год, я давно оставил хедер и стал учеником академии. Несколько лет тому назад умер брат моего отца, дядя Юлиан, которого я никогда не видел, — или что-то с ним произошло; так или иначе, мой отец должен был взять на себя заботы о вдове, и я хорошо помню день, когда он привез ее к нам; из коляски вылезла, высунув ногу в белом чулке, худенькая, очень робкая, черноглазая женщина в парике и черном платье, совершенно непохожая на ту Аделу, какой она стала в нашем доме. С тех пор я не видел ее в черной одежде и в парике, ее волосы быстро отросли, лицо округлилось и порозовело, и вся она до такой степени изменилась, словно только теперь вступила в брак. Что, собственно, и случилось. И все понемногу привыкли, казалось даже естественным, что в доме моего отца вели хозяйство две женщины, как Сарра и Агарь в шатре отца нашего Авраама, причем Адела даже первенствовала из-за болезненного состояния моей мамы; другой вопрос — как к этому относились соседи, ведь ничего в нашем местечке не могло оставаться тайной. Но тут я должен заметить, что при всем неоспоримом влиянии, каким пользовались в городе последователи вели-

кого учителя и чудотворца Баал Шем Това, остатки франкизма все еще давали себя знать в наших краях: я имею в виду ту странную секту, зачинатель которой стяжал себе сомнительную славу тем, что усомнился в грядущем пришествии Мессии и возрождении земного Иерусалима. Говорят, этот учитель, по имени Яков Франк, не только разрешал, но прямо предписывал мужчине двоеженство: ибо, объяснял он, если два глаза даны человеку для того, чтобы рассматривать каждый предмет с двух разных точек зрения и в каждой вещи видеть две стороны, добрую и злую, а две руки — для того, чтобы давать и брать, защищаться и наносить удары, то две железы плодородия в мошонке у мужчины предназначены для того, чтобы поделить их между двумя женами: левая принадлежит старшей и законной, а правая — младшей и тоже законной. Дети левого ореха наследуют от отца его имя и богатство, а дети правого, которым придется добывать все самим, — его таланты и предприимчивость.

Так говорил этот полубезумный учитель, если только мне не изменяет память. Вспоминаю я и наш городок. Трава в то лето пожухла от жары, и все-таки он кажется мне сейчас очень зеленым и даже каким-то призрачным. И вообще я уже не знаю сейчас, существовал ли он на самом деле; его нет ни на одной карте. Теперь представь себе: улочка, мощенная булыжником, по обеим сторонам две канавы, заросшие дикой травой и цветами; вдоль длинного и нестройного ряда домов дорожка для пешеходов, посыпанная желтым песком; заборов почти нет, так тесно стоят дома, и на самом краю улицы стоит узкий, чем-то напоминающий птицу с высоким гребешком, слегка наклонившийся вперед дом со своим мезонином и угластой крышей, с вывеской, на которой значилось имя моего отца. Из этого дома в каком-то смысле происходишь и ты.

В нашем городе было так: на одних улицах жили хасиды, на других поляки. Все вместе называлось верхним городом, а внизу, на спусках к реке, жили украинцы, или хлопы, как их называли поляки, и ты не поверишь, но все как-то уживались друг с другом. И если ты шел по Сходу, то кругом раздавалась еврейская речь, и ты сам говорил по-еврейски, если же ты шагал по Жолнерской, то говорил с людьми по-польски. Синагога была для евреев, а костел и церковь для гоев, и поэтому еврей, если ему приходилось переступить порог христианского дома, был обязан оставить свои предрассудки, как галоши, за порогом, а христианин, войдя в хасидский дом, должен был повесить свою ненависть на гвоздь в сенях. Что касается главной площади, под названием Троицкая, где стояла академия и другие

красивые дома, то она принадлежала всем сразу. В двух шагах от площади, на проспекте Пилсудского, — довольно-таки громкое название для улочки, мощенной булыжником, но легенда, которую никому не удалось опровергнуть, утверждала, что по этой улице некогда прибыл с визитом в наш город обожаемый маршал, — в двух шагах от Троицкой площади находился дом, принадлежавший одному богатому торговцу овощами. В этот дом я частенько заглядывал по дороге из академии, но, конечно, не к хозяину. Наверху, в мезонине жил рабби Коцкий. Звали его так потому, что он происходил из Коцка, а настоящее имя его было Менахем-Мендл. И если он меня не прогонял, мы проводили время за разговорами и учеными занятиями. Рабби ездил в землю Израиля и рассказывал иногда о том, что он видел в граде Божьем, чье название с окончанием двойственного числа, говорят, с несомненностью указывает на существование двух Йерусалимов, земного и небесного.

С этим рабби Коцким, кстати сказать, произошла история, чрезвычайно укрепившая его авторитет среди хасидов; о ней рассказывали во всей округе, некоторые считали, что это было в Коцке, в кое-каких местечках ее приписывали своим собственным цадикам. Но жители нашего города считали, что она случилась именно у нас, и я не вижу причин сомневаться в этом. История эта касается одного богатого коммерсанта из Лемберга, а главную роль в ней сыграл шамес, который вел скромное хозяйство рабби. Между прочим, я знал этого шамеса, его звали Файвел, это был унылый одноглазый человек, тощий, упрямый и своенравный, как осел. По утрам реб Менахем-Мендл отправлялся в синагогу, по возвращении вкушал завтрак, который готовил Файвел, такой порядок никогда не менялся, за исключением того дня, о котором идет речь. Коммерсант прибыл в наш город по делам. Утром он вышел из гостиницы, и судьбе было угодно, чтобы он и рабби столкнулись нос к носу на узкой и грязной улочке; рабби Коцкий шагал в глубокой задумчивости, не заметил важного господина, и тот в раздражении толкнул рабби, и реб Менахем-Мендл полетел в канаву.

После этого, как рассказывают, коммерсант вернулся в гостиницу "Белый Орел" и стал жаловаться на дикие нравы и необразованность народа.

Хозяин гостиницы поинтересовался, что случилось. Да вот, сказал важный человек, какой-то бродяга толкнул его и даже не извинился. Слово за слово, хозяин всплеснул руками: что вы наделали! Это же праведник, светоч науки! Тем временем реб Менахем-Мендл

вылез из канавы, вернулся домой и стал ждать завтрака. Но Файвел не шевелился. Реб Менахем-Мендл возвел очи к потолку и сказал: Боже! я голоден. В ответ раздался голос шамеса из-за перегородки: "Разве Бог вам готовит завтрак?" Конечно, сказал рабби. И в эту минуту вдруг постучали в дверь. Это был коммерсант из Лемберга с богатым угощением. Он пришел извиняться...

Из моих тогдашних работ ничего, разумеется, не сохранилось, но я припоминаю один картон: на нем был изображен замок вымерших графов Чарторийских. Этот замок сгорел во время войны, и можно сказать, что это я накликал на него беду, представив его в языках пламени. Довольно странный сюжет, но я напомним тебе, что в Мидраше есть притча о том, как один человек шел по дороге и увидел дворец, охваченный пожаром. Подошел ближе, стоит толпа, но никто не тушит огонь. Путник спросил: разве у этого дома нет хозяев? Нет, отвечали люди. Как вдруг с небес раздался громовой голос: "Я владелец дворца!"

Реб Менахем-Мендл, который мало разбирался в живописи и ценил в искусстве лишь его содержательную сторону, поглядел на мою работу и сказал:

"Вот именно. Замок горит, хотя у него есть хозяин. Замок принадлежит владельцу, но когда он загорится — а он-таки загорится! — ни один человек из челяди палец о палец не ударит, чтобы его потушить".

В другой раз он объяснил мне знаменитое своей загадочностью место из Книги Шемот 33, где сказано, что когда Господь прошел мимо Моше, он накрыл его своей ладонью, и поэтому Моше сумел увидеть лишь обратную сторону Господа, а лица его не увидел. Что это значит, обратная сторона Господа, спросил реб Менахем-Мендл. Мы сидели в его комнатке, оклеенной обоями с птицами и цветами, лето было в разгаре, белое смертоносное лето, и пыльная акация под окном трепетала под раскаленным ветром, который несся к нам, казалось, из Синайской пустыни. Но в комнате было прохладно, время от времени слышались вздохи домашних вещей, сдержанный ропот посуды в шкафу, где мой наставник хранил лечебные снадобья. Под окном цокали подковы, проехал ломовой извозчик. "Так что же это означает?" — спросил реб Менахем-Мендл.

Я думаю, что в этом и состояла наука, пусть преподаваемая мне отрывочно, с пятого на десятое и скорее по вдохновению, как все, что изрекал рабби Коцкий: искать тайный смысл, запечатленный в каждом стихе Торы и в каждом мгновении человеческой истории; я ду-

маю, что утешение евреев состоит в этих поисках. Только в поисках, больше ни в чем. Я смотрел на него во все глаза.

"Это означает, — сказал он, — что человеку дано увидеть все абсурдное, все хаотическое, все напрасное и несправедливое, всю изнанку мира. Все его лохмотья, и нитки, и лоскуты. А все благое и упорядоченное, и как он выглядит с лицевой стороны, и какой смысл скрыт в этом мире, человек никогда не узнает. Я предвижу злые времена..."

Такие беседы вел со мной рабби Коцкий, если, повторяю, он был в мирном настроении, ибо, говоря между нами, он был в своем роде не лучше своего шамеса Файвела. Боясь его гнева, я скрывал от него, что бываю в христианской церкви. Сейчас мне кажется, что рабби, который мог кричать и бесноваться из-за пустяка, мог швырнуть на пол священную книгу, если я неправильно читал имена левитов или путал аббревиатуры, мог осыпать бранью всякого, кто тревожил его в неподходящее время, невзирая на лица и звания, сейчас мне почему-то кажется, что как раз в этом принципиальном вопросе он, возможно, проявил бы терпимость и снисходительность. Как бы то ни было, когда несколько времени спустя тайна все же открылась, он только поморщился, — как если бы оказалось, что я занимаюсь грязной работой. И надо сказать, что работа была действительно грязная: нужно было до приезда артели из Коломыи соскоблить со стен старую штукатурку. Именно в это лето (другого времени он не нашел) протоирею Петру Кифе пришла в голову замечательная идея отремонтировать православный храм. В академии начались каникулы, наш учитель профессор Головчинер нанялся к отцу Петру на работу, а меня как лучшего ученика взял в помощники.

Мне и прежде приходилось помогать профессору Головчинеру. Иногда мы занимались малярными работами, брали подряды в богатых домах. Я рисовал по трафарету бордюры, а профессор сидел на табуретке и рассказывал, как в молодости он жил в Париже, бедствовал и блаженствовал, и дружил с великими мастерами. После этого он переходил к общим вопросам искусства, он говорил, что учит нас только тому, чему можно научиться, то есть ремеслу и глазомеру, что же касается искусства, то научить кого-либо искусству невозможно. Искусство или есть, или его нет, оно дремлет в душе, и ремесло — только способ извлечь его оттуда. Или способ продемонстрировать его отсутствие. Профессор Головчинер развивал эту мысль до тех пор, пока вся работа не была закончена.

Что касается Петра Кифы, то всем, кто его видел впервые, он вну-

шал страх своим грозным видом, богатырским ростом, косматыми бровями и большим угреватым носом; но внешность, как известно, бывает обманчивой. Если бы отец Петр был чуточку больше деловым человеком, он не стал бы с нами связываться, потому что артель бралась все сделать за четыре недели. Но он сказал, что ему понятна разница между ремеслом и искусством. Думаю, что дело было не в искусстве, а в том, что профессор Головчинер кормил большую семью. Словом, договорились, что артельщики распишут стены и потолок, а профессор займется иконостасом.

Здесь я должен заметить, что мы переживаем историю двояко, как историю и как нашу собственную жизнь, причем только в воспоминаниях нам удается кое-как совместить одно с другим. Подчас мелкие подробности застревают в памяти глубже, чем мировые события, тем более что мировые события всегда происходят как бы за горизонтом, и, хотя все мы знали о том, что началась война, я совершенно не помню день, когда в местечко вошла русская Красная армия, — получилось так, словно мы жили, ни о чем не подозревая, а потом в одно прекрасное утро проснулись и увидели, что все изменилось: на Жолнерской улице стояли крытые брезентом грузовики, повсюду висели красные флаги и объявления; там говорилось, что нас освободили. Что под этим подразумевалось, сказать было трудно. На Троицкой площади, перед академией, солдаты в пилотках и кирзовых сапогах разгружали с телег ящики: в академии разместился военный комиссариат. Почему мы вдруг оказались под русскими, что стало с правительством, с государством, никто не понимал, ходили разные слухи, но в конце концов мои родители, да и большинство жителей, помнили времена кайзера Франца-Иосифа, который тоже сгинул, и ничего страшного не случилось.

Ремонт был закончен, на дворе стояло бабье лето, словно природа тоже не желала знать ни о каких переменах и старалась растянуть до бесконечности этот и без того неестественно длинный год. Профессор Головчинер, окончательно оставшийся без работы, восседал на табуретке посреди пустой и гулкой церкви, раскрашенной, как новенькая игрушка; отворилась дверь, вошел гигант-священник. Я принес еще один стул, отец Петр удостоверился в его прочности, прежде чем сесть, и некоторое время оба молчали, разглядывая потолок.

"Знаете ли вы, отче, — проговорил профессор, — в чем разница между светским и сакральным искусством?"

"Священное искусство, — отвечал отец Петр, — опирается на канон".

"Совершенно верно, — сказал профессор Головчинер, — то, что в светской живописи считается признаком бесталанности — повторение сделанного другими, — то в канонической живописи не только не считается зазорным, но, наоборот, поощряется".

"О-хо-хо, — вздохнул отец Петр, — что вы теперь будете делать?"

"Комендант заверил меня, что это ненадолго. Как только в городе установится советская власть, начнем новый учебный год. В академии будут учиться дети трудящихся классов, а меня назначат директором".

"Ну что ж, прекрасно", — заметил отец Петр.

"Вопрос только в том, где мы возьмем детей трудящихся классов?"

"Бог даст, обойдется".

"Вернемся к искусству, — сказал профессор, — как вам нравится Богородица?"

"Приятственно. Вы большой талант".

"Вы имеете в виду мой талант педагога?"

"Причем тут талант педагога?" — спросил отец Петр.

"А при том, что икону-то писал не я. Ее писал Юзеф".

"Да неужто? — воскликнул отец Петр. — Юзя, подь-ка сюда. Какой ты молодец".

"Молодец-то молодец, — проговорил профессор Головчинер, — только... Разве вы ничего не замечаете?"

"А что?"

Профессор Головчинер закашлял, заерзал на табуретке.

"Я хотел вас предупредить, отче, я думаю, это будет лучше, чем если об этом вам скажет кто-нибудь из людей. Но если вы хотите, мы можем переписать... Кхм... Вам не кажется, что у Богородицы слишком уж иудейские черты?"

"Что же тут странного? Ведь она была иудеянка".

"Да, но... Присмотритесь. Не узнаете?"

"Кого же я должен узнать?"

"Слава Богу, — сказал профессор Головчинер. — Значит, это мне просто показалось. Конечно, это мне показалось. И откуда я только взял?.. Очевидно, все дело в том, что у художника свой особый взгляд, может быть, слишком придирчивый. Мы видим то, чего никто не видит... чего нет на самом деле. То есть что значит — на самом деле? Искусство создает свою собственную действительность".

Тут он принялся рассуждать на одну из своих любимых тем, но

дело в том, что на иконе была изображена Адела.

Да, представь себе. Как это произошло, каким образом я вдруг понял, что мое отношение к Аделе изменилось, я не могу объяснить. Ведь еще совсем недавно она для меня ничем не отличалась от других женщин и девушек. Я видел ее каждый день и не догадывался, что в нашем доме живет царица. И вдруг мои глаза открылись. Я увидел другую Аделу. С этого дня я, как потерянный, думал только о ней. От одного ее имени начинало колотиться мое сердце. Это имя напоминало корабль с белыми парусами, напоминало крыло птицы, я писал его на бумаге, на моих рисунках, выводил краской на холсте, нашими буквами, среди которых, как тебе известно, почти нет гласных, — они только подразумеваются, но их дыхание наполняет слово, как ветер — паруса, я повторял это имя, и душа моя наполнялась грустью, которая охватывает нас при виде всего прекрасного. Непостижимым чутьем я слышал издали шорох ее платья и угадывал ее присутствие, потому что вещи становились другими оттого, что она к ним прикасалась, стакан хранил вкус ее губ, половицы помнили ее легкую поступь, зеркало прятало ее отражение; она превратилась в тень, в белый призрак, я боялся встретиться с ней, и мне кажется, она догадывалась об этом. Все это продолжалось уже несколько недель, как вдруг меня осенила идея: я понял, что должен написать ей письмо. Она должна была узнать о моих чувствах от меня и вместе с тем как бы не от меня. Она должна была знать, и больше мне ничего не было нужно, я ничего от нее не требовал, ничего не ждал, ни на что не надеялся; меня несколько не волновало, что она жена моего отца; я был, ей-Богу, выше всяких плотских побуждений. И смысл моей любви был только в одном: открыться Аделе. Укрывшись на чердаке, под вечер, я долго сидел над листом бумаги, придумывая, как обратиться к ней: "милостивая государыня" не годилось, ведь мы жили в одном доме, "дорогая Адела" звучало слишком буднично; наконец, я решил вовсе обойтись без обращения и начертал сумбурное и восторженное письмо, смысл которого, если там вообще присутствовал какой-нибудь смысл, сводился к тому, что, приняв решение уйти из жизни, я решил довести до ее сведения, как много она, Адела, для меня значила. Я рассказывал о своей любви уже в прошедшем времени! Уйти из жизни. Почему я, собственно, это написал? Не знаю. Оттого, что это красиво звучало. Оттого, что я хотел окружить себя мрачной таинственностью, которая, как известно, всегда интригует женщин. А может быть, я в самом деле постиг, что с таким чувством, какое меня охватило, продолжать мою жизнь невозможно. Я запеча-

тал конверт, наклеил марку с белым польским орлом и незаметно вышел на улици. На углу я обернулся. Наш дом с вывеской "Антикварные предметы" был залит оранжевым светом заката, и окна горели, словно в комнатах был пожар. Вдруг я увидел ее. Она стояла наверху, в открытом окне своей комнаты. Ее черные волосы блестели на солнце. Если бы она знала, какое известие ее ожидает! Когда я еще раз обернулся, ее уже не было.

Я хотел отправить письмо заказным, но оказалось, что почта закрыта. Пока я топтался на крыльце, из ворот вышел Ареле, о котором я уже упоминал. Я спросил: почему так рано закрыли? "Я знаю!" — ответил Ареле. Родители Ареле снимали квартиру во флигеле, принадлежавшем пану Волюлеку, а сам Волюлек занимал верхний этаж дома, где была почта. Я решил постучаться с заднего входа во дворе. "Не надо", — сказал Ареле. "Почему?" — "Там нет никого". — "Куда же все подевались?" — Ареле посмотрел на меня, потом посмотрел на небо. "Знаете что, пан Юзя, — сказал он, — уходите отсюда. А то хуже будет".

Мы сидели на скамеечке перед воротами, Ареле грыз семечки, а я думал о письме, которое лежало у меня во внутреннем кармане.

"Когда возвращается пан Шимон?" — спросил он.

Я пожал плечами.

"Он обещал мне привести галоши".

Я поинтересовался, зачем ему галоши.

"Потому что, — сказал Ареле, — в Америке все время идет дождь".

"В Америке?"

"Ну да. Там же рядом океан. И зимой вместо снега идет дождь".

"А что вы там будете делать?" — спросил я.

"У моего отца специальность. Он будет работать по специальности. Поработает немного, а потом станет начальником почты. Как пан Волюлек... Слушайте, пан Юзя, — проговорил он. — Я что хотел сказать. Только это между нами. Пана Волюлека увели".

"Увели? Куда?"

"Я знаю? Пришли красноармейцы и увели".

Он добавил:

"И вашего профессора арестовали. И..."

Я ничего не понимал.

"Татэ говорит, пока можно, надо ехать в Америку. Потом будет поздно. Ладно, — вздохнул он, — пойдете, я вас проведу..."

Мы вошли через заднюю дверь в контору, Ареле взял штемпель,

похожий на молоток, проверил дату и ловко стукнул молотком по письму.

"Заказное", — сказал я.

"Заказное так заказное. С вас два злотых".

"Но ведь я наклеил марку".

"Ну и что? — сказал Ареле. — Марка маркой, а плата само собой. Такой порядок".

На другой день неожиданно прибыл мой отец.

В этот раз он приехал налегке, поставщики отказали ему в кредите, и его прибытие и последовавший за этим отъезд вместе со мной означали, как вскоре выяснилось, столь решительный поворот событий, что все происходившее доселе кажется мне теперь лишь мало-значительным предисловием; постараюсь, однако, не забегать вперед. У меня были какие-то дела в городе, я пытался узнать, что случилось с профессором Головчинером, ничего не узнал и бродил по улицам, не зная, что мне делать, но когда, наконец, я отправился домой, меня ожидало по дороге еще одно происшествие.

Уже издалека можно было заметить толпу, стоявшую перед домом овощного торговца. Били в бубен. Я протиснулся между людьми, на крыльце был разостлан ковер, на ковре и вокруг крыльца, под большой акацией, воздев руки и закрыв глаза, танцевали хасиды. У одного из танцующих на плечах сидел мальчик и колотил в бубен. А в окне мезонина за стеклом стояло искаженное, с выпученными глазами лицо рабби Менахема-Мендла из Коцка.

Я взбежал по лестнице и открыл дверь в комнатку с птицами как раз в ту минуту, когда раздался звон стекла. Бряканье бубна на улице прекратилось, и в комнату ворвался вздох толпы. Реб Менахем-Мендл в белой одежде стоял перед разбитым окном, вознеся на головной свои окровавленные руки. "Принеси мне воды и бинтов, — сказал он не оборачиваясь, — где ты там?.." Очевидно, он думал, что вошел шамес.

Я заметался по коридору, Файвела не было ни на кухне, ни за пегородкой. Он сбежал, убоявшись великого гнева, в который впал рабби. На плите стояло сложное сооружение из стеклянных реторт и трубок для приготовления снадобий; кроме того, я это знал, рабби занимался алхимией.

Кое-как я обмотал его руки платками. Праздничный наряд рабби с нашитыми на груди священными буквами был запачкан кровью. Вдруг от оттолкнул меня и закричал в окно:

"Безмозглые ослы! Прочь с моих глаз!"

Голос его сорвался, он топал ногами и тряс над головой замотанными в окровавленные тряпки руками.

"Что вы тут собрались, марш отсюда! Отправляйтесь к врачу! К черту, к дьяволу, к психиатру... Я вам не врач!"

Снизу раздался гнусавый голос:

"Рабби, что нам делать?"

Он повернулся ко мне, тяжело дыша.

"Ах это ты, — сказал он, словно только что узнал меня, — представляешь себе, они меня не выпускают... Я вам больше не учитель! — загремел он снова. — Я вам не рабби!.. Я старался вам помочь как мог, все бесполезно... Вы недостойны вашего учителя!.. Олухи! Безмозглые скоты! Идите и молитесь вашему всевышнему, ваш всевышний не имеет ничего общего с истинным Богом!"

"Труби, — сказал он, — труби в шофар".

И так как я медлил, он крикнул:

"Труби, говорят тебе!"

Я взял рог, на котором были выгравированы слова псалмопевца: "Радостно пойте Богу" — и затрубил.

"Слышите? — закричал реб Менахем-Мендл. — Вот!.. Вы думали, что это трубный глас Мессии, а это всего лишь мальчишка, недоучившийся художник, сопляк, дудит в бычий рог!.. И так всегда будет с вами! Вы думаете, что земля вертится ради вас и что у Бога нет других забот, как только слушать ваши вопли, глядеть на ваши танцы-шманцы, вы думаете, Бог существует ради того, чтобы вас кормить и поить, и беречь от коварных гоев, чтобы любоваться на вас и млеть от восторга, слушая ваше гнусавое пение? Так вот, нет! Бог изгнал из Эдема первых людей, потому что это были взрослые люди, для которых настало время собственных забот, время жить и время умирать! Суровый отец, он сказал им: я вас породил, я вас вырастил, хватит! Теперь живите своим умом — и марш отсюда! Трудитесь в поте лица своего... А меня больше нет! Мое жилище на небе, и как Моше не увидел моего лица, так и вы меня больше не увидите, не посмеете бить поклоны перед моим изображением, не посмеете произнести вслух мое имя. Вот что такое Бог, Бог Израиля!.. Прочь от моего крыльца, не то я возьму сейчас эти осколки и вот этими руками забросаю вас, гавноеды, ослы безмозглые..."

"Рабби, — простонал голос внизу, — на небе висит хвостатая звезда, скажи: что нам делать?"

"Звезда? Ну и что, что звезда! Причем тут Бог? Вам непременно хочется, чтобы во всем был Божий знак! Слава Богу — у него есть

другие заботы..."

Он уперся руками в подоконник, точно собирался выпрыгнуть наружу и расклевать толпу своим загнутым книзу, как клюв, носом. Потом обернулся ко мне, сверкая выпученными глазами... и я уж не знаю, чем это все кончилось: я почувствовал, что лучше убраться подобру-поздорову.

Дома я застал мою мать в необыкновенном волнении. Отец сидел за конторкой в заднем помещении магазина, щелкал на счетах и погружался в долгое раздумье, как всегда, никого не видя вокруг себя, зато мама с перевязанной головой, что означало особо жестокий приступ мигрени, бросилась мне навстречу, заламывая руки.

"Кровь моя... Дитя мое единственное! Я места не нахожу!"

В чем дело? Что такое?

"Адела сказала, что тебя уже нет в живых..." И тут вдруг выяснилось, что я попросту забыл и о письме, и о своих чувствах, и даже — какой стыд! — о самой Аделе.

Но нет худа без добра. По крайней мере ко мне вернулось самообладание. Она меня выдала; хорошо же. Сейчас я выложу ей все начистоту. Пусть знает, что я ее больше не люблю. С такими мыслями я поднимался по лесенке в мезонин, где жила Адела.

Я еще ни разу не был в ее комнате. Там было очень тесно из-за всяких полочек, салфеточек, этажерок, пузатого комода и громадного резного шкафа, всю эту мебель привезли из дома ее прежнего мужа. Все вокруг было заставлено безделушками, вазочками, слониками, стены увешаны тарелочками, крыльями птиц и фотографиями родителей Адель, все блестело и мерцало. Комната была похожа на раковину. Я стоял, насупившись, на пороге.

"А, это ты", — сказала она.

Я увидел, что она необыкновенно красива в своем струящемся шелковом платье, с крупными бусами на белой, как сливки, шее, с украшениями в маленьких ушах, невысокая, немного выше меня, пышногрудая и роскошная, как царица Савская. В комнате стоял удушающий аромат цветов или духов, аромат ее волос; от этого запаха я испытывал нечто вроде слабого опьянения, и меня слегка поташнивало.

"Что с тобой?"

Некоторое время я смотрел на нее, чувствуя, что я не в состоянии произнести то, что собирался ей объявить, и вдруг выпалил:

"Профессора Головчинера забрали".

"Что ты говоришь? Не может быть. Кто?"

"Солдаты".

"Господи... — проговорила она. — Наверное, он что-нибудь сказал. Что-нибудь против новой власти".

"Не знаю. Я хотел пойти к коменданту".

Она покачала головой. "Не делай этого. Не делай этого, мальчик. Бог с ним, как-нибудь без тебя разберутся... Разберутся и отпустят".

Наступила пауза. Мы глядели друг на друга.

"Мадам Адела, — промолвил я наконец, — почему вы меня предали?"

Она сделала удивленные глаза.

"Почему вы рассказали, что я... разве это предназначалось для других?"

"Я испугалась, — сказала она, улыбаясь, и я не понял, шутит она или говорит серьезно. — Может быть, ты все-таки войдешь?"

Я смотрел в окно, мимо нее, сердце мое билось медленно, безнадежно, горечь переполняла меня, и я испытывал особую, ни с чем несравнимую сладость быть обиженным. Вместе с тем эта роль обиженного и оскорбленного запрещала мне говорить, теперь не я, а она должна была загладить свою вину.

Надо было как-то прервать затянувшееся тягостное молчание, и она спросила:

"Где ты был?"

Я молчал и смотрел в окно.

"Ты не хочешь со мной разговаривать?"

Я ответил, что был у рабби.

"Сумасшедший старик, — сказала она. — Мешугенер".

Я покачал головой.

"Ты тоже сумасшедший. Разве так поступают? Отчего ты не пришел ко мне и не рассказал мне о том, что... ты питаешь ко мне такие чувства? Если бы все кончало с собой от любви, у нас не осталось бы мужчин... Тебе было стыдно? Разве это стыдно? По-моему, это совсем не стыдно, наоборот..."

"Я не люблю вас больше, мадам Адела..." — сказал я, глядя в пол.

"Глупый мальчик, ты на меня обиделся?"

Я смотрел мимо нее. Мне было душно, тяжело.

"А я-то думала... — протянула она. — Послушай, Юзя. Не думай, что я показала письмо твоей маме. Такие письма никому не показывают. Такими письмами, если хочешь знать, гордятся, такие письма хранят и потом перечитывают в старости... Но о них не рассказыва-

ют. И я ничего о нем не говорила. Я просто сказала, что за последнее время ты очень изменился, стал задумчивым и печальным и... я боюсь, как бы ты не сделал над собой что-нибудь, ведь это бывает у мальчиков в твоём возрасте... А тут как на зло тебя нет целый день дома. И в городе творится Бог знает что... Ну, не сердись. Мне твоё письмо очень понравилось. Я его перечитывала много раз. И что же? Оказывается, все это была шутка! Оказывается, ты меня вовсе не любишь. Ты посмеялся надо мной!"

"Нет, — пролепетал я, глядя на Аделу сквозь слезы, — нет!"

"Иди ко мне, — сказала она, — иди, я тебя поцелую. Ты успокоись и пойдешь к отцу. И забудем эту историю".

Я стоял, словно привинченный к половицам, и не мог сдвинуться с места.

"Ну?.."

Она подошла ко мне, смеясь.

"Знаешь, это даже невежливо. То ты мне пишешь, что умираешь от любви ко мне, а то даже не хочешь на меня смотреть. Так настоящие кавалеры не поступают. Когда дама оказывает кавалеру знак внимания, его принимают как высокую честь. Эту честь надо заслужить. Ай-яй-яй. Вот так мужчина".

Она склонилась ко мне и поцеловала меня в обе щеки.

"От тебя пахнет медом, — сказала она. — От тебя пахнет детством. Может быть, Юзя, это последний день твоего детства... Ну вот, а теперь приведи себя в порядок и ступай... И знаешь что? Мы с тобой будем теперь друзьями. Ты покажешь мне свои картины. Будем друзьями... да? — Она вздохнула. — Нет, я вижу, ты по-прежнему на меня сердит. А почему? Я тебе скажу. Это в тебе говорит твоя гордость. Ты дуешься, потому что думаешь, что ты унижился передо мной. Ах ты, маленький зазнайка! Как же ты будешь дальше жить? Твой ребе тебя ничему не научил! Самого главного он тебе не сказал. Ты знаешь, что в жизни самое главное? Самое главное — это когда люди любят друг друга. Для этого они и созданы. Мужчина создан для того, чтобы любить женщину, а женщина для того, чтобы принадлежать мужчине. Ты этого не знал, дурачок? Ну конечно, кто ж тебе это скажет. О таких вещах не говорят. Такие вещи подразумеваются сами собой!"

Она сидела спиной к окну, склонив голову на плечо, ее лицо было в тени, и пышные волосы окружали его черным сиянием.

"Что же ты не уходишь? — спросила она глубоким грудным голосом. — Чего ты ждешь?.. Ну, иди ко мне... На одну минутку, а то

кто-нибудь войдет".

И мои ноги подтащили меня к ней.

"А теперь, — промолвила Адела, — закрой глаза. Закрой глаза, открой рот. Я положу тебе конфетку... Ну вот, совсем другое дело. Мой кавалер удостоил меня улыбки. Только чур не открывать глаза. Открой рот. Сейчас в него влетит птичка. И-и... раз!"

Она толкнула меня пальцем в грудь, я засмеялся. Потом вторым пальцем. Мне стало необыкновенно щекотно, как вдруг Адела меня обняла и крепко, страстно поцеловала в губы. Ее руки легли мне на плечи.

"Теперь твоя очередь, — тяжело дыша, сказала она. — Но только один раз. Слышишь? Один раз, и ты пойдешь к родителям. Даешь слово? Чур не открывать глаза! Раз, два..."

Я не выдержал и посмотрел. Ее платье было расстегнуто и спущено с плеч, красные ягоды бус качались над ее кожей, я стоял перед ней на коленях, она наклонилась, и в каком-то жару, ужасе и отчаянии я коснулся губами ее больших, теплых, круглых плодов с темными упругими сосками.

Вдруг послышался скрип ступенек. Я вскочил на ноги. В дверь постучали.

"Да? — пропела мадам Адела, с необыкновенной ловкостью застегивая что-то спереди и сзади. — Войдите".

Ручка повернулась, но дверь была закрыта.

Адела не спеша проплыла мимо меня. "Ах, Боже мой, — проворковала она, — это ты закрыл дверь?.."

На пороге стоял мой отец.

"Ты тут? — произнес он с озабоченным видом. — Иди быстро, покушай и попрощайся с мамой. Мне надо сказать два слова тете Аделе".

"Что случилось?" — спросила Адела.

"Ничего..."

Быть может, тогда я впервые заметил, как неравномерно течет время жизни. В сущности, тривиальная истина, кто этого не знает? Но людей обманывает мерный ход часов и величественный полет созвездий. Оттого, должно быть, так встревожило наших жителей явление необыкновенного небесного тела — больше, чем война, чем смена властей. Ведь эта звезда грозила нарушить однообразное, торопливо-медлительное, как сыплющийся песок, переливание времени из дневной чаши в ночную. Но это однообразие — не что иное как видимость. На самом деле время течет, как река, порой как будто

стоит на месте, порой несется и бурлит на перекатах, так что едва успеваешь за ним следить.

В столовой меня ждал ужин, рядом стояла недоеденная тарелка отца. Вошла моя мать.

"Ничего не понимаю..." — пробормотала она.

Бедняжка, она не могла поспеть за этими перекатами времени, за лихорадочно стучавшими часами нашей жизни.

Сидя напротив меня, она теребила край скатерти, перекладывала с места на место то нож, то салфетку. Потом подняла на меня тусклый, больной взор.

"Ты осунулся. Некому за тобой присмотреть... Если бы я была здорова... Нет, — и в ее голосе появились обычные плачущие ноты, — я просто не понимаю! Я ничего не понимаю. Мне ничего не говорят. Вдруг приспичило. Вдруг на ночь глядя надо ехать. Куда? Зачем? Ты знаешь, что твой отец берет тебя с собой? Он тебе ничего не говорил? Мне он тоже ничего не сказал. Ты можешь мне объяснить, в чем дело?... То он говорит, что поставщики закрывают склады и надо сворачивать торговлю. Ну, сворачивать так сворачивать. У нас столько товара, что дай нам Бог распродать его за десять лет. А то вдруг сорокопад. Когда кругом творится такое, что не знаешь, что с нами завтра будет. Кушай..."

Словом, когда я вышел из дому, Сарра уже стояла перед крыльцом, перебирая короткими мохнатыми ногами. Как это ни покажется странным, таково было имя, которое кучер Владимир дал своей лошади; это была довольно вздорная, хитрая и норовистая кобылка с розовыми глазками и грязно-белой гривой. Сам Владимир сидел на облучке и подмигнул мне: дескать, не тушуйся... В самом деле, мой отец давно уже поговаривал о необходимости приучаться понемногу к ведению дел, но известие о том, что он берет меня с собой в деловую поездку, захватило меня врасплох. По нынешним временам требовались пропуска, но и это он предусмотрел.

Я уже упоминал о нашем путешествии; позволю себе, прежде чем приступить к рассказу о нем, одно небольшое замечание. Рабби Менахем-Мендл из Коцка говорил, что расстояние, которое нас отделяет от прародителей, больше, чем расстояние от Коломны до Иерусалима, но обратное расстояние от нас до прародителей меньше, чем от одного конца стола до другого, и я теперь понимаю, что он хотел этим сказать. Он хотел сказать, что понадобилось пять тысяч семьсот лет, чтобы мир стал таким, каким мы его застали, но живому человеку достаточно одного усилия мысли, чтобы очутиться рядом с

предками, жившими много веков назад. И более того: по зрелому размышлению он понимает, что предки Израиля живут вечно и лишь на короткое время становятся нами; их вечная жизнь нуждается во временной оболочке, и что же такое есть эта оболочка, как не мы все, мой отец Шимон Шульц, мадам Адела, рабби, одноглазый Файвел и все прочие.

"Ну давай, бабуся, — сказал кучер Владимир, — шевелись. Работай... — У меня всегда было такое впечатление, что жизнь в нашем местечке сделала Владимира самого похожим на еврея, во всяком случае, он прекрасно говорил на идише и даже усвоил себе особенное дорожное красноречие. — Надо же, — говорил он, в то время как тарантас гремел по булыжной мостовой и ушастая голова Сарры безостановочно кивала в такт равномерному цоканью подков и немолчной речи возницы, — надо же, если бы мне сказали, что животная тварь, и та жидовка, ни за что бы не поверил. Сколько же это на свете жидов, пан Шимон?"

Мой отец молча развел руками.

"Говорят, в Палестине ни одного еврея не осталось, все по белу свету разбрелись. Верно?"

"Нет, это неверно, — сказал мой отец, — хотя, с другой стороны..."

Он сидел подле меня, положив руки на набалдашник трости, тщательно одетый, как всегда, когда он выезжал по делам, в черном котелке, в галстучке бабочкой и в пенсне, которое он надевал, чтобы придать себе больше респектабельности. Город остался позади. Миновали замок Чарторийских, дорога шла в гору, и солнце, садясь над лесом, светило нам в глаза. Мы перевалили через бугор, и внезапно широкий небосвод исчез, в красно-золотистых сумерках мы катили по мягкой, усыпанной хвоей дороге, время от времени колесо стучало о корень, экипаж подскакивал и плавно катился дальше через полосы света и сумрака. Открылась широкая просека, длинная бесформенная тень лошади, перебирая ногами и цепляясь за кочки и кусты, постепенно обгоняла нас. Владимир пел песню.

Мой отец вынул из жилетного кармана часы, отколупнул крышку, поднес циферблат к глазам, потом к уху.

"Вот так история, — проговорил он. — Можешь себе представить: десять лет шли минута в минуту и вдруг остановились ни с того ни с сего... Как бы нам не опоздать". Я обернулся. Красный пожар заката стоял позади нас за черными стволами деревьев.

"Давай, давай, бабуся, — бормотал кучер, — работай..."

Угасающий день и тряска, монотонная езда начали убаюкивать меня, как вдруг у поворота показалась человеческая фигура — мужик с лопатой, с медным от закатного румянца лицом.

"Стой, тр-рр, — скомандовал Владимир. — Отдохни маленько. — Сарра остановилась. — Браток, — сказал он по-польски, — не знаешь ли, который час? Нам к поезду поспеть надо".

Человек взобрался на козлы и сел рядом с Владимиром, поставив лопату между ног. Шарабан запрыгал по ухабам. Мужик сказал:

"Да ведь поезда не ходят".

"Как это не ходят?"

"Говорят, покушение было, али диверсия. Какие-то, говорят, лесные братья. Партизаны, мать их ети".

Были уже густые сумерки, когда показались первые мазанки и плетни Коломыи, за кустами смородины мелькали яркие огоньки, высоко над садами блистало серебряное небо. Колеса застучали по торцам мостовой. Улицы города были пустынные, вокзал охраняли красноармейцы. Человек с лопатой спрыгнул с козел и как-то мгновенно растворился в полутьме. Странная идея осенила меня: на минуту, не больше, мне показалось, что инструмент, который он держал в руках, был вовсе не лопатой. Владимир, повернувшись на облучке, хитро подмигнул мне.

"Понял, кто это? Парень-то, похоже, что тоже из этих лесных..."

Мой отец вылез из шарабана, и тотчас к нам подошел русский патруль — офицер и два солдата. Я думал, нас заставят повернуть назад, но этого не произошло. Офицер вернул отцу паспорт, и несколько времени они говорили о чем-то. Отец водил пальцем, показывая вперед, туда, где светились огни переезда. Офицер кивнул. Отец воротился и сел рядом со мной.

"Вот так, старуха, — сказал кучер Владимир, — придется еще поработать. Ничего не поделаешь. Дела есть дела. Однако не подкрепившись, далеко не уедешь. Вы как считаете, пан Шимон?"

"Даю тебе полчаса, — сказал мой отец. — Меня ждут, я не могу отменить поездку".

Мы подкатили к шинку, Владимир распряг Сарру, привязал к коновязи и надел на морду мешок с овсом. Погруженный в свои мысли, мой отец прогуливался взад и вперед, я плелся следом за ним. Стало холодно. "Сейчас поедем, — сказал он, — садись в коляску. Садись... я тебя укрою". Закутавшись в плед, я искал в бездонном черноголубом небе хвостатую планету. Голос рабби Коцкого отчетливо зазвучал в моих ушах. Реб Менахем-Мендл вышел из дверей трактира

и сел на облучок. Потом я услышал голос моего отца, он сказал: "Ты таки изрядно подкрешился". Сарра стояла перед повозкой. "Бабуся, давай", — бодро сказал рабби Коцкий голосом кучера Владимира, и я сам не заметил, как прижался к неподвижно сидевшему рядом со мной отцу, чего никогда бы не осмелился сделать, если бы сон не сморил меня.

Вероятно, мы ехали довольно долго, потому что когда я очнулся, местность, залитая серебристым светом звезд, была уже непохожа на наши места. Так далеко от дома я еще никогда не был. Вокруг растилялись плоские поля, далеко на горизонте узкой кромкой слева и справа от нас чернели леса, а впереди блестела вода. Дорога вела к низкому песчаному берегу, и лишь подъехав совсем близко, мы увидели деревянный мост — он лежал в воде.

"Партизаны, матть их... — пробормотал кучер Владимир. — Что ж делать-то будем?" Он спрыгнул с козел и стал ходить взад и вперед вдоль берега. Мой отец все так же прямо и неподвижно сидел, положив руки в перчатках на трость, и как будто не слышал вопроса. Владимир развел руками, было очевидно, что он предлагает повернуть назад. Мой отец медленно покачал головой. Кучер вошел в воду, пробуя грунт, что-то соображал, вышел, насвистывая. Сел, тронул вожжи. Лошадь тряхнула головой и стала заворачивать вбок. "Балуй мне!" — закричал Владимир, натягивая вожжи, но лошадь не слушала его, тарантас резко развернулся на песке, так что мы чуть не опрокинулись. Камни заскрежетали под колесами, Сарра, вбивая копыта в песок, втащила нас на пригорок, там оказалась колея, которая вела к воде шагах в тридцати от того места, где Владимир искал брод. "Ишь ты, — пробурчал кучер Владимир, — тоже мне... а я и без тебя знал". Колеса въехали в воду. Сарра шагала вперед, трясая темноседой гривой, работая крупом, черная рябь бежала по обе стороны экипажа. "Валяй, валяй, пропадать так с музыкой!" — приговаривал наш возница. Вода поднималась все выше. Лошадь стала. "Но!" — гаркнул Владимир. Сарра шагнула вперед, и тотчас экипаж завалился набок. "Но! но!.." — кричал Владимир. "Я думаю, колесо сломалось", — сказал мой отец. Мы сидели в наполовину затопленном экипаже посреди реки, Владимир спрыгнул, вода была ему по пояс. Схватив лошадь под уздцы, он дергал ее за собой, наконец, тарантас двинулся, слава Богу, колеса были целы. Мы выбрались на другой берег, поросший кустами и осокой, выше начинался луг. Вода лилась с меня ручьями. Из-за кустов показалась голова Владимира и морда Сарры, кучер вел ее за собой, раздвигая заросли, мой отец

сидел в повозке. Не могу сказать, чтобы это приключение напугало меня, и что еще более странно, мне совсем не было холодно. Мы стояли на лугу; начинало светать.

Одно старое предание гласит, что вечный дух нигде не останавливается. Он идет от дома к дому, из страны в страну, из века в век и не знает покоя. Как вдруг что-то происходит, и он не может идти дальше. Он стоит перед домом, а из окошка на него смотрит старик, житель этой деревни. Старик спрашивает: что случилось? Я устал, отвечает дух-скиталец. Не могу больше идти. Может, тыпустишь меня к себе? Так они смотрят друг на друга, если только можно смотреть на духа, у которого, как известно, нет ни облика, ни абриса, и молчат. Отчего же, говорит старик, можно и пустить. Только плохи твои дела, ежели ты не в силах больше двигаться; ты будешь греться и отсыпаться, но перестанешь быть духом и превратишься в такого же немогущего старца, как я, которого ждет не дождетя смерть. Нет, тебе нельзя останавливаться, сказал старик, и точно так же и нам нельзя было сидеть и отдыхать. Надо было продолжать путь, время подгоняло нас, а тут еще разговоры о партизанах. Край неба уже розовел на востоке. Отца ждали перекупщики. "У меня тут кое-что есть, — проговорил он, — мы можем переодеться. Если только вещи не промокли..." Вдвоем с кучером Владимиром мы извлекли из повозки большой кожаный чемодан с металлическими уголками и застежками, отец снял с шеи ключ. Это был товар, который он собирался уступить другим антикварам, с тем чтобы погасить хотя бы самые неотложные платежи. Чемодан лежал на траве; присев на корточки, мой отец достал оттуда несколько небольших ваз древней чеканки, восьмиконечный наперсный крест, похожий на тот, который носил на груди отец Петр Кифа, но, пожалуй, еще красивей, далее на свет явился кинжал из Дамаска и еще два-три подобных предмета. Отец поднял голову: "Ну, что ты стоишь? Раздевайся". Мы переоделись в то, что лежало на дне чемодана и, к счастью, осталось сухим. Мой отец преклонил колено, чтобы завязать ремни сандалий. На нем была белая хламида, на которую он набросил легкий гиматий. Он аккуратно сложил костюм и котелок в чемодан, взглянул на часы и, так как они стояли, уложил их туда же.

"Ну вот, — проговорил он, вздохнув с облегчением. — Теперь можно ехать".

Солнце должно было вот-вот взойти. Небо сияло ровным розовато-золотистым светом, переходившим позади нас в серебряный и лиловый. День обещал быть теплым. Лошадь бодро хрустела копыта-

ми по песчаному тракту. Оттого, что мы выкупались в реке, мне совсем не хотелось спать. Мы жевали бутерброды и запивали их пивом. Вокруг стояла высокая рожь. Видимо, осень в этих местах еще не наступила.

Прошло, как мне показалось, совсем немного времени, а солнце уже успело подняться высоко и палило во-всю. Арба стала увязать в песке. Лошадь остановилась и повернула к нам голову.

"Что такое, старуха?" — сонным голосом спросил возница.

"Пить хочу", — сказала Сарра.

"Потерпи. Нам ведь уже немного осталось, реб Шимон?"

Мой отец кивнул.

"Ноги вязнут", — сказала Сарра.

"Ничего не поделаешь".

"Может, вернемся?"

"Милок, — спросил Владимир у пастуха, стоявшего на пригорке, — где тут у вас колодец?" Тот уставился на него с непонимающим видом.

Мой отец слез и, подойдя к пастуху, поднес ладонь ко лбу и к сердцу, после чего произнес несколько слов по-арамейски. Старик напряженно смотрел на него: он был глухонемой. Потом закивал и показал вдаль.

"Езжай до деревни, — сказал мой отец Владимиру, — мы пойдем пешком".

Мы поспели во-время и, как вскоре оказалось, совершили наш путь не зря. Когда мы приблизились к селению, — отец крупно шагнул в своем развевающемся одеянии, подняв голову и равномерно взмахивая посохом, — там уже стоял народ: женщины, дети, цыганки, торговцы амулетами, нищие; сквозь толпу, звеня колокольцами, протискивались со своими жбанами разносчики воды, шныряли вры.

"Ага, — сказал отец, глядя куда-то вверх голов, — я эту компанию знаю. Тем лучше..." — пробормотал он.

Издали раздавался громкий, густой и монотонный голос отца Петра Кифы.

Люди искоса поглядывали на нас, уступали дорогу; так мы оказались перед домом сотника. Отец Петр в подряснике стоял на крыльце, рядом с ним стоял хозяин и еще несколько человек.

К нам протиснулась Адела.

Тем временем Петр говорил:

"Вы знаете этого человека, это уважаемый муж, он не станет

лгать и лжесвидетельствовать. Он один из тех, кого просветил свет истины. Он был в Иерусалиме, когда Господь наш въехал в город и люди кричали: Осанна, Царь Иудейский! Но Господь наш не земной царь, а небесный..."

"Ложь, — громко сказал мой отец, — все ложь". Некоторые из стоявших рядом обернулись на него, другие напряженно слушали того, кто стоял на крыльце.

"Он подтвердит вам, — говорил Петр, указывая на хозяина дома, — вы все знаете этого человека. Он имел видение: около девятого часа дня явился ангел Божий и воззвал к нему... И сказал: Корнилий! Верно я говорю?"

"Верно, все верно", — сказал сотник.

"...Корнилий! призови к себе Петра, то есть меня, чтобы я сказал вам слово правды".

"Не волнуйся, — сказала Адела, — лучше не связываться. Ты видишь, они уже все готовы пасть перед ним на колени".

"Посмотрим", — сказал мой отец.

"Вы слышали, что происходит по всей Иудее, — продолжал Петр, — а я был среди тех, кого Господь наш избрал в ученики и кому повелел проповедывать среди народов. Вы слышали о великих чудесах, которые он совершал на земле, а я своими глазами видел, как это все было... Я видел, как он ступал по воде, вот как мы с вами переступаем через кочки, так он перешагивал волны. Это был Мессия! В первый раз он явился на землю, чтобы заповедать новый закон, закон любви, закон братства, по которому даже врагов своих надо любить, и если кто тебя ударил по щеке, то не отвечай злом на зло, а подставь другую. И рука врага твоего сама собой опустится. Наш Господь умер смертью мученика, пострадал за всех нас, а потом воскрес и вознесся на небо, но он придет снова. Он придет! Он придет скоро! Уже недолго ждать! И уж тогда настанет конец времен. Вот Корнилий перед вами, вот еще другие, они не дадут соврать. А еще расскажу вам про великое чудо, которое Господь сотворил в Вифании..."

"Не слишком ли много чудес?" Это был голос моего отца. Люди обернулись на нас, оратор умолк и стал искать в толпе глазами, кто сказал. Ему указали на нас. В толпе раздался ропот. Какая-то тощая растрепанная тетка чуть не набросилась на нас. Отец стряхнул ее руку.

"Юзя, давай уведем отца, — шепнула Адела, — тут народ знаешь какой..."

"А как же закон любви? — иронически спросил мой отец, обра-

щаяся к народу. — Вас учат любви к ближнему, подставь щеку, то да се. А я и рта не успел открыть, как вы уже готовы со мной расправиться".

"Кто ты такой и как тебя зовут?" — спросил Петр.

Мой отец вышел вперед.

"Симон, — сказал он. — Меня зовут Симон".

"Ты что-то хотел спросить, Симон?"

"Да, — сказал мой отец. — Я хотел спросить..."

"Не слушай его! Мы его не знаем!"

"Спокойно, — сказал Петр. — Пусть он спросит, и я отвечу".

"Я всего лишь торговец древностями, — волнуясь, заговорил мой отец. — И если бы ты зашел в мою лавку, ты бы увидел, сколько всяких идолов и амулетов, богов и божков, сколько вещественных доказательств ложной веры, сколько разных суеверий накопилось на свете..."

"Да, да, — сказал Петр, — ложная вера застлала глаза народу. Люди! Он прав!"

"Постой, я еще не кончил. Что я хотел сказать... Мы знаем, что у божества нет ни облика, ни абриса, а ты хочешь нас уверить в том, что Господь явился на землю в человеческом образе. Мы знаем, что никакому владыке нельзя воздавать божеских почестей, нельзя падать ниц ни перед кем, как Мардохей отказался пасть перед Аманом. А ты призываешь поклониться сыну плотника, как Богу. Ты хочешь уверить нас, что он был сын Божий, словно Господь Бог может жить с женщиной и прижить с ней сына. Чтобы как-то выкрутиться, ты и вся ваша секта утверждаете, будто женщина зачала без мужского семени и родила, оставшись девственницей. Как это может быть? Ты утверждаешь, что этот сын человеческий жил, как человек, и ел, как человек, и претерпел телесные муки, и умер, как умирает человек, — а потом восстал из мертвых. Вот я и спрашиваю тебя и всех вас: не слишком ли много чудес?"

"Тот, кто однажды видел чудо своими глазами, — сказал Петр, — не может не уверовать, а тот, кто уверовал, для того чудо уже не есть нечто невероятное и сверхестественное, напротив даже... Люди! — воскликнул он. — Евреи! Не дайте себя сбить с толку ложными мудрствованиями. До того ли нам сейчас! Мир гибнет... Господь наш пришел не для того, чтобы опровергнуть закон, а наоборот — подтвердить то, о чем вещали пророки. Он пришел нас спасти. Кто уверует, тот спасется! А вы, нечестивцы, будете гореть — да, да, да! В печи огненной".

"Ты не доверяешь людям, — возразил мой отец, — какая же это вера, если она нуждается в таких примитивных доказательствах? Бог не щедр на чудеса. Немного стоит вера, которую покупают с помощью фокусов. — И он желчно усмехнулся. — Это и я умею."

"Будьте свидетелями, — закричал апостол, — он называет чудеса Господни фокусами!"

"Могу продемонстрировать, — сказал мой отец, — пожалуйста..."

Он разинул рот, выпучил глаза, вобрал в себя сколько мог воздуха, и изрыгнул синее пламя.

Народ так и ахнул.

"Вот это да, — сказал кто-то. Оживление охватило толпу, люди смеялись, свистели. — Давай еще!"

"Ты базарный фокусник, — сказал Петр, — видели мы таких чудодеев. А ножи глотать ты умеешь? Голубей вытаскивать из-за пазухи?"

"Могу, отчего же, — отвечал мой отец, стараясь сохранять невозмутимость. — Адела, подойди-ка". Он осторожно опустил два пальца, средний и указательный, в ложбинку между ее грудями и ловко вытянул оттуда платочек, встряхнул его — платок развернулся в пеструю шаль. Отец быстро собрал ее, скатал между ладонями, швырнул мячик в небо, он превратился в голубя и сел на крышу.

"Молодец, — сказал апостол и повернулся к сотнику: — Дай ему денег". Он захлопал в ладоши. "Люди! Этот человек повеселил вас, скажем ему за это спасибо. А теперь я хочу продолжить..."

"Нет, постой, это все были игрушки, — проговорил мой отец. Его охватило какое-то мрачное вдохновение. — Слушайте, — сказал он, озираясь, — пусть кто-нибудь принесет лестницу!"

"Что? — спросил Петр, нахмурившись. — Лестницу? А-а! Теперь я знаю, кто ты такой. Ты Симон Маг. Ты враг нашей веры и заплатишься за это, как заплатились другие. Господь расточит врази своя..."

"Эй, вы, живо!"

"Ты с ума сошел", — прошептала Адела.

"Молчи. И пусть принесут шофар! Есть в вашей деревне синагога?.. Пусть трубят в рог! Музыка!"

Он стоял возле лестницы, прислоненной к дому, и нервно потирал руки. Толпа приготовилась к занимательному зрелищу. Петр сложил руки на груди и с холодным презрением смотрел на моего отца.

"Боже, что делать, — бормотала Адела, — Юзя... ты бы хоть..."

Боже, останови его..."

Мой отец быстро влез на плоскую крышу дома сотника. "Пособите мне!" — крикнул от оттуда.

Какие-то ребята стали поднимать лестницу, я присоединился к ним. Мой отец втащил лестницу на крышу, укрепил у подножья башни и полез вверх. Ветер трепал его волосы и белое одеяние.

Произошло следующее: мой отец стоял на верхней перекладине лестницы, и в наступившей тишине было слышно, как он приговаривает что-то, не то произносит заклинание, не то молится. Внизу раздался слабый BLEЮЩИЙ звук, это синагогальный служка трубил в выдолбленный рог. Потом звук повторился. Отец стоял, точно артист в цирке перед изумительным и опасным номером. Все быстрее и громче становилось его бормотанье, "Элохим, Элохим..." — повторял он, затем с величайшей осторожностью оторвал ногу от лестницы, согнул в колене и уперся ею в стену башни, другая нога стояла на перекладине; его ладони ощупывали шершавый камень, он искал опоры. И, наконец, с силой оттолкнувшись, так что лестница упала с грохотом на крышу, он отделился от башни и повис в воздухе. Одна сандалия сорвалась с его ноги и упала на землю. Он парил в воздухе!

Он парил над толпой, раскинув руки и болтая ступнями, с закинутой кверху головой, и в эту минуту напоминал ребенка, которого положили на живот. Стояла мертвая тишина, пораженная толпа, как один человек, поворачивала головы вслед за ним. Его понесло в сторону. Он терял высоту и, пытаясь взлететь, бил и сучил ногами. Адела схватила меня за руку, толпа заколыхалась. Мой отец несколько раз перевернулся в воздухе и упал на землю. Мы подбежали к нему. Кучер Владимир, который тоже стоял в толпе, протолкался к нам.

Отец лежал на земле и широко открытыми глазами смотрел в небо. Женщины причитали. Кто-то в толпе сказал: "Поделом ему!" — "Как не стыдно так говорить, — отозвался другой голос, — человек разбился, а они рады..."

"Где у тебя болит? — спросила, стоя на коленях, Адела. — Ты меня слышишь?" Она обвела глазами собравшихся. "Что вы тут толпитесь, как бараны, нечего на него глазеть..." — сказала она с тоской. Толпа молча раздвинулась. Апостол Петр с суровой миной приближался к нам, за ним Корнилий и еще кто-то, сзади несли носилки. Мой отец не издал ни единого стога. По-прежнему, точно вглядываясь во что-то, он смотрел неподвижным взором перед собой. Корнилий велел нести его к себе в дом.

Кучер Владимир, Ареле и еще какой-то рыжебородый и кудрявый

мужик взялись за носилки, я шел рядом, утирая слезы, мадам Адела держала моего отца за руку. Толпа начала расходиться, шумно переговариваясь, люди спорили и жестикулировали. Так мы вошли в дом, где нас ожидала непредвиденная и невероятная встреча.

Отца положили на низкое ложе. Женщины побежали готовить примочки. Полог, которым был задернут вход в горницу, приподнялся, вошел Петр и сел возле отца.

Я стоял у входа, видел, как он оперся локтем о колено, подперев ладонью подбородок, и молча воззрился на лежащего.

"Это я виноват, — сказал он наконец. — Мне надо было тебя остановить... Никто из нас не чудотворец... Я виноват, прости меня".

"Вот именно, — отозвался сильным голосом мой отец, — вот именно: никто не чудотворец".

"Не будем спорить", — сказал Петр.

Тут вошла Адела и служанка с полотенцами, кувшином и тазом. Петр встал и вышел из комнаты. Потом послышался голос хозяина и еще один голос со странным чужеземным акцентом. В комнату вступил толстый и румяный человек в диковинной одежде. Женщины изумленно уставились на него. Из-за полога выглядывали, наседая друг на друга, любопытные. Произошло всеобщее замешательство.

"Сижу в трактире, ничего не знаю, — сказал человек громким басом, — вдруг говорят... Слава Богу, наконец-то я вас разыскал! Все вопросы — потом. Что случилось? Ради всего святого: что произошло?"

"Нет, — пролепетал мой отец, — скажите мне, что я на том свете. Скажите мне, что я сплю... Юлиан?!.."

"Конечно, ты спишь, — отвечал дядя Юлиан. — Ты спишь, и я тебе приснился. И тебе тоже, — сказал он ошеломленной Аделе. — Что вы все на меня уставились? Можно увидеть человека во сне. Можно вернуться с войны. Можно приехать из Америки. Все можно".

Он снял свой великолепный пиджак и остался в щегольском жилете, белоснежной рубашке с крахмальными манжетами, в огромном, выпиравшем из-под жилета галстук с павлиньим глазом. Галстук был заколот дорогой булавкой. Короче говоря, это был он, легендарный дядя Юлиан, настоящий дядя из Америки, о котором только можно было мечтать, — дородный, благоухающий духами и сигарами, жизнерадостный, щедрый и богатый.

"Ну-ка помоги мне, — сказал он Аделе, отколушнул золотые запонки и засучил рукава. Вдвоем они сняли с лежащего испачканную хламиду. Дядя Юлиан принялся ощупывать моего отца. — Где бо-

лит? Здесь болит?.. Слышал, слышал о твоих подвигах... Что за мальчишество! Какое тебе дело до христианской веры? Пусть себе молятся кому хотят. Стоило ломать себе ребра ради этого..."

"Послушай... как ты здесь очутился?" — лепетал мой отец.

"Как очутился? Очень просто. Ладно, — решительно, тоном делового человека сказал дядя Юлиан, — отложим обсуждение этих вопросов до более спокойных времен. А сейчас время не терпит. Главное, как ты себя чувствуешь? Сможешь ли ты перенести дорогу?"

"Смогу, я думаю..."

"Но, но, но! Не храбись. Мы едем далеко".

Оказалось, что два дня назад дядя Юлиан прибыл поездом в Коломыю. Оттуда он намеревался ехать в наш город, но случайно узнал в трактире на станции, что кучер Владимир с моим отцом отправился в другую сторону. Дядя Юлиан знал, что началась война и Польши больше не существует, и собственно, поэтому и приехал. Теперь, сказал он, нам остается только заехать за матерью.

"Да, но..." — возразил мой отец.

"Ха, ха, ха!" — захохотал дядя Юлиан, сверкая фарфоровыми зубами, и извлек из внутреннего кармана пухлый бумажник. — А это ты видел? Теперь скажи, кто из нас чудотворец?"

Мой отец поднес бумаги к своим глазам — это были визы. Четыре визы на въезд в Америку: для моего отца, для матери, для Аделы и для меня.

"Но я должен сказать, — продолжал дядя Юлиан, — ты тоже парень не промах. Держу пари, что тебя ждет в Штатах блестящее будущее. Где ты научился этим фокусам?"

"А... — мой отец махнул рукой. — Ты же видишь, чем все это кончилось".

"Нет, серьезно. Ты действительно чудодей. Хотя бы потому, что ты не разбился".

"Это ложный пророк. Я должен был его разоблачить. Ты даже не представляешь себе, — сказал мой отец, — к каким последствиям это приведет, если ему удастся заморочить голову людям".

"Они сами этого хотят, — сказал дядя Юлиан. — И ничего тут не поделаешь. Well. Отложим философию до лучших времен".

По дороге мой отец рассказывал о делах, о платежах и кредитах, ему казалось, что нельзя уезжать, прежде чем он приведет в порядок документацию и законным образом ликвидирует фирму. Дядя Юлиан слушал его и усмехался. Потом он сказал: фирма... Какая

фирма, когда сейчас война и неизвестно, что будет завтра! Купим сейчас же, не мешкая, билеты, потом поедem за мамой, захватим пару чемоданов с самым необходимым, повесим на дверях замок, объявление: "Магазин закрыт до лучших времен" — и общий привет! С этими словами он бодро спрыгнул с подножки, отчего заколыхался весь экипаж, велел Владимиру дожидаться на другой стороне вокзальной площади, а меня позвал с собой. В присутствии дяди Юлиана все происходило необыкновенно быстро. Мы вошли в зал и направились к кассе.

Коломыя не такая уж маленькая станция, как, может быть, ты себе представляешь. Конечно, скорые поезда почти все проходят мимо. Но даже в то время, два раза в неделю, тут останавливался пассажирский поезд с международным вагоном до Белграда. А оттуда, сказал дядя Юлиан, до морского порта рукой подать. Зал ожидания был пуст и выглядел чрезвычайно уныло, со старыми, изрезанными перочинным ножом скамейками вдоль стен и пятнами плесени на потолке.

Кассир в окошке что-то писал, щелкал счетами и заглядывал в ведомости. Это был маленький горбатый человек. Несколько времени дядя Юлиан ждал, положив портмоне и постукивая ногтями. Человек щелкал счетами. Дядя Юлиан прочистил горло. Кассир поднял на него воспаленные глаза.

"Знаете, — проговорил он, — сколько стоит отравить газом одного человека?"

"Что?" — спросил дядя Юлиан.

"Я говорю, известно ли вам, во что обходится обработка газом одного человека?"

"Excuse me, — солидно произнес дядя Юлиан, — я хотел бы купить билеты".

"Билеты? — удивился кассир. — Какие билеты?"

"Как это — какие? Пять билетов до..."

"Мы давно уже не продаем никаких билетов. Сейчас все ездят бесплатно. И даже не догадываются, что все это стоит немалых денег".

"Позвольте..."

"Нет, это вы позвольте! Дайте мне договорить".

"Слушайте, как вас... — сказал сурово дядя Юлиан. — Не мочите мне голову. Пять мест до Белграда. Я не собираюсь ехать бесплатно".

Человек в окошечке усмехнулся.

"Небось, когда вас будут обрабатывать, вы платить не будете. А

почему? Потому что это очень дорогая вещь. Это только кажется, что это дешево стоит. Я вам сейчас докажу. Я все подсчитал. Вот смотрите: фирма отпускает циклон Б по цене 975 рейхсмарок за баллон. В баллоне 195 килограммов газа. То есть это будет пять марок за килограмм... На одну партию, примерно 1500 человек, я округляю цифры для простоты, уходит пять с половиной килограммов. Умножаем и делим. Получается 15 пфеннигов. Пятнадцать пфеннигов стоит жизнь одного еврея. Это, может быть, и не так уж много. Но вы упускаете из виду два обстоятельства: во-первых, на один небольшой город, скажем, такой, как Коломыя, уходит целый баллон, вот вам уже тысяча марок. А во-вторых, сопутствующие расходы..."

Мы вышли из вокзала, дядя Юлиан буркнул: "Не будем тратить время, это какой-то мешугенер..."

Усаживаясь в повозку, он объяснил, что касса не работает, купим билеты на обратном пути. В крайнем случае, прямо в поезде.

Мне не хочется отвлекаться ради мелких подробностей нашего возвращения, хотя некоторые из них были немаловажными и должны были бы, по крайней мере, удержать нас от неосмотрительных шагов, прежде всего от главной ошибки. Ошибка эта заключалась, конечно, в том, что мы вернулись.

Нужно сказать, что наиболее разумным человеком оказался тот, от кого это меньше всего ожидали, — кучер Владимир. Он первым сообразил, что пока мы отсутствовали, произошло гораздо больше событий, чем может уместиться в столь непродолжительный отрезок времени. В том-то и дело, что непродолжительным этот промежуток был только для моего отца — Симона-волхва и нас, ~~тех~~ сопровождавших его, тех, кто был свидетелем его диспута с Петром Кифой и ужасного падения с высоты. Кучер Владимир был простой человек и вряд ли сумел бы объяснить, как это может быть, чтобы время в разных местах протекало с разной скоростью; но он, например, сообразил (а может быть, что всего вероятней, кто-то ему сказал, пока дядя Юлиан пререкался с сумасшедшим кассиром, а мой отец и Адела сидели в повозке), что русских давно уже нет в нашей окрестности. Он же сообщил, что между уходом Красной армии и приходом немцев, когда вообще никакой власти не было, по всей округе происходили погромы. Завязался спор: кучер Владимир советовал нам не мешкая бежать. Куда угодно — хоть забраться в товарный вагон и уехать, — и чем дальше, тем лучше.

В ответ дядя Юлиан только махал рукой. С какой стати оккупационные власти станут нас задерживать? "Я, — сказал дядя Юлиан,

— гражданин Соединенных Штатов. Американский гражданин: это тебе не хер собачий... Я приехал за моими родственниками". Вот визы, вот подпись консула. Закон есть закон. В крайнем случае он свяжется с послом в Берлине.

Услыхав слово "закон", кучер Владимир возвел глаза к небесам. Я уже говорил о том, что жизнь в местечке сделала его похожим на еврея. "Азохн-вэй, — сказал он. — Слышь, старуха, что образованные люди говорят? Учись..."

Отец тоже считал, что нужно ехать в город. Он взвешивал разные возможности. Можно было тут же, в Коломые, продать кое-что из того, что он вез в чемодане, например, кинжал и наперсный крест. А имея на руках хорошие деньги, не так уж трудно договориться с начальством. Главное — увести маму. Вдобавок моего отца беспокоила судьба магазина. Особенно он был встревожен рассказом Владимира о погроме. "Вот видите, — добавил мой отец, — как только пришла немецкая армия, бесчинства прекратились и восстановился порядок. Гетто? Ну и что, что гетто? Может быть, гетто и организовано для того, чтобы обезопасить евреев..."

Владимир, сидевший на облучке, обернулся и сказал:

"Пан Шимон, вы великий человек и волшебник, против этого никто не спорит. Только знаете, что говорят? Говорят, немцы всех жидов собрали в гетто и привезли врачей. А для чего? Они собираются холостить всех мужчин, вот для чего".

"Что? — спросил дядя Юлиан, который подзабыл язык, пока жил в Америке. — Что они собираются?"

"Холостить. Чтобы больше не размножались и хорошо работали. Примерно как жеребцов холостят".

"Что ты городишь? — сказал дядя Юлиан. — Да еще при женщинах".

"Я бывал в Германии, — заметил мой отец, — немцы самый цивилизованный народ..."

Адела испуганно смотрела на мужчин, казалось, у нее не было своего мнения. Что касается меня, то моего мнения никто не спрашивал, но я не представлял себе, как это можно бежать, оставив маму. А реб Менахем-Мендл? А все наши хасиды, наши соседи и знакомые, что с ними? Нет, мы просто обязаны были вернуться.

Откуда мне было знать, что моей матери уже не было в нашем городе, а скорее всего не было и в живых. Откуда мне и всем нам было знать, что Земля несется все быстрее и быстрее навстречу злой комете и серный дух ее уже стелился над нашим краем, и не успели еще

придти немцы, как рабби Коцкому разбили голову ночью перед домом, где он жил, легендарному рабби Коцкому, о котором теперь пишут книги, о котором гадают, жил он на самом деле или не жил, и который говорил растерявшимся людям, что у Бога есть другие заботы, а одноглазый Файвел забился в подвал и жил там среди крыс. Откуда мы могли знать?..

Я сказал: пока мы отсутствовали. Но что значит отсутствовать? Мальчик мой, быть может, единственный урок, который я вынес из последовавших событий, был тот, что мы все — и те, кто погиб, и те, кто уцелел, кому невероятным образом удалось уцелеть, — никогда в полной мере не "отсутствовали" и никогда вполне не "присутствовали". Я родился и вырос в доме моего отца на Сходе, но это был не только родительский дом, это был дом, который назывался историей, и если в данный момент нас не было в комнате, то это значило лишь, что мы ушли в другую комнату. Мы жили в доме, где были выставлены в окне, разложены под стеклом на прилавке, стояли и покрывались пылью на полках и стеллажах реликвии всех эпох, более или менее вышедшие из употребления, более или менее сохранившие свою душу, в доме, который был и нашим жильем, и музеем, и антикварной лавкой, где вместе с живыми торговали, и ели, и спали, и читали древние книги, и ссорились, и обнимали друг друга, и начинали детей своих наши предки, и вспоминали путь из Египта, фараоны колесницы, увязшие в песке, и всадников, захлебнувшихся в море; мы жили в доме, где можно было мимоходом взглянуть в тусклое зеркало и увидеть в мутной глубине нищего патриарха, босого царя или полубезумного пророка, в доме, где Ревекка пряла свою пряжу и Вирсавия сушила волосы на заднем дворе, где поколения и века сменяли друг друга, где было все на свете, бывали и наводнения, и грабежи, и пожары, и все как-то обходилось. А теперь этот дом сгорел до тла.

Итак, на чем я остановился... Нам удалось почти беспрепятственно выехать из Коломыи; был чудный день. Мой отец хорошо говорил по-немецки, поэтому когда при выезде из леса дорогу нам преградил патруль, отец отвечал на вопросы, и это произвело, как нам показалось, положительное впечатление. Дядя Юлиан с нарочитой медлительностью вылез из тарантаса. Фельдфебель принялся изучать его паспорт, после чего уселся между Аделой и дядей Юлианом, а мы с моим отцом зашагали, сопровождаемые солдатами, следом за экипажем.

Видишь ли, дорогой мой, я не зря начал эти записки с притчи об

ученом раввине и жестоком епископе: в ней заключены разные возможности толкования. В любом случае она говорит о том, что результаты наших действий чаще всего не отвечают нашим намерениям. Епископ жаждет утвердить христианскую веру, но то, что он приказывает совершить над упрямым иудеем, служит посрамлению этой веры. Однако допустим, что еврей согласился креститься: было бы это победой епископа? Нет, ибо вера, которую принимают под давлением логических доводов, перестает быть верой. Вообще нетрудно было бы показать, что если бы стремление христиан искоренить иудейскую религию увенчалось успехом, это означало бы гибель самого христианства. Церковь вырастает из синагоги, и это отпочкование не есть однажды совершившийся факт, но оно совершается в непрерывно длящейся истории. Поэтому крушение синагоги влечет за собой крушение церкви, и расправа христиан над евреями есть не что иное, как величайшее и окончательное поругание христианских заветов, величайшее и окончательное посрамление христианства; ибо не может не засохнуть ветвь, если срублено дерево.

Иудей пререкается с князем церкви, до поры до времени не догадываясь, что на самом деле он спорит с самим собой. Иудей спорит с собственным сомнением; иначе было бы непонятно, что заставляет его посещать епископа. В том, что ученый раввин в глубине души сомневается в своей вере и в своей науке, нет ничего удивительного: наука есть инструмент испытания веры, и, следовательно, вера есть условие для науки; вера, таким образом, составляет высшее оправдание науки. Вдобавок он никого не хочет переубедить; в диспутах с епископом он лишь обороняется. Тем не менее однажды ему начинает казаться, что аргументы веры исчерпаны, он чувствует, что сомнение грозит перейти в отрицание, и отказывается прийти. Другое дело епископ. Он тоже полон сомнений, это заставляет его вести долгие споры с раввином; но, в отличие от еврея, он нуждается во внешней победе ради победы внутренней, — и ему не приходит в голову, что его победа есть на самом деле поражение.

Мой отец говорил: в христианском учении лишь одно не вызывает сомнений, — это то, что их учителя прибили живьем к столбу. Последователи Йешу утверждали, что он вознесся на небо. Оставим этот вопрос в стороне; это дело веры или прибежище отчаяния. Но они утверждали также, что их учитель вернулся. Йешу снова придет на землю, и наступит царство справедливости. Так вот, я открою тебе одну тайну. Он таки вернется. Клянусь тебе — он вернулся!

Ты скажешь, что здесь имеется противоречие, ибо этот факт, если

это факт, означал бы, что тот, кого мой отец считал ложным чудотворцем и полагал необходимым разоблачить, противопоставив его чудесам свои собственные, так сказать, самодельные чудеса, — совершил-таки чудо: воскрес из мертвых. Да, если бы все мы жили один раз. Но мы жили не только здесь и теперь; мы жили в истории, где все повторялось, и повторялось, и повторялось — до тех пор, пока не рухнуло окончательно.

Может быть, странное известие, тайный слух, распущенный кем-то после его казни, — будто, предвидя свое поражение, он покончил с собой, а ученики выдали римлянам его тело, чтобы инсценировать казнь и спасти его учение, — может быть, этот слух лишь предвосхитил то, что в конце концов и произошло, теперь, на наших глазах. Самоубийство! Ибо чем же иным было его возвращение в тот самый час, когда столб огня и облако дыма поднялись над домом Израиля! Да, он пришел во второй раз, он вернулся — но не затем, чтобы возвестить о царстве мира, любви и справедливости. Он пришел, чтобы надеть желтую звезду. Они хотели истребить евреев, но на самом деле уничтожили христианство, как епископ осрамил и уничтожил свою веру, велел расправиться с раввином. Да, их учитель пришел снова. Но он пришел, чтобы смешаться с тысячами и тысячами обреченных, ибо как же могло быть иначе: он был один из нас, и нет больше мира и любви в этом мире. И его тело выгребли из вонючей камеры среди других тел, и сожгли вместе с другими, и оно превратилось в дым, и никто этого не заметил. Слишком много их было!

О том, что происходило в те дни и месяцы в нашем городке, во всем нашем крае, я рассказывать не буду, ты это знаешь без меня, да и вообще все это теперь хорошо известно: везде было примерно одно и то же. Изложу лишь некоторые обстоятельства, которыми сопровождалась кончина моего отца, — разумеется, если это была кончина, а не что-нибудь другое, для чего мне трудно подыскать название. То, что произошло на моих глазах, впоследствии было сочтено легендой, наподобие легенд о рабби Коцком, о Зусе из Ганиполя, о знаменитых цадиках и чудотворцах: таково свойство подобных событий, и такова особенность наших мест. Ты видишь, что я по-прежнему называю этот край "нашим", хотя едва ли кто-нибудь из нынешних жителей Коломыи, или Косова, или Сасова, или Межерич признал бы во мне земляка; я умру, и со мной уйдет в прошлое наше проклятое время, и некому будет свидетельствовать о последних днях Симона Волхва и Петра Кифы.

Первая селекция неработоспособных, как они это называли, со-

стоялась еще до нашего возвращения (моя мама была среди увезенных), поэтому большинство уже более или менее догадывалось, что их ждет, когда власти объявили о новом транспорте. Догадывалось, понимало... и гнало от себя эту мысль. По всему городу были расклеены извещения, и кроме того, каждая семья получила аккуратно отпечатанную повестку о том, что в воскресенье рано утром все должны явиться на сборный пункт. Эту повестку нам принес Ареле, сын почтальона. Интересно, кто принес повестку самому Ареле?

Троицкая площадь была оцеплена, на крыльце дома, где когда-то помещалась наша академия, стоял, в мундире с черным бархатным воротником и такими же обшлагами, расставив ноги в сверкающих сапогах, начальник эйнзац-команды, рядом с ним стоял наш новоиспеченный бургомистр, а на площади, окруженные солдатами и собаками, сгрудились, дрожа от утреннего холода и переминаясь с ноги на ногу, наши хасиды, бывшие коммерсанты, сапожники, шапошники, портные, коммивояжеры, толкователи Талмуда и мидрашей и толкователи уже имеющихся толкований; стояли все, кто еще был жив и кто был мертв, но делал вид, что живет, — словом, жалкая толпа, оборванцы с мешками и чемоданами. Начальник объявил порядок транспортировки: после проверки по спискам все должны организованно сесть в грузовики. И чтоб никакой толчеи: места хватит всем. Крытые брезентом фургоны выстроились на проспекте Пилсудского. В Коломые ожидал товарный состав; говорили, что нас повезут в Бельзец; думаю, этот поезд был предназначен не только для нас, ибо к этому времени население гетто в нашем городе уже изрядно сократилось.

Мы стояли в толпе — я, мой отец, мадам Адела и муж Аделы дядя Юлиан, похожий на Иова после набега савеев и халдеев: без верблюдов, без ослиц, без американского паспорта, без жемчужной булавки в галстук и без самого галстука. Потому что всему свое время, и время всякой вещи под небом, время богатеть и время сидеть на пепелище, и, как сказал Козлет, день смерти лучше дня рождения. Теперь это был большой, заросший грязно-седой щетиной старик с отвисшей кожей, с провалившимися глазами, в рубище и опорках вместо лакированных туфель, и только фарфоровые зубы напоминали о прежнем дяде Юлиане, каким он предстал перед нами тогда, в доме сотника Корнилия в самарийской деревне.

Бургомистр, многие знали его, — он погиб потом отвратительной смертью, кто-то ночью, когда он вышел из дому по нужде, утопил его в выгребной яме, — приготовился зачитывать списки. Как

вдруг в толпе произошло движение, все стали оборачиваться назад, залаяли овчарки. Невозможно было ничего разглядеть из-за голов. Бургомистр что-то объяснял офицеру. Тот сделал знак рукой, толпа подалась, и я, наконец, увидел, все увидели: по тротуару, мимо солдат, крупным шагом огибая площадь, в развевающейся одежде, с крестом в руке, красный и потный, шествовал наш православный протонерей отец Петр Кифа. Вослед отцу Петру, едва поспевая за ним, с насмерть перепуганным видом семенил дьякон.

На площади воцарилась тишина, начальник команды, наклонив голову набок, с любопытством созерцал это явление, потом поманил пальцем солдата. Тот проворно подбежал, присел на корточки и наставил на отца Петра свою лейку. Отец Петр остановился, шумно вздохнул, поднял крест, горевший на солнце, и неожиданно, размашистым жестом благословил толпу, где, уверяю тебя, не было ни одного христианина.

Кто-то спросил: "Это так надо?"

И еще кто-то: "Спасибо, это нам пригодится".

И какой-то смешок пробежал по толпе.

Офицера театральный жест отца Петра тоже рассмешил, он сложил руки на груди и сказал: "А ну-ка, подойди сюда", — и бургомистр повторил его слова по-украински.

Дьякон ступевался где-то сзади, все глаза были устремлены на отца Петра, который приблизился к крыльцу и, тяжело дыша, с мрачным и грозным вдохновенным вымолвил:

"Остановись!"

"Что он сказал?" — спросил начальник.

"Он просит сделать остановку", — перевел бургомистр, с трудом подбирая слова.

"Ясно, — сказал офицер. — Теперь можешь идти".

"Остановись! Пока не поздно! — загремел отец Петр Кифа. — Все умирать будем! О душе вспомни! Это люди! Такие же, как ты... Будь милосерден! Что они тебе сделали? Именем господя нашего — умоляю! — именем Иисуса Христа! Заклинаю! Не делай этого!.."

Бургомистр что-то лепетал, очевидно, пытаясь перевести эту речь, но начальник эйзац-команды небрежно отстранил его и сделал знак подчиненным. Огромного Петра схватили под руки, и тут произошло нечто ужасное. Глаза у отца Петра вылезли из орбит, толстая шея налилась кровью, одним движением он стряхнул с себя солдат, размахнулся и хватил первого подвернувшегося под руку тяжелым крестом в висок, тот повалился... все это было делом одной се-

кунды.

"Изверг! — хрипло выдал он из себя. — Пес смрадный... Сатана!" Выстрел прервал его слова. Отец Петр открыл рот, как будто внезапно забыл, что он хотел сказать, последнее и самое главное, — и грохнулся наземь.

"Na also", — проговорил офицер, с какой-то нарочитой медлительностью засовывая пистолет в кобуру, и эта смерть была последней в цепи событий, который я еще кое-как в состоянии изложить по порядку. Дальше начинается путаница, образы теснятся в памяти, но я не в силах придать им сколько-нибудь убедительную последовательность. Должно быть, сразу же после страшного эпизода с отцом Петром началась посадка в фургоны, люди бросились в узкую горловину улицы, к машинам, в страхе и отчаянии лезли вперед, карабкались по лесенкам, приставленным к задним бортам грузовиков, расталкивали и давили друг друга, и тут же в толпе, у колес, бородастые хасиды с прыгающими колечками пейс из-под шапок, схватившись друг за друга, плясали и пели "Кол-Нидре".

В давке я потерял дядю Юлиана и Аделу, но, кажется, еще до того, как толпа вынесла нас с площади на проспект Пилсудского, в короткий миг молчания и замешательства, последовавший за кончиной Петра Кифы, раздался возглас, почти вопль, плачущий и ликующий: "Ага-а-а! что я говорил?.."

Люди бежали по площади, не обращая внимания на моего отца, который стоял, воздев руки, с развевающимися волосами и безумным взглядом.

"Я был прав! — вопил он. — Теперь сами видите!.. А что я вам говорил?.. Никакой он не Спаситель! Разве он заступился?.. Сами видите! Он шарлатан! Обманщик! Никого он не спас и никого не спасет..."

И еще что-то в этом роде. Ветер трепал его волосы и одежду, вместе с бегущими по площади неслись клочки бумаги, из раскрытого чемодана, лежавшего на земле, летела одежда, меня сбили с ног, когда я поднялся, отца уже не было. Я громко плакал и искал его в толпе, и окончательно утратил смысл и связь событий. Мой отец кричал, что он был прав. Что он хотел этим сказать? Что в споре с апостолом он победил?.. В его восклицаниях звучало сумасшедшее торжество, почти злорадство. Но какое это имело значение теперь, когда весь мир рушился? Никому не было до него дела, никто даже не остановился, лай овчарок и автоматные очереди заглушили слова моего отца, люди бежали к машинам, и в конце концов, — другого

объяснения тому, что он внезапно пропал, я не могу найти, — в конце концов и он поспешил вместе со всеми и смешался с толпой.

И все же я думаю, я почти уверен, что его удивительная способность совершать невероятное проявила себя напоследок еще раз: иначе невозможно объяснить, как это так случилось, что в машинах не хватило мест. Все мы числились в списках, ни одна живая душа не была забыта, и тем не менее нас оказалось слишком много, как будто во время паники в толпу затесались лишние люди. Не помогли ни брань и понукание солдат, ни отчаянные крики женщин, которых били прикладами автоматов и заталкивали в переполненные недра смертных фургонов. Когда вереница машин, наконец, двинулась по проспекту Пилсудского к Сходу, несколько десятков человек остались стоять на мостовой. Я думал, что нас просто расстреляют. Но раздалась команда идти. Те, у кого еще осталось что-то в руках, взвалили свой скарб на плечи, дети уцепились за взрослых, и все вместе двинулись из города за палящей колонной грузовиков.

Пыльный смерч встретил нас при выходе из местечка. Небо заволжлось оранжевой мглой, острые песчинки били в лицо, впереди мутной тенью колыхался задник последнего фургона. Я оглянулся — в клубах пыли солдаты брели вслед за нами, отворачиваясь от порывов ветра и прижимая к себе свое оружие. Несколько времени спустя грузовик остановился; очевидно, мы сбились с дороги, видно было, как из-под задних колес тяжелого фургона летели струи песка, он буксовал и как будто погружался в пучину пыли и праха. Мы потеряли его из виду. Обнявшись, мы старались укрыться, спрятать лицо от летящего песка. Изредка я открывал глаза: мутный вихрь завивался столбом вдали, чтобы снова обрушиться на нас, вокруг, сколько хватало зрения, струились серые барханы, на желтом небе просвечивало тусклое солнце. Это был Египет. Выждав, мы двинулись дальше. Боясь потеряться, мы крепко держались за руки. И это было последнее, настоящее и единственное чудо, которое сотворил мой отец, — то, что мы заблудились, и то, что мы выбрались, потеряли конвой, отстали от близких и лишились всего на свете, но не потеряли друг друга — я и Адела, твоя будущая бабка.

1990

## ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРЕМИЯ 1991 ГОДА

*Центральным литературным событием происходящей каждые два года в Израиле международной книжной ярмарки является присуждение "Иерусалимской премии" выдающимся представителям зарубежной литературы. В прошлые годы лауреатами этой награды были такие крупнейшие писатели современности, как Хорхе Луис Борхес, Чеслав Милош, Милан Кундера и другие. В нынешнем году "Иерусалимская премия" была присуждена польскому поэту Збигневу Герберту. Представляем читателям нового лауреата.*

-----  
Збигнев Герберт

### ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА

— Это действительно необходимо? — спрашивает Эвридика.

Гермес усмехается и молчит. Они идут. Темнота неохотно расступается перед ними и сразу же смыкается вновь. Воротам нет конца.

— Это действительно необходимо? — спрашивает Эвридика. Орфей постарел, говорит она. Я все равно не проживу с ним долго. Я забыла, из каких трав готовят отвар, которым он лечит свое охрипшее от песен горло. И что значит подниматься по утрам, и чего хочет мужчина, который касается моего лона.

— Все можно припомнить, — не очень уверенно успокаивает ее Гермес.

— Ты меня утешаешь, — говорит Эвридика.

Дорога идет под гору. Это даже не дорога, а просто тропа среди послушно расступающихся скал, камень пахнет, точно увядшая молния, а мелкая галька под ногами насмерть забыла, что такое море.

— Он нас видит? — тревожно спрашивает Эвридика.

Гермес отрицательно качает головой.

— Но я вижу его спину. Когда я была еще жива, меня всегда

трогала мужская спина. Она такая беззащитная. А теперь я уже этого не ощущаю. Ощущать? Что это такое — ощущать?

— Это радость прикосновения. Простейшая разновидность экстаза, — отвечает Гермес.

— Мне уже нечем касаться, — жалуется Эвридика. — Я даже пылинку не смогла бы вынуть из глаза возлюбленного, не то что иголку.

Еще поворот, и начинается круча. Темнота здесь идет как бы наискось, нависая над другой, еще более глубокой темнотой.

— Эвридика, — тихо говорит Гермес, — я выдам тебе тайну богов. Орфей скоро погибнет при подозрительных обстоятельствах. Ты станешь свободной. Найдешь себе здорового парня, с мышцами, как корни дуба, парня без особого полета, но достаточно разумного, чтобы не стремиться к недостижимому. Ты даже представить себе не можешь, какое это наслаждение после гениального недотепы.

— Я уверена, — торопливо говорит Эвридика, — что мои родственники скорее побьют меня камнями, чем разрешат вторично выйти замуж. Я для них что-то вроде ходячей рекламы поэзии. Этакая вдова национального значения. Они посадят меня на скалу, чтобы я вещала оттуда вдохновенные пророчества, или закроют в каком-нибудь храме, что ничем не лучше. А потом я умру вторично. Как это умирают вторично, Гермес? Наверно, это все же не так серьезно, как в первый раз, да?

Орфей слышит ее слова сквозь глухую тьму. Мудрость Эвридики для него неожиданна. Она его удивляет. Неужели нужно умереть, чтобы стать взрослой?

Перед ним простирается базальтовый пейзаж, нерушимый, как око вулкана, исполненный мертвого достоинства, как сожженный лес, изнанка тяжелой материи, опаленная небытием синева ночи.

Воспевал я рассветы, коронацию солнца,  
Яркую пляску красок с утра до вечера,  
А о тебе забыл, вековечная ночь.

Внезапно Орфей оборачивается к теням Эвридики и Гермеса и восторженно выкрикивает одно только слово:

— Нашел!

Тени исчезают. Орфей выходит на новую тропу своей поэзии, которая называется темной.

## ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

### ПОЛЯКИ И ЕВРЕИ

*Президенту Валенсе посвящается*

#### ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ:

— Каково было отношение евреев к польскому государству в прошлом — отождествляли они себя с ним или рассматривали всего лишь как место очередного временного пребывания?

— Я полагаю, что евреи никогда не отождествляли себя с польским государством, во всяком случае — во времена, предшествовавшие разделам Польши. Евреи всегда мечтали о Святой земле, о Иерусалиме. Только там могло возникнуть их настоящее государство. И хотя свое пребывание в Польше они рассматривали как более или менее постоянное, идеологически они не были связаны с польским государством. У еврейства была иная общественная структура. Оно как бы "пристраивалось сбоку" к польскому обществу, но не могло войти в него как органическая составная часть.

— Но вот ведь Берек Иоселевич создал еврейский отряд, который сражался на стороне повстанцев Костюшко!

— Тем не менее евреи как целое не принимали активного участия в этом восстании. Иоселевич был единичным исключением. Разумеется, я всецело симпатизирую Костюшко и не исключаю, что многие евреи того времени тоже питали такие чувства, но идеологически, с точки зрения своего коллективного сознания, они были далеки от этого восстания. Они не связывали с ним исполнения своих надежд. Евреи впервые начали требовать равных прав, когда в их среде возникли социалистические и либерально-демократические движения вроде Бунда или автономистов школы Дубнова-Житловского. Именно тогда впервые появились утверждения, что в рамках социалистического или либерально-демократического государства евреи смогут получить культурную автономию. Эта концепция несколько похожа на то, что позднее произошло с массами еврейских иммигрантов в США. Но все это были попытки решения еврейского вопроса путем инкорпорации евреев в окружающее общество. В первом польском государстве таких тенденций не было, и хотя на переломе восемнадца-

того-девятнадцатого веков в кругах зажиточной буржуазии наметились определенные ассимиляторские тенденции, они захватывали считанное число евреев.

— Означает ли это, что евреям была безразлична судьба польского государства?

— Мне представляется, что в последние десятилетия существования прежней Речи Посполитой появились определенные еврейские круги, которых волновала ситуация в Польше, — но лишь постольку, поскольку эта ситуация становилась все более неустойчивой. Всякое общество, утратившее стабильность, ищет путей возвращения к ней. Для евреев же, испытывавших все тяготы галутной жизни, утрата уверенности в завтрашнем дне была и вовсе невыносимой. Поэтому я думаю, что сразу после раздела Польши евреи восточных областей искали контактов с бюрократией Екатерины Второй (как, впрочем, и со шляхтой). Аналогично в центральных областях они искали контактов с прусскими властями. И это понятно: еврейство как целое не имело особых причин для локального, польского патриотизма. Непременным атрибутом всякого локального патриотизма является связь с данным конкретным государством, вера, что оно осуществит общественные стремления данной группы или человека. Но у евреев уже существовала идея своего собственного государства. Они сохраняли ее чуть не со времен разрушения Второго храма. Однако, поскольку они до поры до времени находились в галуте, они вынуждены были искать защиты у местных властей, ибо только те могли обеспечить им хотя бы минимальную возможность сохранения еврейского образа жизни. Вот почему евреи всегда были лояльны к местной власти.

— Почему же евреи связали свои надежды с российским, а не с польским государством?

— Как я уже сказал, этому способствовало отсутствие стабильности в Польше. По той же причине евреи настороженно отнеслись и к сменявшимся друг друга польским режимам 1918-20 годов. Они опасались, что возникавшее на их глазах новое польское государство, подобно старому, не сумеет гарантировать спокойствие и порядок.

— Вы говорите, что евреев интересовало прежде всего отношение властей. Разве они не интересовались отношением к ним окружающего большинства?

— Думаю, что евреи интересовались этим куда меньше, если только враждебное отношение большинства не имело прямого влияния на их юридическое положение или экономические права. Еврейство галута никогда не искало любви народов, среди которых проживало. Враждебность между этническими или религиозными группами существовала всегда и повсюду, почему бы евреям должны были составлять исключение? Разумеется, антисемитские эксцессы страшили и вселяли тревогу, но просто враждебное отношение, пока оно не выливалось в погромы, еще не давало

поводов для беспокойства.

— Иными словами, еврейская община жила своей жизнью, не поддаваясь внешним влияниям и не взаимодействуя с внешним окружением?

— В целом так оно и было. Этическая и правовая структура общины, а также ее общественные учреждения базировались на Торе и Талмуде и развивались вполне автономно. Взаимодействие с окружением существовало лишь в форме культурных влияний. Евреи заимствовали определенные черты окружающей культуры. Именно поэтому польские евреи отличались, скажем, от итальянских, турецких или немецких. Это не было, однако, культурной ассимиляцией. Происходило, скорее, постепенное усвоение тех сторон культуры, которые помогали облегчить еврейскую ситуацию.

— Благодарю вас за разъяснения, пан профессор.

*Из беседы Я. Гаворского (журнал "Вензь")  
с профессором еврейской истории университета  
имени Бен-Гуриона Артуром Цигельманом.*

## ПОЛЯКИ И ЕВРЕИ

Одним из главных пунктов, на которых концентрировалась польская антитоталитарная мысль, начиная с 1956 года, были размышления над своей национальной историей. В этих размышлениях зияет, однако, существенный пробел: почти никто не обращался к проблеме польско-еврейских отношений, в частности — времен второй мировой войны. В польском общественном мнении царит убеждение, что эта проблема давно и окончательно выяснена. Но как обстоит дело в действительности?

Известный эссеист и общественный деятель Ян Иозеф Липский принадлежит к числу тех, кто интересовался проблемой польско-еврейских отношений многие годы. Его никак нельзя назвать ксенофобом, он внес важный вклад в понимание отношений поляков к другим народам. Но на тему отношений поляков и евреев Липский говорит:

"Наша совесть была бы нечиста, если бы мы не задали себе вопрос: сделали ли мы для евреев все, что возможно? Отдавая должное повстанцам гетто, а также его уничтоженным невинным обитателям, мы обязаны отдать должное и тем полякам, которые отдали жизнь ради спасения евреев. Таких героев было достаточно много. Но очень много было и равнодушия. Пусть смешанного со страхом, но все же равнодушия. Не слишком ли много? Как, однако, требовать героизма от миллионов простых людей? Поэтому было бы ошибкой обвинять поляков в сотрудничестве с немцами в уничтожении евреев. Верно, были отдельные случаи такого сотрудничества. Но преступники и вырождаки существуют в любом обществе, а их жертвой в Польше пали ведь не только евреи, но и герои польского

сопротивления. Поэтому любые обобщения на этот счет следует отвергнуть, как несправедливые по отношению к польскому народу в целом. Антиполонизм ничем не лучше антисемитизма."

В этом высказывании обращает на себя внимание попытка Липского установить симметрию и равенство. Сначала он говорит, что среди поляков было очень много равнодушных, но тут же уравнивает это утверждением, что среди них было столько же героев. Далее он заявляет, что некоторые поляки ("преступники и выродки") участвовали в уничтожении евреев, но тут же уравнивает это утверждением, что они уничтожали и польских патриотов. А кроме того евреи тоже не без вины, ибо именно они склонны к "обобщениям на этот счет".

На главный свой вопрос: сделали ли поляки для евреев все, что возможно? — Липский так и не дает ответа. Он лишь намекает, что нельзя требовать героизма от рядового человека. Он готов даже признать, что значительная часть поляков была равнодушна к судьбе евреев. Но что означало равнодушие в годы Катастрофы? Сопоставляя периферийные явления: ничтожную кучку "преступников" со столь же ничтожной кучкой "героев" — Липский, по существу, уходит от главного — поведения основной части польского общества.

Впрочем, автор этим не ограничивается. Он выдвигает аргумент, который стал уже расхожим при анализе этой болезненной проблемы: "Я знаю людей, схваченных с оружием в руках и выживших в нацистских лагерях, но я не знаю ни одного, кто выжил бы, схваченный при попытке спасения еврея. Боец подполья знал, что в случае ареста он рискует собственной жизнью, может быть — жизнью жены, но хоть дети его останутся целы. Тот, кто укрывал еврея, не мог рассчитывать и на это."

Верно, во времена оккупации за укрывательство евреев грозила смертная казнь. Расстреливали всю семью целиком. Не удивительно, что большинство поляков отказывались от такого укрывательства. Удивительно другое. Такая же кара грозила и за другие виды подпольной деятельности. Тем не менее огромное число поляков ими занималось — несмотря на опасность. Верно, за укрывательство евреев расстреливали всю семью. Но за участие в подполье тоже расстреливали почти всю семью. Можно понять многодетных родителей — они отказывались от укрывательства евреев, чтобы сохранить детей. А бездетные, а молодые? Может, хотя бы они участвовали в спасении евреев с тем же пылом, что в подпольной деятельности? Ничего подобного. Участие этих поляков в патриотическом подполье было явлением несравненно более частым — при всей его опасности, — чем их участие в спасении польских евреев.

Рассуждение о том, чем грозило поляку укрывательство еврея в сравнении с участием в подполье, имеет свою внутреннюю динамику. Она постепенно переводит мысль в плоскость подсчета относительной цены того или иного поступка. И тогда уже становится возможным написать, как

Андрей Щипьорский: "Кто дал беженцу из гетто моральное право во имя сохранения собственной жизни подвергать смертельной опасности жизнь целой польской семьи?" Правда, дальше Щипьорский признает, что такая постановка вопроса "переворачивает с ног на голову всю моральную проблематику европейской культуры", но от этой оговорки не легче. Ибо, оставаясь в плоскости подсчета "цены", вполне оправданно будет ответить еврею, ищущему спасения: "Иди прочь, я не хочу рисковать жизнью своего семейства." Такой ответ не ставит под сомнение право еврея на жизнь. Он не исключает даже симпатии к этому еврею. Более того — в судьбе этого еврея виноват ведь даже не сам поляк, а те, кто поставил евреев в подобную ситуацию, кто их преследует и хочет уничтожить. Тем не менее, оспаривая право еврея постучаться в нашу дверь и предъявляя претензии ему самому ("какое право он имеет?"), мы, по существу, объявляем его самого виновным в том, что он ставит нас под угрозу. Иными словами, мы в действительности уже забываем о нацистах: причиной опасности становится сам еврей. Как и всегда, впрочем. Разве что сейчас опасность больше, но во время войны все опасности больше. Фактически, Щипьорский признает, что многие поляки испытывали ненависть к евреям за то, что те осмеливались просить помощи.

Может показаться, что я занимаюсь абстрактными рассуждениями, не имеющими ничего общего с оккупационной действительностью. Но если всерьез принять рассуждения Липского и Щипьорского, то неизбежен вопрос: признались ли поляки как целое, что не помогали евреям во время войны, потому что боялись за свою жизнь? Щипьорский пытается нас уверить, что им было мучительно стыдно: "Когда же такой еврей уходил, поляк всю ночь метался на постели, ведя спор с собственной совестью, своим народом, человечеством и Богом — спор такой глубины и мучительности, что его мог бы описать разве что Достоевский." Смею думать, что это описание не находит подтверждения в свидетельствах эпохи. Если бы эти поляки действительно вели "достоевские споры" со своей совестью, то после войны мы стали бы свидетелями массового покаяния польского народа. Как известно, ничего такого не произошло. Формулировка: "Поляки не помогали евреям, потому что боялись" — появилась только в ответ на обвинения. Поляки не умеют и не хотят говорить о том, что произошло между ними и евреями в годы войны. А если их заставляют высказаться на этот счет, они отвечают как Щипьорский ("какое он имел право подвергать опасности меня и мою семью?") или как Липский ("за что меня [нас] непрерывно бьют по морде?!" — имеются в виду все те же "еврейские обобщения"). Эта реакция напоминает, скорее, оправдание, чем объяснение.

Таким образом, стереотипное описание польско-еврейских отношений в годы войны сводится к формулам "здорового смысла": речь идет только о "цене" того или иного поведения и о привычном распределении мораль-

ных ценностей — в любой группе есть свои герои и свои мерзавцы. Нестандартность ситуации совершенно игнорируется. Причины того или иного поведения поляков по отношению к евреям оказываются банальными и очевидными. Такой подход не позволяет ответить на вопрос, почему выжившие евреи питают такое сильное чувство обиды против поляков, а поляки так неохотно и болезненно воспринимают разговоры на эту тему. Вопрос этот, если попытаться на него ответить честно, ведет к предположению, что дело обстояло совсем не так, как описывают Липский или Щипьорский, и связь между явлениями была прямо противоположной: именно потому, что поляки в принципе не готовы были помогать евреям, немцы и сумели эффективно использовать угрозу смерти в наказание за такую помощь.

Сформулируем наш тезис впрямую: во время второй мировой войны огромное большинство поляков испытывало враждебные чувства к евреям. Этот тезис может быть подкреплен огромным и вполне доступным фактическим материалом. Вспомним, что во время оккупации поляки сохранили одну из важнейших свобод — свободу печати. В подполье выходило до двух тысяч независимых изданий, и их материалы дают широкий срез и отражение подлинных настроений в обществе. Так вот, чтение этих материалов не оставляет никаких сомнений в антисемитских настроениях польского большинства.

Высказывания конспиративных газет националистического направления вызывают попросту ужас. Вот, например, передовая газеты "Слово правды" от 30 октября 1943 года: "Каждый поляк должен знать, что означали для нас евреи и что они еще могут означать. Евреи обсели Польшу, как зараза. Из четырнадцати миллионов евреев мира больше четверти питалось польской кровью и жирело на польских бедах. Испытывали ли они хотя бы благодарность? Ничего подобного. В каждой войне, в каждом восстании они брали сторону противника или сильнейшего. Немцы не уничтожили всех евреев: погубило только 2 миллиона 275 тысяч, скрывается около 550 тысяч, в Россию эмигрировало около 525 тысяч. Этот миллион евреев, преимущественно молодых, еще может выйти из своих убежищ и вернуться вместе с советской армией. Евреи появятся в самый критический момент, неся с собой месть и пытаясь лишить нас плодов победы с помощью своего влияния на западе и на востоке. Но мы уже поумнели и знаем теперь, что еврей — это наш враг. На мирной конференции мы обязаны требовать, чтобы евреи перестали быть польскими гражданами. С еврейской проблемой в Польше должно быть покончено."

Центристская пресса несколько более спокойна по тону. 17 декабря 1942 года газета "Польша" писала: "Гитлеровская печать и пропаганда называют евреев преступниками против человечества, выдвигают против них много справедливых обвинений, решительно осуждают их как деморализаторов и растлителей молодого поколения, как дельцов от порно-

графии и торговцев живым товаром, как подстрекателей беспорядка. Сейчас эти еврейские манеры переняли фольксдейчи. Они столь же циничны, жестоки и безоглядны, так же разлагают наш народ, увлакивают наших безработных девушек в пещеры, они ничем не отличаются от евреев. Ни один честный поляк не может принимать участие в этих грязных делах, это "привилегия" избранного народа."

Другая публикация тех же кругов гласит: "Сейчас на территорию России вторгаются евреи. Они быстро поняли, что им представился редкий шанс. Россия для них — это самый подходящий плацдарм для давно задуманной кровавой расправы с христианским Западом. Иудаизм начал влиять на облик большевистской России, и хотя Польша отвергла эту систему, опасность от этого не исчезла, потому что источник заразы все еще таится под боком."

Разумеется, как и всякие цитаты, эти тоже дают лишь частичную картину. Есть, однако, и более представительные источники. Весной 1940 года в Лондон прибыл представитель подпольных организаций Ян Карский. Среди прочего он доложил, что немцам удалось найти некую сферу взаимопонимания "со значительной частью польского населения", а именно — еврейский вопрос. Свидетельство Карского было настолько неприятно для генерала Сикорского, что, передавая его союзникам, генерал счел необходимым его сфальсифицировать. Карский докладывал, что нацистская политика изоляции и экспроприации еврейства вызвала широкое одобрение среди поляков. Несколько позже другой посланник лондонского правительства докладывал то же самое: "Методы бесчеловечного террора по отношению к евреям вызывают всеобщее осуждение, но изоляция, а в особенности — экспроприация евреев вызывают столь же всеобщее одобрение.". Осенью 1941 года, уже после первых акций массового уничтожения евреев, генерал Грот-Ровецкий, руководитель Армии Крайовой, сообщал в Лондон: "Проеврейские симпатии, выражаемые в заявлениях членов лондонского правительства, производят крайне неблагоприятное впечатление в стране и весьма способствуют успеху нацистской пропаганды. Прошу принять во внимание, что подавляющая часть населения страны настроена антисемитски. Даже социалисты не составляют в этом исключения, отличие только в тактике. Необходимость эмиграции как способа решения еврейского вопроса так же очевидна для всех, как необходимость изгнания немцев. Антисемитизм стал широко распространенным явлением."

Явление это не исчезло и в последующие годы, когда началось планомерное уничтожение еврейства. В июне 1944 года, накануне Варшавского восстания, когда большинство польских евреев было уже истреблено, очередной лондонский эмиссар Кельт в своем отчете о поездке в Польшу докладывал: "Согласно мнению на местах, лондонское правительство перебарщивает в выражении своих симпатий к евреям. Учитывая, что в стране

евреев не любят, высказывания членов правительства воспринимаются как слишком филосемитские."

На практике это означало, что большинство поляков, не одобряя, быть может, ликвидацию евреев, приветствовало их изоляцию. И если кто-то из них пытался укрыть беженца из гетто, главная опасность грозила такому смельчаку от его же польских соседей. Именно это было неустраняемой и вездесущей угрозой. Подпольщик, как правило, мог рассчитывать на помощь соотечественников, ее оказывали с готовностью и даже гордостью, но те, кто помогал евреям, не имел не только широкой — никакой поддержки. Помощь евреям именно потому требовала такого героизма, что подавляющая часть поляков по собственной воле такую помощь осуждало и выслеживало. Если бы дело обстояло наоборот, укрывательство евреев не было бы сопряжено с таким риском. На фоне этой массовой враждебности смельчаки, помогавшие евреям, оказывались в ничтожном меньшинстве. А против меньшинства, изолированного в собственном обществе, куда легче применять жестокие репрессии, чем против меньшинства, поддерживаемого большинством населения.

Стало быть, польско-еврейские отношения военных времен определялись не одной только боязнью наказания, которым угрожали оккупанты. Свою роль сыграли и антисемитские взгляды большинства, и его практическое поведение, которое вело к изоляции тех немногих, кто в этих условиях все же брался помогать евреям. Но есть и еще одна причина, по которой поляки неохотно говорят об этой проблеме: она не отвечает тому толкованию своей истории, к которому они стремятся. Поляки любят говорить о нераздельности свободы. Это им принадлежит лозунг: "За нашу — и вашу — свободу!" Это Адам Мицкевич провозглашал, что "борьба за Польшу идет везде, где в Европе угнетается свобода". Как согласовать этот тезис о "братстве мучеников" с отношением к евреям в годы войны?!

Размышляя над своей историей, поляки всегда утверждали, что прав угнетенный, а не угнетатель, поработенный, а не поработитель, слабый, а не сильный. Но в пылу борьбы за свободу нации в целом создатели независимой Польши ухитрились упустить из виду защиту прав национальных меньшинств. Так патриотизм оказался вполне совместимым с ксенофобией. Уклонение от честного взгляда на историю польско-еврейских отношений только способствует этому гибельному союзу.

*Из статьи профессора социологии Яна Гросса  
(Журнал "Анекс")*

#### КАТАСТРОФА ПО КЛОДУ ЛАНЦМАНУ (1):

"Шоа" — это фильм о памяти. Память порой бывает сбивчива. "Шоа" тоже. Не так, однако, как "Родина" режиссера Рейца. Рейц позволяет нем-

цам забыть. Ланцман заставляет всех припомнить. Он требует, просит, умоляет, а если нужно — вынуждает вспомнить самые мельчайшие детали, связанные с лагерями уничтожения. "Можете ли вы подробно описать этот туннель? — спрашивает он офицера СС из Треблинки. — Как он выглядел? Какой ширины? Как в нем чувствовали себя люди?"

По мере того, как разворачивается фильм, становится очевидно, что Ланцман ищет не просто правды, но — исторической правды. Он развивает свою концепцию исторических причин Катастрофы. Его концепция во многом совпадает с мнением профессора Рауля Хильберга, автора книги "Уничтожение европейских евреев" и главного эксперта-историка в "Шоа". "Катастрофа, — говорит Хильберг, — была логически неизбежной, потому что христиане с самого начала говорили евреям: "Вам не положено жить среди нас, оставаясь евреями". Позднее средневековые светские правители сократили этот тезис до: "Вам не положено жить среди нас" — а немцы сделали следующий шаг и провозгласили: "Вам не положено жить". Этот приход к "окончательному решению" представлял собой, по Хильбергу, "серию маленьких, логически вытекавших друг из друга решений", в ходе которых "чиновники изобрели бюрократический способ уничтожения". Этот тезис "Шоа" иллюстрирует подробно и с прецизионной точностью.

Но Ланцман выступает как историк и тогда, когда высказывается о поляках. "Мне кажется, что я показал настоящую Польшу", — говорит он. В таком случае справедливо будет спросить, не упустил ли он чего-то существенного. Нелепо спрашивать Леонардо, почему он "упустил из виду" ноги Моны Лизы. Но портрет историка не может быть только "ясным".

Я готов согласиться, что польская часть фильма второстепенна. Поляки не были ни палачами, ни главными жертвами лагерей уничтожения, а именно эти лагеря являются главной темой "Шоа". Они были (всего лишь?) машинистами и стрелочниками, крестьянами, пахавшими рядом с лагерной проволокой, местным населением, которое укрывало или выдавало евреев. Ланцмана, однако, этот польский фон необычайно интересует. Это тоже можно понять. Проблема польско-еврейских отношений, возможно, не так уж важна сегодня для самих евреев (возможно!), но она несомненно попрежнему важна для поляков, если они хотят понять себя и свое прошлое.

Но хотят ли они? Когда "Шоа" начали показывать в Париже, правительство тогдашней Польши направило протест французскому правительству. Позже фильм купили и начали показывать также в Польше. Поначалу было много глупых и вздорных отзывов, главным образом — людей, которые фильма не видели; потом появились оценки другого рода — интеллигентные и вдумчивые. Дело, однако, безнадежно запутывается тем обстоятельством, что антисемитизм был и остается в Польше пред-

метом политических спекуляций, демагогии и манипулирования. Так было во времена "антисемитского" погрома 1968 года, проведенного партией и службой безопасности; так было в 1980-82 годах, когда антисемитские голоса раздавались, в основном, из рядов "Солидарности". Кроме того у поляков есть еще один комплекс. Все они воспитаны в убеждении, что их народ является одной из жертв истории, невинной и чистой жертвой агрессивного национализма более сильных соседей. И вдруг они оказываются лицом к лицу с обвинениями евреев, которые ставят их чуть ли не на одну доску с Менгеле. Воспитанные в убеждении, что они жертвы, они внезапно слышат, что были палачами.

Известно, что такое национализм победителя. Но есть также национализм жертвы. Это одна из особенностей, которые роднят (роднила) евреев с поляками. Национализм жертвы отличается нежеланием признавать, что другие тоже страдали, и неспособностью понять, что и угнетатель может быть жертвой. В своих "Размышлениях о национализме" Орвелл пишет: "До той поры, пока человек сохраняет националистическую лояльность или ненависть, некоторые факты, даже заведомо правдивые, для него попросту не существуют." В этом смысле польский националист никогда не признает, что во время войны в Польше существовал распространенный и резкий антисемитизм, тогда как еврейский националист ни за что не признает, что во время войны полякам было хуже, чем всем другим оккупированным народам (не считая евреев). Между тем для стороннего наблюдателя оба эти утверждения одинаково объективны. Оба они не предполагают, разумеется, никакой экзистенциальной симметрии или морального равенства; но не принимая их во внимание, нельзя даже поставить какой-либо серьезный вопрос, вроде: существует ли связь между польским антисемитизмом военных времен и тем фактом, что лагеря уничтожения были расположены в Польше?

Что показывает нам Ланцман? Прежде всего — долгие разговоры в польских деревнях и хуторах, находившихся вблизи лагерей уничтожения. В ходе этих разговоров польские крестьяне описывают, как они реагировали тогда и что думают об этом сейчас. Вот крестьянин с улыбкой рассказывает, как он шел вдоль вагонов и проводил ладонью по шее, чтобы показать евреям, что их ждет в лагере. Заграничные евреи приезжали в спальных вагонах, говорит он, шикарно одетые, в белых рубашках, играли в карты. Такие толстые были эти заграничные евреи, говорят его друзья, а мы им показывали пальцами, что их везут на убой. Крестьяне улыбаются в камеру. Но тот же крестьянин говорит: "Когда люди начали понимать, что происходит, им стало страшно и между собой они говорили, что от сотворения мира никто еще не убивал людей таким образом." И еще они боялись за себя. А за евреев? — спрашивает Ланцман. Так ведь если я себе палец порежу, тебе ведь не болит, отвечает поляк.

Потом мы видим крестьян из Грабова, живущих в домах, которые ко-

гда-то принадлежали евреям. Они описывают, как евреев загнали в костел, а потом отправили в Хелмно. "Маленьких детей тоже бросали на грузовики. И стариков." — "А поляки знали, что в Хелмно их загазуют?" — спрашивает Ланцман. — Вот вы, например, знали?" — "Знал."

Затем появляются несколько старух. "Еврейки были очень красивые, — говорят они. — Поляки очень любили с ними развлекаться. С ума сошли по еврейкам." Почему они были такие красивые? "Потому что не работали. Польки — те работали. А еврейки только о красоте думали и о нарядах." "Потому что богатые были." "Вся Польша им принадлежала." "Все деньги были в их руках." И рядом группа мужчин. Как они относятся к тому, что в Польше уже нет евреев? "А нам это не мешает. Перед войной они все польские заводы заграбастали."

Затем самая жуткая сцена. Группа крестьян перед костелом в Хелмно. Праздник пресвятой девы Марии. Под звуки праздничного песнопения крестьяне описывают, как евреев загоняли в этот же костел, как они кричали, как прибывали грузовики-душегубки, как их убивали. "Почему именно евреев?" — "А потому что они были самые богатые. Но поляков тоже многих убивали. Даже ксендзов." Потом выступает мужчина. Он рассказывает то, что слышал от знакомого: "Евреев собрали на рынке. Раввин попросил у эсэсовца разрешения выступить. Раввин сказал, что две тысячи лет назад евреи убили Христа и сказали, что кровь его на них и их детях. Может, теперь настал час расплаты? Идите и не противьтесь ничему." А когда Ланцман выражает сомнение в подлинности этого фантастического рассказа, старичок кричит: "Вот даже Пилат умыл руки и сказал, что Христос невиновен. А евреи кричали, что его кровь на них и их детях. Что тут непонятного?"

Главный редактор ведущего польского католического еженедельника "Тыгодник повсехны" Ежи Турович, выступая в Оксфорде на обсуждении фильма, сказал, что Ланцман необъективен. Таких неграмотных, примитивных крестьян полно в любой стране. Многие поляки помогали евреям. В *Яд Вашем* находится свыше 1500 польских деревьев. Польский католицизм не имеет ничего общего с польским антисемитизмом, а польский антисемитизм не имел ничего общего с уничтожением евреев в годы второй мировой войны.

При всем уважении к господину Туровичу приходится сказать: этого недостаточно, этого попросту недостаточно. Такая реакция — это чистейший национализм в орвелловском смысле. Ланцман показывает живую, кровоточащую проблему и спрашивает: почему потребовалось сорок лет, чтобы вы ею занялись? А Турович отвечает: никакой проблемы нет вообще.

Но действительно ли Ланцман объективен? И да, и нет. Да, потому что все, что он показывает, — правда. Эти люди существуют. Они именно так говорят. Конечно, Ланцман их провоцирует. "Обогатились", — го-

ворит он о крестьянской семье, которая заняла еврейскую халупу. Ничего себе богачи! Ланцман, по всей видимости, растерян: он впервые столкнулся с живым христианским антисемитом, о котором раньше читал только в книгах. Но он не отрицает определенной человечности этих людей, их здравого смысла. Один крестьянин говорит, что евреи воняли. Почему? — спрашивает Ланцман, и мы уже ждем какого-то идеологизированного ответа. "Потому что они выделяли кожу, а кожа всегда воняет." Ланцман показывает нам их равнодушие, но он же показывает нам машиниста, который плачет, когда припоминает, как на его глазах расстреляли еврейскую мать с ребенком. Насколько же эти "примитивные" поляки более человечны, чем "цивилизованные" немцы, которые даже улыбнуться не смеют, говоря в камеру о лагерях уничтожения. Польский машинист, который водил поезда в Трехлинку, испытывает сочувствие к обреченным; немецкий чиновник Стир, возглавлявший руководство 33-мя железными дорогами; по которым шли "специальные поезда", попрежнему утверждает, что "ничего не знал" о месте их назначения — "ну, тот лагерь... как же он назывался?.. ах, да — Освенцим."

Фильм Ланцмана глубоко правдив — и все же он не вполне правдив. Он обходит стороной определенные аспекты польско-еврейских отношений. Он не упоминает о сотнях поляков, которые помогли евреям, — например, о тех пятистах, судьбы которых проследила в своей работе Нехама Тец. Впрочем, он не упоминает и о тех выродках, которые евреев выдавали. Под конец фильма Ланцман показывает свидетеля, который выбрался из Варшавского гетто и был поражен тем, что "жизнь в городе шла, как обычно: открыты были кафе, рестораны, ходили трамваи, даже кинотеатры работали." Но на той же дискуссии в Оксфорде Лешек Колаковский справедливо заметил, что Варшава тех лет могла показаться "нормальной" только тем, кто пришел из ада Варшавского гетто. Варшава тех лет была во власти террора. Не случайно Черчилль в те дни говорил: "В понедельник немцы расстреливают французов, во вторник — голландцев, в среду — норвежцев и так далее, но каждый день они расстреливают поляков."

Обо всем этом Ланцман молчит. И потому его фильм не является историческим свидетельством, как бы ни стремился к этому режиссер. Это призыв обсудить проблему. Увы, судя по всему, такое обсуждение грозит очередной раз свестись к бесплодному столкновению двух интеллектуальных национализмов двух жертв одной и той же страшной эпохи.

*Из статьи английского публициста Тимоти Гартона Аша  
в журнале "Нью-Йорк ревью оф букс"*

#### КАТАСТРОФА ПО КЛОДУ ЛАНЦМАНУ (2):

— Чем объяснить устойчивость антисемитизма в такой стране, как

Польша, где уже практически не осталось евреев?

— В этом и состоит сила антисемитизма — он не нуждается в наличии евреев. Поэтому его и нельзя выкорчевать: он не имеет ничего общего с реальным евреем. Следует учесть, что Польша — глубоко католическая страна. Поляки восприняли антисемитизм вместе с учением церкви. Это древний христианский антисемитизм, выросший из представления о "народе-Богоубийце". Именно отсюда берет свои корни польский антисемитизм. Вопреки всем декларациям новейших Ватиканских соборов, церковь остается глубоко антисемитской. И заявление папы Иоанна-Павла Второго о том, что "евреи не были верны Господу", вполне соответствует польскому происхождению этого папы.

В маленьких деревнях вокруг Хелмно евреи некогда составляли до 60% населения. Но вот однажды поляки увидели, как "их евреев" грузят на машины, отнимают у них все имущество и везут в газовые камеры. Поляки знали, что ждет этих евреев, но они отнеслись к этому, как к "каре Господней", как к чему-то естественному. Я не утверждаю, что они могли что-то предпринять. Мне достаточно того, что после уничтожения евреев они завладели еврейским имуществом и еврейскими домами.

— Как же они оправдывают это свое поведение?

— Они не смогли бы оправдать перед самими собой свое равнодушие или откровенное сотрудничество с нацистами, если бы не перенесли вину на евреев. Вот почему поляки продолжают ненавидеть евреев. Они говорят: "Если с евреями поступили так ужасно, значит они и в самом деле были очень плохие. Стало быть, они сами виноваты в том, что с ними произошло. А мы, поляки, ни в чем не виноваты." Я помню, как мой звукооператор рассказывал мне о дворце еврейского магната в Лодзи, Познанского, и закончил свой рассказ словами: "Хорошо, что евреев больше нет в Польше, не то тут был бы жуткий антисемитизм..." Он даже не вспомнил, что подавляющее большинство евреев Лодзи были бедняками. Им руководила перевернутая логика антисемита. Это та же логика, которая руководила кардиналом Глемпом, когда он заявил, что выступления евреев против кармелитского монастыря в Освенциме "опасны, так как они могут напомнить, что евреи делают в Палестине и в результате породить антисемитизм, которого сейчас нет в Польше."

— Как это понять?

— Это очень просто. Логика здесь очевидна: "Две тысячи лет назад евреи убили Христа. Стало быть они Богоубийцы, убийство у них в крови. В течение сорока лет после Катастрофы эти убийцы ухитрились выдавать себя за жертв. Но посмотрите, что они делают у себя в Израиле — они же опять убивают невинных людей! Выходит, вся Катастрофа в каком-то смысле была просто маскировкой. Мы все 40 лет ошибались!"

*Из интервью журналиста М.Злотовского ("Джерузалем пост") с французским режиссером Клодом Ланцманом*

### КАТАСТРОФА ПО КЛОДУ ЛАНЦМАНУ (3):

Одна из сцен "Шоа" изображает польского крестьянина, который пародирует картавого еврея, выкрикивая "Рарарара" и объясняя, что "так говорили между собой евреи" в составах, шедших в лагерь. Ланцман просит крестьянина повторить эту сцену, и тот с усмешкой ее воспроизводит. Зрители в парижском кинотеатре возмущены. Поведение крестьянина представляется им проявлением примитивного антисемитизма. Они готовы счесть этого поляка виновником уничтожения евреев. Газовая камера становится в их глазах прямым продолжением его юдофобства. Не так ведь уж трудно проследить логическую связь между передразниванием евреев и их истреблением в газовых печах.

Подобных сцен в фильме Ланцмана много. В одной из них житель Хелмно утверждает, что евреи понесли заслуженную кару за убийство Христа, в другой крестьянин говорит, что перед войной евреи были паразитами, потому что эксплуатировали поляков. Общей особенностью всех этих сцен является перенесение событий из одного контекста в другой, с ними совершенно не связанный. Ни один из этих польских антисемитов не имел ни малейшего намерения отправлять евреев в газовые камеры. Ланцман, однако, создает впечатление, что Катастрофа произошла именно по их вине.

Вполне возможно, что эти антисемиты охотно приняли бы участие в еврейском погроме. Парижский зритель предполагает это вместе с Ланцманом. Но и он, и они не понимают, что Катастрофа не была погромом. Она не была даже "тотальным погромом". Она качественно отличалась от всех погромов, изгнаний и других бед, пережитых евреями на протяжении двух тысячелетий. Все это было порождением антисемитизма. Но Катастрофа не была просто "апогеем" антисемитизма. Трактовка Катастрофы как "логического следствия" антисемитизма как раз и приводит к перенесению польского антисемитизма в чуждый ему контекст. Путаница дополнительно осложняется тем, что Катастрофа произошла как раз на польских землях.

Как же подойти к подлинному пониманию Катастрофы? В результате великих катаклизмов (разрушение Храма, погромы эпохи крестовых походов, изгнание из Испании) евреи выработали способы толкования таких событий, позволявшие ввести их в рамки того, что мы называем "смыслом истории". Все эти несчастья трактовались как этапы исторического пути, который представлял собой развертывание Господнего замысла при непременно участии человека. Но Катастрофа не уместается в рамках такого описания. Ведущие еврейские религиозные философы отказываются признать ее частью Божественного проекта. Что же тогда остается?

В своей книге "Зкор: еврейская история и еврейская память" Иосеф Хаим Иерушалми блестяще анализирует еврейское понимание истории.

Когда Синедрион в Явне около 100 года нашей эры включил в Библию книги пророка Самуила и Царств, "светская история народа стала частью Священного писания". Тем самым произошла некая сакрализация истории. Корни ее, однако, уходят намного глубже. История была и остается для евреев способом реализации Божьей воли с помощью человека. Бог заключил союз с людьми (или конкретно — с еврейским народом, а еще конкретней — с каждым евреем), и каждый еврей обязан помочь реализации Божьего замысла.

Сакрализация истории привела к тому, что ее события сначала интерпретировались, а уж потом записывались. Иными словами, новые беды всегда воспринимались как повторение старых. Массовые самоубийства евреев, преследуемых в долине Рейна крестоносцами, трактовались раввинами как аналогия жертвоприношения Ицхака. Смерть *аль кидуш а-Шем* (ради освящения Имени, то есть во имя веры в единого Бога) стала фокусом всей жизни целых еврейских общин. Евреи, идущие в газовые печи, повторяют ту же молитву "Шма Исраэль, Адонай Элоэину, Адонай Эхад", что и поколения, погибавшие от мечей крестоносцев и сабель Хмельницкого. Так постепенно еврейская историография превратилась в "схематологию". Интерес представляли уже не сами события, а возможность придать им смысл в рамках глобального Божественного проекта. Разрушение Второго храма есть воспроизведение разрушения Первого, резня Хмельницкого — повторение резни крестоносцев. Эту схему не сумела разрушить даже Хаскала. И если Катастрофа не уместается в такие рамки, это лишний раз доказывает всю актуальность создания рациональной еврейской историографии, которая вышла бы наконец из оков парадигм и мифов и занялась бы конкретной реальностью.

Этот исторический экскурс помогает понять, какое место занимает Катастрофа в сознании евреев. До сих пор единственным источником ее описания остаются субъективные рассказы очевидцев. Очевидцы не способны дать увиденному надлежащее рациональное толкование. Воспоминания о пережитом налагаются у них на воспоминания о предвоенной Польше, и тогда Катастрофа становится для них просто увенчанием всегдашнего польского антисемитизма. Поляки налагают воспоминания об уничтожении евреев на воспоминания о пережитом в годы оккупации и говорят: "Поляков тоже убивали, разве что меньше, чем евреев." Таким образом, Катастрофа теряет уникальность и в еврейских, и в польских глазах.

Евреи не понимают уникальности Катастрофы, потому что Катастрофа, на самом деле, мало что изменила в их толковании истории. Кроме того, она мало что изменила в отношении поляков к евреям. В лучшем случае, это было полувраждебное равнодушие — фильм Ланцмана это блестяще фиксирует. Недоразумение возникает тогда, когда равнодушие отождествляется с соучастием в преступлении.

Можно сказать и резче: не исключено, что многие из тех поляков, которые укрывали евреев в годы войны, остались в душе антисемитами. Но и при этом они никогда не помышляли о гитлеровском способе решения еврейского вопроса. Именно поэтому польское общество как целое не ощущает необходимости размышлять о проблеме "окончательного решения". Характерно, что изгнание евреев из Польши в 1968 году было для польских интеллигентов куда более сильным шоком, чем Катастрофа. Ибо тут была реализована польская программа решения еврейского вопроса, тогда как в годы войны реализовалась немецкая.

Евреи, как правило, не понимают таких нюансов. Их ритуализованная (и единственная существующая у них) схема истории говорит им, что в Катастрофе повинны все антисемиты. В то же время Катастрофа является для них чем-то мистическим и мифологическим. А в еврейском восприятии истории мифология, как показал Иерушалми, всегда предшествует фиксации реальных событий. Поэтому ощущение уникальности Катастрофы сохраняется одновременно с кодификацией ее как очередного эпизода страшной еврейской истории. Евреи видят в Катастрофе нечто одновременно уникальное и банальное, единственное в своем роде — и повторяющееся. "Катастрофа была увенчанием погромов."

Это толкование Катастрофы было воспринято также идеологией сионизма. Волею судеб сионистская идеология оказалась единственной победительницей в "еврейской гражданской войне" нашего века. Прежде всего, сионисты попросту выжили, тогда как все прочие: бундовцы, автономисты, ассимиляторы — погибли в газовых печах, а коммунисты вообще отреклись от своего еврейства. В результате сионизм стал доминирующей силой в политической, духовной и культурной жизни еврейства. Но еще более важной причиной этого торжества была правота сионистской идеологии. Катастрофа доказала основной тезис сионистов: евреям нет спасения в галуте, все программы их устройства там иллюзорны.

Если, однако, присмотреться к этой идеологии поближе, окажется, что и она не дает ответа на Катастрофу. Сионизм был, если угодно, ответом на "обычные" преследования — политические, экономические, социальные, вплоть до погромов. Но когда до палестинских сионистов дошли первые сообщения об уничтожении евреев в нацистских лагерях, они были встречены с недоверием (как встречаются многими в мире и поныне). Сионистские руководители не были готовы к такого рода преследованиям, у них не было на них подходящего ответа.

Более того — если бы Роммель сокрушил англичан под Эль-Аламейном, не исключено, что евреев Палестины ждала бы та же судьба, что и их европейских единоплеменников. И никакая сионистская программа переселения в Палестину не сумела бы их спасти — точно так же, как не сумели спасти европейских евреев программы коммунистов, социалистов, ассимиляторов или автономистов. В том-то и состоит уникальность Ка-

гастрофы, что никакая политическая программа не дает на нее ответа.

Но человек не может жить с сознанием, что у него вообще нет выхода. Поэтому и по сей день многие евреи предпочитают считать, что выход был — просто им "не хотели помочь". Поляки виноваты.

Можно сказать и иначе. С легкой руки Бен-Гуриона утвердилось понимание еврейской истории как двух периодов суверенности (древний и современный Израиль, в которых еврей является не объектом, а субъектом истории), разделенных 2000-летней полосой унижений и преследований (когда еврей оставался игрушкой исторических сил). В этом понимании истории нет и не может быть разницы между резней Хмельницкого или крестоносцев и Катастрофой двадцатого века. В сущности, это осовремененный вариант все той же древней ритуально-сакральной еврейской историографии. Но он, по крайней мере, дает евреям какое-то чувство уверенности в будущем. Признать, что Освенцим и Трешлинка были чем-то уникальным, означало бы подорвать самые основы сионизма.

Все это привело к тому, что в еврейском сознании и сегодня Катастрофа остается попросту "апогеем традиционного антисемитизма". А носителями такого антисемитизма являются "другие народы" — русские, украинцы, поляки. Только "нормализация" еврейского существования в Израиле вкупе с "нормализацией" израильского существования на Ближнем Востоке могут породить то чувство безопасности, которое позволит по-новому увидеть еврейское прошлое и еврейское будущее.

*Из статьи израильского журналиста Владимира Гольдкорна (журнал "l'Espresso")*

## ЕВРЕИ И ПОЛЯКИ

О евреях в Польше в последнее время пишут много. Говорят об антисемитизме без евреев; некоторые говорят о филосемитизме без евреев; и в любом случае ясно, что в Польше существует "еврейский вопрос без евреев".

Еще недавно евреев пытались элиминировать из польской памяти: они бесследно исчезали из польской истории и польского пейзажа, из книг и учебников. Тем не менее они продолжали занимать важное место в сознании народа — в разговорах о власти и коммунизме, в невротических фантазиях и трезвых политических расчетах. Молчание в этих условиях становится морально недопустимым. И кажется, что время спокойного обсуждения уже наступило.

Поляки часто защищаются от обвинений в антисемитизме ссылкой на то, что евреи, преследуемые в других странах, всегда находили убежище в Польше. При этом забывают, что то было в очень давние времена. Как раз тогда, когда на Западе ситуация евреев стала улучшаться, в Польше

она начала резко ухудшаться — главным образом, благодаря социально-экономическому кризису и росту влияния церкви как символа национального единства (что не могло не осложнить отношений с иноверцами).

Евреи видят в истории Польши прежде всего историю роста антисемитизма. Действительно, с конца прошлого века антисемитские взгляды, выросшие, главным образом, на религиозной основе, стали шириться в польских кругах и привели, в конечном счете, к распространенному убеждению, что место евреев — вне Польши.

Евреи, однако, не замечают, что этот процесс составлял часть мучительной истории польской борьбы за независимость. И хотя антисемитизм в Польше приобретал все более резкие формы, в целом он был выражением тенденций, общих всей тогдашней Европе, переживавшей период бунта против демократических и либеральных ценностей.

Таким образом, специфичность польско-еврейских отношений во время оккупации не может быть полностью сведена к давнему или недавнему прошлому.

Размышления о судьбе польских евреев во время войны следует, на мой взгляд, начать с утверждения, на котором никто почему-то не останавливался: не было никакого шанса спасти 3 миллиона польских евреев и 3 миллиона привезенных в Польшу из Европы для уничтожения. В этом плане, как отметил Н. Дэвис, "антагонизм между поляками и евреями, несомненно существовавший, не имел существенного значения." Если бы поляки даже относились к евреям иначе, спаслось бы еще 50 тысяч человек. Это много — и это безнадежно мало. Спасти евреев могли, в сущности, только союзники — если бы захотели и смогли. Но у них нехватало предвидения, воли и способности действовать.

Поэтому польско-еврейский спор не касается судеб еврейского народа. Это спор о моральной оценке поведения польского общества перед лицом массового уничтожения евреев. В этом споре еврейский и польский подход отчетливо различимы. Первый видит все исключительно в черном цвете, второй — исключительно в белом. Вот характерные высказывания поляков. Владислав Бартошевский: "Условия оккупации привели к заметному уменьшению антисемитизма. Ощущение общности судьбы побуждало людей помогать гибнущим." Анджей Мицевский: "В целом, как народ, мы не имеем оснований стыдиться нашего отношения к евреям." Ежи Турович: "Общность судьбы решительно изменила польско-еврейские отношения. В огромной части общества антисемитизм совершенно исчез." А вот высказывания евреев. Павел Кожец: "Не будет преувеличением сказать, что межвоенный польский антисемитизм во многом способствовал трагедии польского еврейства." Иосеф Маркус: "Когда в сентябре 1939 года сейм шумно приветствовал представителей польских нацменьшинств, выразивших готовность сражаться вместе с поляками против Гитлера, только один представитель — еврейский — был встречен ледяным молчанием."

В этом молчании уже крылось предвещие той позиции, которую заняли поляки во время последующего уничтожения евреев." Эзра Мендельсон: "Нацистский антисемитизм нашел очень сочувственный отклик в значительной части польского общества."

Эти контрастные оценки мало помогают понять трагическое сплетение человеческих судеб в нечеловеческих условиях. В августе 1942 года писательница Софья Коссак, руководитель влиятельной католической организации "Фронт возрождения Польши", опубликовала листовку, в которой писала: "Мы говорим от имени поляков-католиков. Наше отношение к евреям не изменилось. Мы попрежнему считаем их политическими, экономическими и идейными врагами Польши. Более того, мы знаем, что они ненавидят нас больше, чем немцев, и считают нас виновными в своих бедах. Но даже это не освобождает нас от обязанности осудить совершающееся преступление." Этот документ лучше многих других позволяет увидеть упомянутое переплетение. Ибо та же Коссак принимала самое активное участие в спасении евреев — как, впрочем, и многие другие известные польские антисемиты. Кое-кто из них — как, например, Ян Добрачинский — остался антисемитом и поныне. Помощь евреям не означала, таким образом, изменения позиции в еврейском вопросе. Яцек Марховский опубликовал в своей книге программу решения этого вопроса, какой она виделась польским центристским кругам уже во время войны. Это была программа насильственной эмиграции. Прежде всего должны были быть выселены молодые евреи, в возрасте от 18 до 40 лет; тогда пожилые вымерли бы сами собой. Оставшимся гарантировалось бы самоуправление, но в полной изоляции от польского общества: любой поляк, замеченный в контактах с евреями, подлежал бы такой же изоляции, как они. Подчеркнем, что эта программа, куда более радикальная, чем антисемитские действия профашистских режимов Хорти или Петена, принадлежала народно-демократической центристской партии.

Казалось бы, все это подтверждает еврейский тезис, что отношение поляков к евреям в годы войны попросту продолжало традиции давнего польского антисемитизма. Но те, кто выдвигает этот тезис, слишком легко забывают, что между предвоенной и военной Польшей пролегал еще период очередного раздела страны.

Раздел Польши Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 года вызвал понятную радость у многих нацменьшинств — украинцев, польских немцев, литовцев. Непонятной была лишь реакция евреев. У них не было территориальных претензий к Польше или тяги к объединению с единоплеменниками из-за границы. Тем не менее они массами выходили навстречу Красной армии и восторженно ее приветствовали. Еврейские авторы утверждают, что они приветствовали ее как спасительницу от немецкой угрозы. Но до принятия немцами политики "окончательного решения" в 1939 году было еще далеко. Не случайно многие евреи вскоре по-

спешили вернуться в немецкую часть Польши.

Более прав, повидимому, Адам Уземба, который пишет: "Восторженная встреча большевиков была прежде всего выражением демонстративного отказа от общности с поляками и польским государством. Разумеется, во многом это было результатом польского антисемитизма."

Трагический замкнутый круг: польский антисемитизм толкал евреев к большевикам, а это, в свою очередь, усиливало польский антисемитизм. Более того — евреи пошли на службу к большевикам, они активно участвовали в выслеживании польских офицеров. Вот почему генерал Грот-Ровецкий мог написать в своем рапорте в Лондон в сентябре 1941 года: "Прошу принять как факт, что подавляющее большинство страны настроено антисемитски. Гитлеровские методы вызвали некоторое сочувствие, но оно исчезло после слияния обеих оккупированных частей и распространения среди народа сведений о том, как вели себя евреи на востоке."

Ни в одной другой европейской стране не произошло столь драматическое столкновение интересов и позиции евреев с окружающим народом, как в оккупированной Советами части Польши в 1939-41 годах. В других странах евреи могли рассматриваться как преследуемые или участники сопротивления; в Польше в них видели прежде всего коллаборантов ненавистной советской власти. Об этом следует помнить, рассуждая об отношениях обоих народов.

В Польше, как и везде, были предатели. Были люди, которые из страха или корысти, сотрудничали с немцами. Но в Польше не было Квислингов или Петенов. Немцы их и не искали. Полякам все равно предстояло разделить участь евреев, только попозже.

Все это общеизвестно. Но об этом стоит напомнить, чтобы подчеркнуть, что в результате такой специфики в годы войны в польском сопротивлении сложилось уникальное общенациональное единство самых разных партий и движений, включая крайне антисемитские.

В других странах антисемитизм был синонимом коллаборации. Польша оказалась единственной страной, в которой антисемитизм не только сохранил патриотическую легитимацию (усиленную, как мы уже сказали, советской оккупацией 1939-41 годов), но и легитимацию демократическую. Польский антисемитизм не имел на себе клейма коллаборантства и потому мог процветать в годы войны не только на улице, но и в подпольной прессе, в политических партиях, в вооруженных отрядах подполья. Такие отряды входили в состав Армии Крайовой, и не случайно Марек Эдельман, еврейский участник Варшавского восстания, не решился уходить из Варшавы вместе со своими соратниками-поляками: "Тебя могут выдать немцам", — открыто предупредил его командир отряда.

Жестокая ирония истории, парадоксальная цена того, что было в тогдашней Польше самым важным — единства народа перед лицом оккупантов.

"Я не раз убеждался, — пишет Герлинг-Грудзинский, — что в человеческих условиях человек остается человеком, поэтому не стоит мерить его меркой тех поступков, которые он совершил в нечеловеческих условиях." Но разве нисхождение в ад проходит бесследно? Чрезмерное расширение границ зла таит в себе опасность — оно освобождает от ответственности. Польские крестьяне видели лагеря уничтожения и обоняли запах горелого мяса. Жители городов и местечек видели страшную жизнь еврейских гетто. И чем больше становился этот повседневный ужас, тем больше росли притупленность и равнодушие. Как говорит герой Станислава Мржежа: "То, что происходило между евреями и немцами было их делом. Не нашим, поэтому что нам до него? Неприятно, конечно, даже страшно, но — не наше дело."

Но равнодушие не было единственной реакцией. Во время войны изменился и сам образ еврея. Еврей перестал быть конкретным, издавна знакомым евреем, который мог вызывать приязнь или отвращение; теперь верх брали стереотипы, предрассудки, "идеологический" образ еврея. Кроме того, жертва ведь зачастую вызывает ощущение, что она сама, наверно, не без вины. Здесь действует не логика, а психология: можно не верить в народ-Богубийцу, можно скептически относиться к безумию "Протоколов сионских мудрецов" и одновременно утверждать, что евреи сами виноваты, коль скоро на них обрушивается столько несчастий. Софья Налковская вспоминает, как простая польская женщина, причитая у стены гетто: "Невозможно выдержать, ну, просто невозможно выдержать такое" — тут же добавила: "Нам даже лучше, если немцы их уничтожат, — они нас ненавидят больше, чем немцев, стоит немцам проиграть войну, они тут же вернутся и всех нас прикончат."

Но вот война окончилась. Казалось, что она выжгла все прежние неприязни. И действительно, если прислушаться к голосам польских интеллектуалов, может показаться, что так оно и произошло. Ежи Турович: "Я утверждаю, что в послевоенной Польше не было антисемитизма." Анджей Щипьорский: "После войны и гитлеризма антисемитизм в Польше не имел никаких шансов". Не буду на сей раз цитировать еврейских авторов, возьму лучше тех, кто писал непосредственно по следам войны. Ежи Анджеевский: "Польский антисемитизм не выгорел в руинах и развалинах гетто". Казимеж Выка: "Единственной страной в Европе, где антисемитизм продолжает существовать, осталась Польша".

Таких свидетельств множество. Но куда проще обратиться к фактам: летом 1946 года озверевшая толпа, возбужденная слухами о ритуальном убийстве, вышла на улицы Кельц и буквально разорвала на куски несколько десятков евреев. Позже утверждалось, что это была провокация коммунистических властей, пытавшихся отвлечь внимание Запада от подтасованных результатов референдума. Власти, в свою очередь, утверждали, что это была провокация эмигрантского правительства и его "лесных от-

рядов". На секретном заседании ЦК ПОРП говорилось, что аналогичные погромы вспыхнули (но были вовремя предотвращены) во многих других городах. Что случилось в действительности? Не исключено, что имела место провокация. Куда важнее, что она встретила поддержку широких масс поляков. Но попытки свести объяснение этих фактов все к тому же "традиционному польскому антисемитизму" оказываются упрощенными и здесь.

На Западе моральной победительницей в войне вышла идеология левых. Она быстро подчинила себе всю западную интеллигенцию. Преступления Сталина замалчивались, коммунистическая риторика объявлялась реальностью. В Польше все обстояло иначе: именно правые круги представлялись одновременно "национальными", "патриотическими" и "анти-советскими". А также антисемитскими. Завершение войны не потребовало никакой переоценки ценностей. Произошла национальная трагедия. Но не было кризиса национальной идеологии. Прежние стереотипы только укрепились: поляк-католик защищал отечество, жидокоммунисты его предавали. Жидокоммунисты навязали Польше ненавистную советскую власть. И осуществлялась она руками все тех же евреев.

Евреи действительно были повсюду, особенно в центральном аппарате власти. Это было едва ли не главным шоком послевоенной действительности для рядового поляка, ибо составляло прямое продолжение того, что происходило в 1939-41 годах. Только что этих евреев травили, как клопов, и вдруг они снова тут как тут — воскресший Иуда! Это непонятное воскресение из мертвых пробуждало не только ненависть и страх; оно возрождало в сознании поляков все прежние религиозные представления о бессмертии "иудина племени".

Перед войной католическая церковь достаточно откровенно насаждала эти представления. Вот что писал, например, кардинал Хлонд, примас Польши в 1936 году: "Еврейская проблема существует и будет существовать до тех пор, пока евреи остаются евреями. Евреи борются с католической церковью, они возглавляют вольномыслие, большевизм и подрывные действия, оказывают пагубное влияние на мораль, распространяют порнографию, торгуют живым товаром. Но будем справедливы — не все евреи такие..."

В этом высказывании заключена вся программа христианского антисемитизма с его одновременным отрицанием расизма и насилия по отношению к евреям. Во время войны католическая церковь в Польше оказалась в авангарде помощи евреям; но после войны она вернулась к пропаганде национальных религиозных ценностей; поэтому не удивительно, что примас не выступил с публичным осуждением келецкого погрома. Возможно, он не хотел, чтобы его позиция в этом вопросе совпала с позицией ненавистных народу властей, которые этот погром осудили. Не возвысила церковь свой голос и в марте 1968 года, когда началось массовое изгнание

евреев из Польши. Церковь расценила эти репрессии как "семейную свару" в правящих кругах. И только десять лет спустя, в частном письме к израильскому гражданину Израилю Зигману, примас произнес слова, которые имели прямое отношение к наболевшей проблеме: я видел гетто, я помню его ужасы, и я надеюсь, что "те страшные годы окончательно выровняли ход нашего исторического сосуществования на одной земле в течение стольких веков". Иными словами: история этого сосуществования подошла к концу.

Евреи в Польше перестали быть экономической, общественной, культурной проблемой. Они остались только проблемой политической. В них видели чисто политическую группу, но никак не часть польского общества. Они были вне этого общества — либо в аппарате власти, ненавистной народу и церкви, либо за рубежами Польши.

Как произошло, что они оказались в такой ситуации? Советы не могли рассчитывать на широкое участие польской интеллигенции в насаждаемой ими власти. С евреями дело обстояло иначе: они были благодарны Советам за свое спасение, изолированы в польском обществе, окружены враждебностью поляков и настроены против польской "реакции", в которой видели виновников Катастрофы. Кроме того, среди них было много старых коммунистов. Короче, они составляли самый подходящий и надежный строительный материал. Более того, они составляли самый подходящий материал как раз для таких сфер, где требовалась особая надежность и лояльность — армия, безопасность, партаппарат, пропаганда, международные отношения. Иными словами, евреев выдвигали не потому, что они были евреями, а потому что они были лояльными. Зато изгоняли их из аппарата именно как евреев. Это началось с антисемитским поворотом политики Москвы. Вплоть до начала 60-х годов Польша послушно шла в фарватере этой политики. Как же произошел март 1968-го? Почему аналогичного массового изгнания евреев не было, скажем, в Венгрии, где их процент в руководящем аппарате был куда выше (9 из 15 членов ЦК)?

Март 1968-го был реакцией на провал ноября 1956-го, когда власть попыталась установить "патриотический союз" с обществом. Крах объявленных реформ (во многом вызванный противодействием Москвы) вызвал к жизни "мочаризм" — очередную попытку замаскировать коммунизм в цвета польского национализма. Антисемитизм должен был послужить легитимации этой власти в глазах народа. Удалось ли это? Я склонен согласиться с Лешекком Мочульским, который писал: "Значительная часть народа поверила, что устранение "чужеродного тела" автоматически приведет к улучшению жизни." Разумеется, этого не произошло. К тому же власть не могла пойти до конца в духе польского национализма — для этого ей нужно было взять на вооружение также антисоветизм. Но с евреями в Польше она покончила. Евреи перестали быть внутренней польской проблемой; они остались разве что проблемой международной

— в той мере, в какой любая польская власть вынуждена заигрывать с мировым, особенно — с американским еврейством в своих политических и экономических интересах. Но это уже другая история.

История польско-еврейских отношений закончилась. Их уже больше не будет. "Это белое уже не достираться", — как выразился Анджей Кусневич. Но наследие этих отношений осталось. Вот говорит ксендз Дембовский: "Антисемитские лозунги сохраняются в нашей действительности." И Тадеуш Клемпский: "Антисемитизм в Польше существует и по сей день." Каковы причины этого парадоксального явления?

На Западе Катастрофа вызвала шок. Возможно, потому, что она показала, что человек в наше время стал уже не "средством истории", а просто ее "сырьем". А также потому, что этой жертвой истории стал избранный народ; не случайно многие евреи считают Катастрофу увенчанием многовековой христианской ненависти к "Божьему народу". Однако эта детерминистская точка зрения лишает нацизм его кровавой специфичности, а Катастрофу — ее уникальности; она провозглашает непрерывность там, где зияет чудовищная мутация. Куда убедительнее мнение, что Катастрофа была высшим проявлением языческого бунта против христианства, его ценностей и этических норм. Как бы то ни было, шок, пережитый Западом, привел там к повсеместному осуждению антисемитизма. В нем стали видеть предвестие нового Освенцима. Религиозный антисемитизм практически исчез, как исчез антисемитизм политический (если не считать его левацкого варианта — антисионизма), экономический, социальный. Его проявления осуждаются на Западе сегодня куда жестче, чем проявления любой другой религиозной или расовой нетерпимости.

Польская реакция на Катастрофу была совершенно иной. Она не вызвала шока, скорее — ощущение чуждости и враждебности к евреям. Она укрепила антисемитские стереотипы. Послевоенная польская специфика только усилила эти тенденции. Но как показала дискуссия вокруг фильма Ланцмана, новое поколение поляков, которое не пережило всех этих исторических травм, куда свободнее и от традиционных польских комплексов в отношении евреев. Это лишний раз доказывает правоту Орвелла, который трактовал антисемитизм как невротическую реакцию бессильных и несвободных людей, видящих в любых исторических событиях "тайный заговор" скрытых и могущественных "сил". Преодоление такого "детективного толкования истории", преодоление массового "магического мышления", порожденного бессилием и порождающего бунт против евреев и других "заговорщиков", возможно лишь на пути свободной политической жизни, выработки чувства гражданской ответственности за собственную судьбу и веры в освобождающую силу правды.

*Из статьи польского журналиста  
Александра Смоляра (журнал "Анекс")*

-----  
*Давид Флуссер*

### ИИСУС

(главы из книги; начало см. "22", № 73)

### Любовь

Революционное, если угодно, начало в проповеди Иисуса основано не на критике еврейского Закона, но на других предпосылках. Иисус не был первым, кто разрабатывал эти предпосылки: его деятельность начиналась с позиций, которые были завоеваны уже до него. Прорыв нового в провозвестии Иисуса характеризуется тремя моментами: радикализацией заповеди о любви, призывом к новой морали и идеей Царства Небес.

Примерно за 175 лет до рождения Иисуса один еврейский книжник с греческим именем Антигон (Антигон из Сохо) имел обыкновение говорить: "Не будьте как рабы, работающие на господина ради награды, но будьте как рабы, служащие господину без корысти. И да будет страх небесный с вами!"\*. Это изречение характеризует изменение интеллектуального и морального климата в еврейском обществе, происшедшее со времен библейской древности. Оно свидетельствует об углублении и уточнении нравственного сознания в иудаизме, которое было важным предварительным условием появления учения Иисуса.

Религия Израиля провозглашает единственного, справедливого Бога. Ее иконоборческая нетерпимость тесно связана с непреклонной этической волей. Библейская справедливость стремится осуществить себя в новом законе и новом справедливом общественном устройстве. Справедливость Бога является одновременно состраданием: Он особенно заботится о бедных и угнетенных, поскольку Он ждет от человека не проявления силы и власти, но благоговения перед Ним. Религия евреев - это этическая религия, в которой обязательным является принцип справедливости. Поэтому в этой религии столь важное значение приобретает разделение людей на праведников и грешников. Представление о том, что Бог награждает праведников и наказывает грешников, выражало в глазах евреев правду их религии. А как иначе может править в мире божественная справедливость?

Однако, как правило, судьба человека не соответствовала его

---

\*Перевод Е. Б. Рашковского.

моральному рвению, и слишком часто виновный оставался не наказанным, а добрый не получал вознаграждения: нередко жизнь праведника складывалась неудачно, а у преступника все шло хорошо. Очевидно, здесь что-то не так. Впрочем, решить проблему добра и зла пока не удалось ни одной религии и ни одной этической системе. В еврейской Библии горькому жребию праведника посвящена Книга Иова. Но и языческой восточной литературе мудрых хорошо знакома эта проблема - в ней также звучит вопль отчаяния: "Дорогой успеха идут те, кто не ищет Бога, ослабли и захирели молившиеся Богине"\*.

Однако не такая постановка вопроса послужила причиной переворота, который затем привел к моральному императиву Иисуса. Как уже говорилось, морально-религиозное правило, согласно которому праведник должен процветать, а злодей плохо кончает, все снова и снова опровергалось самой жизнью. Но для тогдашних евреев это правило было сомнительным совсем с другой точки зрения: если бы даже оно подтверждалось повседневным опытом, нельзя было не задаться вопросом, насколько верна простая схема деления людей на праведников и грешников. Известно же, что ни один человек не является ни совершенным праведником, ни совершенным грешником, так как в его душе происходит борьба добрых и дурных побуждений. Спрашивается, где тот предел, до которого простираются сострадание и любовь Бога к человеку. Далее предположим, что вознаграждение праведника и наказание грешника следуют с непосредственной для всех очевидностью. Но какова тогда нравственная ценность поступков, если человек делает добрые дела, ожидая вознаграждения? Как говорилось, уже Антигон из Сохо считал такой подход низменной моралью рабов: человек должен действовать нравственно, исключив всякую мысль о том, что ему гарантирована награда.

Новое нравственное сознание евреев того времени, естественно, уже не может удовлетвориться рыцарской моралью старого союза. Поскольку отныне понятно, что не существует отчетливой границы, разделяющей людей на праведников и грешников, постольку принцип "любить добрых и ненавидеть злодеев" становится слишком отвлеченным. А раз уж трудно судить о пределах любви и милосердия Бога, многие пришли к выводу, что необходимо по отношению к ближнему проявлять любовь и сострадание, тем самым подражая Богу. Слова об этом Лука (6:36) вкладывает в уста Иисуса: *Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец!* Впрочем, это — старое раввинское изречение.

В тех кругах еврейского общества, где новое сознание нашло наиболее последовательное выражение, образ жизни, исполненный

---

\*Перевод И. С. Клочкова. Цит. по книге И. С. Клочков. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. - М., Наука, 1983, с. 82.

любви к ближнему, рассматривался как необходимое условие для примирения с Богом. "Грехи, совершенные человеком по отношению к ближнему, прощаются в Судный День лишь после того, как он примирился с ближним". Так сказал один рабби за несколько десятилетий до Иисуса. Иисус говорил нечто подобное: *Если вы будете прощать людям их согрешения, то и вам простит ваш небесный Отец, а если вы не будете прощать людям их согрешения, то и ваш Отец не простит вам ваших согрешений* (Мф 6.14-15).

Самое лучшее резюме новой еврейской этики одновременно является и самым древним письменным свидетельством о ней. Автор этого текста (Сир 27:30-28:7; в синод. перев. Сир 27:33-28:8) Йешуа бен Сиры написал свою книгу примерно в 185 г. до н. э.

Ярость и гнев — и они омерзительны:

только грешник в себе их носит.

Мстящему другим отомстит Господь:

Он все его грехи сохранит.

Оставь обиду на ближнего — и тогда молись —  
и будут прощены тебе грехи.

Ты хранишь гнев на человека,

а у Господа просишь исцеления?

К себе подобному не имеешь сострадания,

а молишься о прощении грехов?

Сам, будучи плотью, лелеешь злобу?

(Кто расплатится за твои грехи?)

Помни о конце и прекрати вражду,

о закате и смерти — и соблюдай закон.

Помни о заповедях и не сердись на ближнего,

о Завете Всевышнего — и снизойди к виновному.

Мысль, которую мы уже встречали, о том, что необходимо сначала примириться с братом, а уже потом просить о себе самом, переплетается у бен Сиры с характерно для того времени трансформированной идеей воздаяния. Старый принцип справедливого воздаяния, согласно которому праведник награждается по мере своей праведности, а грешник наказывается по мере своей греховности, был для некоторых уже непривлекательным. Теперь ход мысли таков: если ты любишь ближнего, Бог воздаст тебе добром, но если ты ближнего ненавидишь, то тем же оплатит тебе и Бог. Именно Иисус говорил нечто в этом роде: *Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены! Оправдывайте, и будете оправданы! Давайте, и вам дадут: насыпят вам в полу меры доброй, утрясенной, упрессованной и переполненной. Какой мерой отмеряете вы, такой отмерят и вам* (Лк 6:37-38).

Начало этой сентенции напоминает слова знаменитого Гиллеля, который еще до Иисуса говорил: "Не суди товарища твоего, покуда не побываешь на его месте сам!"\*. Фраза "Какой мерой отмеряе-

---

\*Перевод Е. Б. Рашковского.

те вы, такой отмерят и вам” в то время у евреев вошла в поговорку. Существует важная параллель к только что приведенным словам Иисуса из Евангелия по Луке. Это — логия, сохранившаяся в Послании Климента Римского (ок. 96 г.): *Жалейте, чтобы вас пожалели; прощайте, чтобы вам прощали! Что делаете вы, то будут делать и вам; как даете, так будут вам давать; как судите, так будут вас судить; как делаете добро, так будут делать его вам. Той мерой, какой вы отмеряете, отмерят вам* (1 Клим 13:2). Эта логия восходит к протохристианской общине, а может быть, и к самому Иисусу.

Темы, в разработке которых выразилось новое сознание еврейской религии, тесно переплетались между собой. Они соединяют многие высказывания Иисуса друг с другом и с высказываниями некоторых рабби. Например, в приводимой Климентом логии есть слова: “Что делаете вы, то будут делать вам”, означающие: “Что вы сделаете ближнему, то Бог сделает вам”. Это любопытный вариант так называемого “золотого правила”, на который ссылался также и Иисус: *Все, что вы хотите, чтобы вам делали люди, делайте и вы им: в этом Закон и Пророки* (Мф 7:12). “Золотое правило” в качестве морального императива встречается у многих народов. У евреев уже до Иисуса оно рассматривалось как квинтэссенция Закона в целом. Еще Гиллель сказал: “Не делай ближнему того, что ненавистно тебе. В этом весь Закон — все прочее только комментарий”. Это изречение в тогдашнем иудаизме понималось, вероятно, в следующем смысле: Бог подходит к тебе с такой же меркой, с какой тыходишь к ближнему. Отсюда вытекает: “Что просит человек у Бога для своей души, то пусть он и делает всякой живой душе”.

Иисус, как и до него Гиллель, видел в “золотом правиле” концентрированное выражение Моисеева Закона. Это и понятно, если принять во внимание, что библейские слова: “Люби ближнего, как самого себя” (Лев 19:18) Иисус считал (как это обычно и считалось в иудаизме) *величайшей заповедью в Законе*. В древнем арамейском переводе эти слова звучат так: “Люби ближнего, как самого себя, и не делай ему того, что не понравилось бы тебе на его месте”. Таким образом, в этой парафразе оборот “как самого себя” заменяется отрицательной формой “золотого правила”. Значит, слова “люби ближнего” понимаются как положительное требование, а слова “как самого себя” — как его отрицательная форма: ты не должен плохо обходиться с ближним, поскольку ты не хочешь, чтобы он плохо обходился с тобой. Итак, привлекая параллели из иудаизма, мы обнаруживаем тесную связь “золотого правила” (Мф 7:12) и заповеди о любви к ближнему (Мф 22:39) внутри учения Иисуса.

Существовало и другое толкование оборота “как самого себя” в тексте очень важной в то время библейской заповеди о любви к ближнему. Дело в том, что соответствующее древнееврейское выражение можно понимать также и в смысле “такого же, как ты сам” (т.е. “себе подобного”). При таком понимании заповедь звучала

бы так: "Люби ближнего, потому что он такой же, как ты". Уже Бен Сира знает это толкование, раз он требует, чтобы ближнему прощались обиды, поскольку не иметь сострадания "к себе подобному" ("такому же человеку, как ты") — это грех (Сир 28:3-528:2-4 в синод. перев.). Равби Ханина, который жил на одно поколение позже Иисуса, очевидно, имеет в виду заповедь о любви к ближнему, когда говорит: "Слово, на котором стоит весь мир, — великая клятва с горы Синай: Если ты ненавидишь ближнего, дела которого так же злы, как и твои, Я, Господь, буду судить и накажу тебя; а если ты любишь ближнего, дела которого так же добры, как и твои, Я, Господь, буду верным и пожалею тебя". Таким образом, характер отношения человека к человеку определяется фактом солидарности одного с другим как в плохом, так и в хорошем. Это уже недалеко от Иисусовой заповеди о любви. Но Иисус идет еще дальше и снимает последнее ограничение со старой еврейской заповеди о любви к ближнему. Равби Ханина считал, что нужно любить праведника и недопустимо ненавидеть грешника. Иисус сказал: *А я говорю вам: любите ваших врагов и молитесь за ваших гонителей* (Мф 5:44).

Ниже мы увидим, что к аналогичному выводу, но по другим соображениям пришли некоторые представители околосееских кругов и что эти круги оказали определенное влияние на моральное учение Иисуса. Одним только влиянием здесь, конечно, всего не объяснить: не будем забывать, что Иисус, сторонившийся отчего дома в Назарете и ставший другом сборщикам пошлин и грешникам, чувствовал себя посланником к потерянными овцам дома Израиля. Трогательная расположенность Иисуса именно к грешникам безусловно объясняется не только биографическими причинами: она тесно связана со смыслом его Евангелия. А содержание его проповеди, в свою очередь, определяется всей его жизнью — от самого детства до смерти на кресте. Заповедь о любви к врагам столь безусловно принадлежит Иисусу, что в Новом Завете мы слышим ее только из его уст. В других случаях мы можем узнать лишь о необходимости взаимной любви и о том, что нужно благославлять преследователей. Очевидно, нелегко было достигнуть высоты Иисусовой заповеди.

Библейская заповедь о любви к ближнему упоминается Иисусом, когда он объясняет, в чем квинтэссенция Моисеева Закона: *Величайшая заповедь в Законе — "Люби Господа, твоего Бога, всем сердцем и всей душой и всеми силами"* (Втор. 6:5). *Это — первая величайшая заповедь, а вторая — подобна ей: "Люби ближнего, как самого себя"* (Лев 19:18). *На этих двух заповедях стоит весь Закон* (Мф 22:35-40).

Почти несомненно, что Иисус здесь использует устно передаваемое изречение, которое он считал важным для собственной проповеди. Часто так и бывало: книжник, от которого исходило определенное изречение, по существу, лишь передавал то, что сам заимствовал из устной традиции. "Книжник... подобен хозяину, который вынимает из своего хранилища новое и старое" (Мф 13:52). Таким

образом, сентенция с двумя заповедями о любви, видимо, возникла до Иисуса. Как мы уже знаем, библейские слова о любви к ближнему обычно называли *величайшей заповедью в Законе*, и эта заповедь в самом деле была подобна другой заповеди (заповеди о любви к Богу), поскольку соответствующие библейские стихи (Втор 6:5 и Лев 19:18) начинаются с одного и того же слова. А для раввинского подхода к тексту характерно усматривать между близкими по звучанию библейскими местами также и содержательную связь. То, что Иисус на первое место выдвинул заповедь о любви к Богу, было в духе учения тогдашних фарисеев. Перечень семи типов фарисеев, о котором мы уже упоминали, завершается описанием двух положительных типов: фарисеев страха, подобных Иову, и фарисеев любви, подобных Аврааму. Многие раввинские источники, сравнивая страх и любовь по отношению к Богу, любовь ставят выше страха, поскольку с позиций нового нравственного сознания евреев служение Богу на основании безусловной любви к Нему имеет большую ценность, чем служение Ему из страха перед наказанием.

Из сказанного ясно, что двойная заповедь о любви существовала в раннем иудаизме до Иисуса и параллельно с ним. То, что она не сохранилась в дошедших до нас раввинских источниках, вероятно, чистая случайность. Ведь из текстов Марка (12:28-34) и Луки (10:25-28) видно, что в отношении "величайшей заповеди" Иисус и фарисеи находились в полном согласии.

Только что рассмотренное изречение — это лишь один из многих текстов, в которых непосвященный читатель Евангелий усматривает характерную особенность учения Иисуса, при этом не придавая значения действительно революционным высказываниям. Правда, такие слова Иисуса, как логия о "величайшей заповеди", в целом играют существенную роль в его проповеди. Можно было бы без особого труда составить целое евангелие из старинных еврейских текстов, не используя при этом ни единого слова Иисуса. Однако такая задача разрешима только потому, что такое Евангелие у нас уже есть.

То же самое можно сказать и о той части Нагорной проповеди, в которой Иисус будто бы определяет свою личную позицию по отношению к Моисееву Закону (Мф 5:17-48). Здесь он, так сказать, выносит из своего хранилища новое вместе со старым.

В иудаизме того времени на фоне простого понимания поступков человека, отраженного в Писаниях, развивалась целая диалектика греха. Человек больше не рассматривался как простое существо, да и сам грех порождал сложные проблемы. Если не проявить должной осмотрительности, один грех влечет за собой другой; даже такие дела, которые не выглядят как греховные, могут втянуть человека в действительный грех. Существовало даже изречение: "Избегай зла и того, что на него похоже". Если этот подход перенести на заповеди, то получится, что второстепенные заповеди так же важны, как и главные.

В этом смысле и следует понимать истолкование Иисусом Закона в Евангелии по Матфею (Мф 5:17-48). Собственно толкованию предпослана преамбула (Мф 5:17-20), в которой Иисус обосновывает свою точку зрения. Первая фраза этой преамбулы (5:17), по-видимому, утрирована. Иисус, должно быть, только сказал: *не думайте, что я пришел отменить Закон; не отменить я его пришел, но утвердить*. Так должна была звучать эта фраза в соответствии с тогдашним словоупотреблением. Этими словами Иисус отклоняет предполагаемый упрек в том, что следующее затем толкование Закона упраздняет первоначальный смысл библейского слова. Разумеется, он не мог такого даже помыслить, поскольку, по его убеждению, писанный Закон таинственно связан с существованием мира (Мф 5:18). Поэтому даже второстепенные заповеди требуют подобающего к себе отношения. Такая позиция означает усиление Закона, но не со стороны его ритуальной части, а со стороны отношения к человеку и, стало быть, к самому себе. Подобная установка существовала и в иудаизме того времени, о чем, например, свидетельствует следующее высказывание: "Всякий, кто публично позорит ближнего (и таким образом заставляет его бледнеть), тот проливает кровь". По той же схеме (и формально, и в плане развития мысли) строятся две первые антитезы Нагорной проповеди (Иисусовы толкования заповедей): подсуден не только тот, кто убил, но даже тот, кто гневается на брата (Мф 5:21-22), и *всякий, кто страстно взглянул на женщину, уже изменял с ней в своем сердце* (Мф 5:28). Согласно изречению, сохранившемуся в более поздних еврейских источниках, три рода грешников обречены на вечные мучения: нарушители супружеской верности; те, кто публично позорят ближнего; и те, кто называют ближнего бранными словами. О последнем роде говорит также и Иисус: *Кто назовет брата ничтожеством, подсуден синедриону, а кто назовет его дураком, тому не миновать адского пламени* (Мф 5:22). Продолжение этого текста (Мф 5:29-30) также имеет интересную параллель в раввинской литературе. В нем Иисус говорит (ср. Мк 9:43-48): *Если твой глаз заставляет тебя оступиться, вырви его, потому что лучше потерять тебе глаз, чем всем телом твоим попасть в ад*. То же говорится о руке и ноге. Ранее (Мф 5:28) Иисус сказал, что всякий, кто страстно взглянул на женщину, уже в своем сердце нарушил супружескую верность. В еврейской литературе приводится мнение, что слово, означающее "нарушать супружескую верность", потому состоит из четырех букв (в древнееврейском тексте Декалога — Исх 20:14), чтобы служить предостережением не делать этого "ни рукой, ни ногой, ни глазом, ни сердцем".

Иисус начал свое толкование Писаний с того, что прямо указал на важность "второстепенных" заповедей, приравняв гнев убийству и страстное желание — супружеской измене. В раннехристианском тексте "Дидахэ", в котором сохранилось иудаистское учение о "двух путях", можно прочесть следующее: "Дитя мое! Избегай всякого зла и всего, подобного ему. Не отдавайся гневу, так как

гнев ведет к убийству... Дитя мое! Не будь похотлив, так как похоть ведет к распутству... и все это порождает супружеские измены". Первая фраза нам уже знакома: это еврейское правило морали; два случая применения этого правила соответствуют шестой и седьмой заповедям Декалога. Это именно те заповеди, которые разъясняет Иисус (причем совершенно аналогичным образом) в Нагорной проповеди. И в толковании Иисуса, и, еще яснее, в "двух путях" чувствуется влияние второй пятерки заповедей декалога, которая касается отношения к ближнему. Именно поэтому Иисус заканчивает свое толкование Закона разъяснением "величайшей заповеди": *Люби ближнего, как самого себя* (Мф 5:43-48).

Проповедь Иисуса о любви могла глубоко затронуть тех, кто тогда ее слушал. Многие в то время говорили нечто подобное. Но в пронзительной чистоте звучания именно этой проповеди нельзя было не почувствовать чего-то необычного. Не все, о чем тогда размышляли и учили другие еврейские учителя, принималось Иисусом. Ближе всего Иисус стоит к фарисеям любви из школы Гиллеля, хотя фарисеем в собственном смысле он, конечно, не был. Он шел дальше: до безусловной любви к врагу, к грешнику. В дальнейшем мы убедимся, что в этом учении не было никакой сентиментальности.

## Мораль

Однажды некий человек сказал Иисусу: "Я последую за тобой, куда бы ты ни пошел". Иисус ему ответил: *Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, у человека же нет места, где приклонить голову* (Мф 8:19-20). В этих словах слышится социальный протест. Черные американские парии очень хорошо поняли, что хотел сказать Иисус, выразив это в своих песнях: "У лисиц есть норы в земле, у птиц — высокие гнезда, у всякой твари — свое убежище, лишь у нас, бедных грешников, нет ничего такого".

У Иисуса социальные мотивы выражены сильнее, чем у раввинов. Они составляют ядро его евангелия. Однако Иисус не был борцом за социальную справедливость в обычном смысле слова. Скорее ими были ессеи. Первоначально они представляли собой апокалиптическое революционное движение. Ессеи соединили идеологию бедности с учением о двойном предопределении, которое сводится к следующему. Они, истинные Сыны света, избранные бедняки Господа, в последние дни, которые вот-вот наступят, силой оружия и с помощью небесных сил получат землю и завоюют весь мир. А Сыны тьмы, т.е. остальной Израиль и язычники, вместе с демоническими силами, господствующими в мире, будут уничтожены. И хотя во времена Иисуса идеология ессеев, вероятно, уже не носила столь агрессивного характера и не побуждала к активным действиям, а сами ессеи все больше склонялись к созерцательному мистицизму, они продолжали жить по-прежнему, сообща владели имуществом, высоко ценили бедность и строго отделяли себя от остальных евреев.

Сыны света — ессеи довели до минимума хозяйственные связи с внешним миром. Они требовали от членов общины, "чтобы никто ничего не пил и не ел из их собственности и ничего от них не брал бесплатно.., так как... всех презирающих Его Слово Он истребит с земли, и все их дела — мерзость перед Ним, а в их имуществе — нечистое". Таким образом, ессейская община обязывала своих членов "отделяться от сынов погибели и отказываться от нечистого имущества нечестия".

Иисус, естественно, не одобрял идеологического и экономического сепаратизма есеев. *Люди этого мира в общении между собой рассудительней Сынов света. И я говорю вам: Делайте себе друзей из имущества несправедливости... Потому что если вы не были верны по отношению к неправедному имуществу, то кто вам доверит истинное добро? И если вы не были верны по отношению к чужому, то кто даст вам ваше?* (Лк 16:8-12). Значит, Иисус знал о ессеях и, используя их самоназвание, говорил о них, отчасти иронически, как о "Сынах света".

Иисус считал, как и ессеи этого периода, что всякая собственность может заслонить собой Бога. *Никто не может служить двум хозяевам. Или одного он будет ненавидеть, а другого любить, или одному он будет предан, а другого ни во что не ставить. Невозможно служить и Богу, и имуществу* (Мф 6:24). Дуалистическая терминология этой сентенции восходит к ессеям. Они все свои помыслы направляли на то, "чтобы любить все, что Он избрал, и ненавидеть все, что Он отверг, и тем самым сторониться всякого зла и держаться всех добрых дел". Существует извечная борьба между добром и злом, а значит между Сынами света и Сынами тьмы, между Богом и Велиалом, т. е. дьяволом. Иисус так не думал. Он заимствовал у есеев не богословие, но лишь определенные социальные выводы из их мировоззрения. Поэтому два хозяина в логии Иисуса — не Бог и Велиал, а Бог и Маммона (богатство).

Итак, согласно Иисусу, собственность служит препятствием для проявления высоких моральных качеств. *Как трудно положившимся на имущество войти в Царство Бога! Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Бога* (Мк 10:24-25). Вот почему как для есеев, так и для Иисуса бедность, безропотность, чистота сердца и неученая простота были важнейшими религиозными ценностями. Иисус вместе с ессеями считал, что отвергнутые ныне обществом и гонимые будут первыми в недалеком божественном будущем, *так как им принадлежит Царство Небес*. Он верил, что тогда *будут утешены плачущие* [речь идет о плаче в знак траура по религиозным мотивам — из-за попрания имени Господа, которое окончится с установлением Царства. Аналогии из еврейской Библии и апокрифов: Ис 61:2; 66:10-12; Сир 48:24 (синод. пер. 48:27). — Прим. перев.]. То, что эти слова Иисуса (их называют обычно "заповедями блаженства") лишены какой бы то ни было сентиментальности, показывает следующее сразу же вслед за ними предостережение *богатым, сытым* и тем, *кто сейчас смеется*: им

предстоит печалиться и плакать. Благодаря найденным в районе Мертвого моря текстам становится понятным оборот "бедные по духу" [традиционный русский вариант — "нищие духом". — *Прим. перев.*], который иногда в этих текстах употребляется как почтительное наименование ессеев. *Бедные по духу* — это бедняки, которым дается Святой Дух. В одном месте ессейской Книги Гимнов (18:14-15) автор благодарит Бога за то, что Он назначил его глашатаем Своей доброты, который должен "возвестить кротким о Твоем великом милосердии, поведать упавшим духом о Спасении из вечного источника и плачущим — о вечной радости". Используемые здесь слова соответствуют *кротким, бедным по духу и плачущим* из первых трех "заповедей блаженства" Нагорной проповеди.

Другую, вероятно даже более важную, параллель им и сопровождающим их предостережениям Иисуса мы находим в "Завещаниях двенадцати патриархов" — произведении еврейской литературы, которое уже к ессеям непосредственного отношения не имеет. Оно возникло на периферии ессейства и дошло до нас в христианской переработке, однако оригинальный текст источника идентифицировать нетрудно. По замыслу это произведение содержит последние наставления двенадцати сыновей Иакова. Один из них, Иуда, так говорит о Спасении в последние времена: "И останется один народ Господа и один язык. И уже не будет духа лжи Велиала, так как он будет брошен в огонь навеки. И умершие в печали восстанут в радости и бедные станут богатыми, и голодные будут накормлены досыта, и слабые станут сильными, и принявшие смерть во имя Господа воскреснут в жизнь. И олени Иакова будут скакать с ликованием, и орлы Израиля полетят в радостном полете. А нечестивые будут повергнуты в печаль, и грешники будут рыдать. И все народы будут славить Господа вовеки".

Очевидно сходство между "заповедями блаженства" и предостережениями Иисуса, с одной стороны, и приведенным текстом, с другой стороны. Еврейский автор поэтически развивает общее предание и перерабатывает его, вводя мотив воскресения мертвых. Он говорит, что погибшие во имя Господа воскреснут в жизнь. Иисус же обещает *Царство Небес гонимым*. Отсюда видно, что "Завещания двенадцати патриархов" связаны с ессеями лишь отчасти. Сами ессеи, хотя и верили в рай и ад и вечную жизнь, но не разделяли с фарисеями, а затем и христианами веру в воскресение мертвых. Довольно странно, что Иисус также говорит о вечной жизни, прямо не упоминая о воскресении. Исключением здесь является спор с саддукеями, "которые говорят, что нет воскресения" (Мк 12:18-27), а также те места, по-видимому вторичные, где Иисус говорит о собственном воскресении. Случайно ли такое совпадение?

После всего, что было сказано о ессеях, необходимо объяснить, каким образом глубоко человеческие "заповеди блаженства" Нагорной проповеди могли питаться духом ессеев, которые к тому времени, конечно, не были такими мизантропами, как прежде, но все-таки не отказывались от человеконенавистнической идеологии. На

самом деле, бывает и так, что в рамках бесчеловечной идеологии с течением времени появляются вполне человеческие идеи. В случае ессеев так и произошло. В еврейских кругах, соприкасавшихся с ессеями и одновременно подвергшихся глубокому влиянию со стороны нового нравственного сознания в иудаизме, это очеловечение было доведено до конца. Иисус был знаком с вызревавшими в этих кругах идеями. И он их использовал в своей переоценке всех ценностей.

Ессеи считали, что их окончательная победа и уничтожение зла предрешены. А пока конец времен еще не наступил, следует подчиняться злым властям этого мира, руководствуясь следующими "правилами пути": "Вечная тайная ненависть к людям преисподней! Отдавайте им имущество и плоды своего труда, как отдает раб своему хозяину или бедняк своему правителю. И пусть каждый усердно размышляет о том, что предназначено, и о его сроках, о Дне мщения!". В мировоззрении ессеев, стоявших на этих позициях, появилась своеобразная бесчеловечная человечность, так что член общины мог о себе сказать: "Я никому не воздам за зло, добром я буду преследовать человека, потому что Бог будет судить все живое и каждому воздаст за его дела... Я не затею спора с людьми преисподней до Дня мщения, но моего гнева не отведу от людей неправды и не успокоюсь, пока Он не свершит правосудия".

Открытие ессеев (оно состояло в том, что зло можно одолеть добрыми делами) оказалось влиятельным фактором в мировой истории. Это открытие, как мы увидим, было далее развито Иисусом, и, кроме того, воспринято христианством независимо от Иисусова учения о любви. В наше время принцип невоздаяния за зло (Мф 5:39) был воспринят Ганди, который познакомился с ним через христианство и "привил" его к традиционному индийскому мировоззрению. Эта первоначально есеевская идея легла в основу пассивного сопротивления, посредством которого Индия добилась независимости.

История показала, что врага можно победить добрыми делами, даже не любя его и не делая его лучше. Одерживать такие победы хотели ессеи, однако два последних условия оказались трудновыполнимыми. Того, кому ты делаешь добро, в силу человеческой природы ты начинаешь любить. Но что еще важнее, если ты конкретному человеку делаешь подлинное добро (а подлинным оно может быть лишь тогда, когда ты этого человека хотя бы немного любишь), то своим поступком ты обычно делаешь его лучше. Те слои общества, которые, соприкасаясь с ессеями, одолели есеевскую идеологию ненависти, тем самым одобрили одно из ее следствий — принцип добрых поступков по отношению к врагам. В уже упоминавшихся "Завещаниях двенадцати патриархов", в особенности в "Завещании Вениамина", победа над грешниками силой любви становится важным моральным императивом. "Глаза доброго человека не слепы; он проявляет сострадание ко всем, даже к грешникам, даже если они замышляют зло против него. Делая добро, он побеждает зло, и

Бог защищает его... Дети, если ваши мысли устремлены к добру, то и злые люди будут в мире с вами, и беспутные будут бояться вас и обратятся к добру, и корыстолюбцы не только умерят свою алчность, но отдадут угнетенным свои излишки... У расположенного к добру нет двух языков: одобрения и проклятия, оскорбления и почтения, печали и радости, умиротворения и раздора, бедности и богатства, но у него — лишь одно чистое чувство ко всем. У него не дwoятся зрение и слух... Дела Велиала двусмысленны и нет в них простоты”.

В том же духе говорил Иисус: *Вы слышали, что сказано: "Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, след от удара за след от удара" (Исх. 21:24-25). А я вам говорю: противостоять не нужно злumu! Но если ударят тебя по правой щеке, подставь и другую. И тому, кто захочет... взять у тебя рубашку, отдай и плащ. И если кто-то принуждает тебя идти с ним милку, иди с ним две. Тому, кто просит у тебя, отдай, и у взявшего твое не требуй назад! Вы слышали что сказано: "Люби ближнего, как самого себя" (Лев 19:18). А я вам говорю: любите ваших врагов и молитесь за ваших гонителей — и вы станете сынами вашего Отца, пребывающего на небесах. Ведь по Его воле восходит Его солнце над злыми и добрыми и дождь льет на праведных и неправедных... Итак, будьте так же совершенны, как ваш небесный Отец (Мф 5:38-48).*

Согласно "Завещанию Вениамина", человек не должен говорить двумя языками — языком одобрения и языком проклятия. Только дела Велиала двусмысленны и "нет в них простоты". Иисус требует от человека цельности в любви к ближнему, поскольку такая цельность присуща Богу. Слова "глаз за глаз", как известно, уже в еврейской Библии не понимались буквально. [В еврейской Библии нет ни малейшего намека на практическое применение принципа "глаз за глаз". В раввинской литературе принцип равного возмещения за телесные повреждения был, по существу, отменен на том основании, что нет людей с совершенно одинаковыми частями тела, и заменен системой денежной компенсации (см., например, Бава-Батра, 83б-84а) — *Прим. перев.*]. Иисус хотел радикально изменить понимание этих библейских слов, истолковав выражение "след от удара за след от удара" в том смысле, что следует подставить для удара также и другую щеку. Подобное истолкование было в духе пиелистских кругов, соприкасавшихся с ессеями. В "Завещаниях двенадцати патриархов" рассказывается, как праотец Завулон, увидев зимой совершенно нагого нищего, похитил из дома одежду и отдал ее бедняге. Однажды, ничего не найдя, что можно было бы отдать бедному, он провожал его с плачем семь стадий, так как сердце его переполнилось состраданием к нуждающемуся.

От этих проникнутых ессеями идеями кругов Иисус усвоил убеждение, что не следует *противостоять злumu* и что Евангелие Спасения должно быть обращено непосредственно к бедным и изгоям. Принятый в этих кругах принцип, требующий одинакового отно-

шения ко всем людям без каких бы то ни было различий, Иисус развил в заповедь о любви к врагам, в требование любви, в особеннности по отношению к грешникам. Когда фарисеи упрекнули его за то, что он ест со сборщиками пошлин и грешниками, Иисус им ответил: *Во врачех нуждаются не здоровые, а больные, и при этом добавил: Я пришел призвать не праведников, но грешников* (Мк 2:16-17).

Парадоксальность своего отношения к общепринятой морали Иисус великолепно передал в притче о рабочих на винограднике (Мф 20:1-16). Один землевладелец, нанимая рабочих на свой виноградник, обещал каждому уплатить один динарий за работу в течение дня. Вечером он всем так и заплатил, независимо от того, какую часть дня каждый из рабочих фактически проработал. Это вызвало негодование тех, кто начал работу раньше других. Тогда владелец виноградника сказал одному из недовольных: *"Друг, я не обижаю тебя. Разве ты договорился со мной не за динарий? Возьми свое и ступай. А я хочу дать этому последнему столько, сколько тебе. Разве я не властен поступать со своим, как захочу? Или твой глаз завистлив, потому что я добр?"* Так, последние будут первыми, а первые — последними.

Представление Иисуса о справедливости Бога несоизмеримо, если можно так выразиться, со здравым смыслом. Его нельзя передать в четких рациональных категориях, но можно ощутить и осознать. Это представление выразилось в проповеди о Царстве, в котором *последние будут первыми, а первые — последними*. В рамках этого представления Нагорная проповедь неизбежно завершается Голгофой, где праведник погибает смертью преступника. Это представление содержит глубочайший нравственный смысл и одновременно находится по ту сторону добра и зла. А с такой "запредельной" позиции все "важное": расхожие добродетели и "сделанные" личности, земные звания и гордая кичливость формальным соблюдением Закона — все это и многое другое становится непрочным и тщетным. Сократ поставил под вопрос интеллектуальное достоинство человека, Иисус — его нравственную состоятельность. Оба были приговорены к смерти. Случайно ли это?

Перевел с немецкого  
Сергей Тищенко (Москва)

### ОКНО И ЗЕРКАЛО

Ключ к этой трудной повести — и ко всему трудному артистизму ее автора — скрыт в ничем не примечательном абзаце на 187-й странице. Во время одного из "допросов", протоколы которых, вместе взятые, составляют значительную часть книги, некто, именуемый "свидетелем", дает исчерпывающие показания на тему фирменного знака, выставляемого на телефонных корпусах некой абсолютно несущественной для действия фирмой, производящей эти телефоны. Сначала мы узнаем, что "телефоны этой фирмы легко было опознать на прилавках по их неуклюжему и жалкому внешнему виду... Видневшийся на них фирменный знак был также произведением искусства." Далее "свидетель" описывает сам этот знак: "На черной бакелитовой поверхности была изображена белая ваза, а может, клепсидра или бокал; но одновременно можно было понять, что эта ваза — всего лишь окаймленная контуром пустота, негатив, и стало быть оптический обман, тогда как настоящим позитивом, тем единственным, что реально, были два обращенных друг к другу профиля, всматривающиеся в себя как в зеркало; именно эти профили и составляли очертания вазы или клепсидры".

Клепсидра, которая одновременно является зеркалом, очерченная контуром, в котором скрыто зеркальное отражение человеческого лица, — трудно найти более подходящий символ для характеристики литературной магии Данилы Киша.

В критике не раз случается, что суть оригинальности художника лучше всего передает аналогия. Использование этого метода может, однако, направить нас по ошибочному пути. Перед смертью (в Париже, в возрасте всего лишь 54 лет) Данило Киш был уже провозглашен критикой чем-то вроде югославского Борхеса. Поскольку начитанный знаток современной культуры легко может сообразить, в чем состоит особенность прозы Борхеса, типичный рецензент может пользоваться этим именем, как достаточно известным исходным пунктом, по отношению к которому легче расположить и оценить творчество Киша. Но эта аналогия поверхностна; она не позволяет проникнуть к тем пластам совершенно разных исторических и личных переживаний, на основе которых каждый из этих двух писателей строит свой собственный, совершенно иной художественный мир.

Если уж искать параллель для Киша, то куда существенней будет его родство с Бруно Шульцем. Когда в феврале 1990 года на скромной церемонии в Нью-Йорке собравшиеся почтили память Киша присуждением ему посмертной премии имени Шульца, трудно было отделаться от впечатления, что в данном случае лауреат выбран удивительно точно. Он заслужил награду не только как "зарубежный писатель, недостаточно известный в Соединенных Штатах" (формулировка устава премии), но и, хотелось бы сказать, как южнославянское зеркальное отражение польского автора. Шульц и Киш — два собеседника в молчаливом диалоге, находящиеся по разные стороны той все более яростно переворачиваемой вверх тормашками клепсидры, которой в нашем столетии стала трагически запутанная история и многоплеменная география Центральной Европы. Их сходство не исчерпывается одной лишь, часто подчеркиваемой общностью их культурной, языковой и этнической родословной, их положением еврейских подданных бывшей австро-венгерской империи, живших на пограничье скрещивающихся традиций и духовных принадлежностей. Она не исчерпывается и указанием на ту роль, которую в художественных мирах обоих писателей сыграла полуреальная, полумифическая фигура отца; или обнаружением у обоих сходной тенденции к тому, что сам Шульц некогда назвал "мифологизацией действительности"; ни, наконец, извлечением из названий их книг общего мотива клепсидры — предмета, который явственным образом их одинаково зачаровывал.

Все это не исчерпывает их сходства, потому что их книги связаны множеством других, невидимых нитей. Чтобы отдать себе отчет в глубине этой связи, достаточно прочесть хотя бы первый рассказ из книги "Энциклопедия умерших" — последнего сборника Киша, опубликованного сразу же после "Клепсидры". Героем этого рассказа является некий Шимон-Маг, утверждающий, что "Бог апостолов — это тиран", который "ненавидит человечество". Чтобы доказать оппонентам, что чудеса Христа были не столько свидетельством его божественности, сколько средством оболыщания легковверных простаков, Шимон намерен инсценировать собственное чудо: он пытается взлететь в воздух. Сделав несколько отчаянных рывков и оттолкнувшись обеими ногами от земли, он действительно взлетает и исчезает в облаках.

Нет такого читателя Шульца, который не вспомнил бы при этом завершения одного из рассказов польского писателя — описания аналогичного вознесения отца рассказчика, уносящегося в просторы осенних небес. Не будет, надеюсь, воспринято как поиск дешевых аналогий, если я скажу, что усматриваю в этом сродстве мотива еще один общий обоим писателям символ их понимания искусства. Если современный писатель — это сегодняшний Шимон-Маг, то следует признать, что он действительно способен отрицать законы природы силой своего художественного воображения — хотя бы закон тяготения или самый нерушимый из всех, закон

необратимости времени.

Но магическое писательское воображение такого склада не является прерогативой одного только Шульца или Киша. Их объединяет и выделяет из множества других нечто большее: понимание того факта, что даже безграничное воображение художника имеет свою обратную, мрачную и грозную сторону. Демнургические возможности творческой мысли могут привести как к торжеству, так и к катастрофе. Достаточно поглядеть, что происходит с Шимоном-Магом вслед за той минутой, на которой мы превали изложение рассказа: жлепророк исчезает в облаках, но тут же вываливается из них, падает на землю и в конце концов погибает. О да, чудо может свершиться, но его конечные результаты оказываются столь же далеки от желаемых, как далека от чудесности тривальная реальность земного притяжения.

Киш не был бы Кишем, если бы история вознесения и краха героя не сопровождалась в его рассказе своим зеркальным, обращенным отражением. Ибо рассказ в "Энциклопедии умерших" — это история "чуда" Шимона-Мага, изложенная в двух версиях. Вторая повествует не о вознесении Шимона, а, напротив, о его нисхождении под землю: Шимон велит похоронить себя заживо, чтобы инсценировать собственное воскресение. Когда, однако, ученики выкапывают его гроб, они обнаруживают в нем только разложившиеся останки. Возвращение Шимона на поверхность земли из ее глубин, равно как и его падение на нее с высоты неба в первой версии легенды, приводит магическое повествование к реалистическому концу. И как падение Шимона и его эксгумация образуют пару зеркальных противоположностей, соприкасающихся на поверхности земли, так сама магия Киша находит свое отражение в его реализме. Все его взлеты ввысь и попытки проникновения вглубь кончаются возвращением на поверхность земли, на твердую почву человеческого опыта; или, точнее, демонстрацией читателю того факта, что автор эту поверхность, в сущности, никогда не покидал.

Хотя Киш никогда не писал стихов, он в действительности подлинный поэт — поэт зеркал, симметрий и отражений, в особенности — таких отражений, которые будто нарочно обманывают нас своим кажущимся сходством с отражаемым предметом, чтобы в конечном счете обернуться его отрицанием. Это не обязательно зеркала в дословном смысле слова или даже зеркала, наделенные какой-то волшебной силой, как появляющееся в одном из его рассказов магическое зеркало, в котором герои могут увидеть события, удаленные в пространстве или во времени. Куда чаще в произведениях Киша возникают зеркала в переносном смысле этого слова — как символ кажущегося тождества взаимообращенных или противоположных явлений. Эта парадоксальная связь может объединять как самые мелкие реалии изображаемого им мира, так и крупные элементы всей фабульной конструкции. Например, в другом рассказе из той же "Эн-

циклопедии умерших" этот принцип зеркального отражения (использованный, впрочем, более в документальных, чем в художественных целях) позволяет показать, как некая политическая брошюра малоизвестного французского автора 19-го века, нечто вроде пророчества антитоталитарного склада, полвека спустя находит свое обращенное — и извращенное — воплощение в "Протоколах сионских мудрецов" — книге, которая способствовала распространению тоталитарной ментальности, пожалуй, больше, чем всякая другая.

Из всех известных мне произведений Киша (кроме "Клепсидры" я знаю также "Сад, пепел", сборник рассказов "Надгробие для Бориса Давидовича" и уже упомянутую "Энциклопедию умерших") "Клепсидра" — художественно самое совершенное; это повесть, в которой всепроникающий мотив зеркала и зеркального отражения звучит как сквозная музыкальная тема необычайно сложной фуги, не только повторяемая на разные голоса, но и поворачиваемая во всех мыслимых ракурсах, подвергающаяся миниатюризации и дроблению, модулируемая на все лады и преобразуемая в бесчисленных вариациях. Этот мотив составляет здесь основной элемент изображаемого мира и выстраиваемой автором фабулы и одновременно, на глазах читателя, выявляется как принцип, на котором держится конструкция этого мира и метод развертывания сюжета. Лейтмотив этот можно уловить на всех уровнях повести, от самых реалистичных деталей (когда герой намеревается написать письмо, он вынужден использовать обрывок газеты, на котором "первые слова письма проступали словно в зеркале, как будто были написаны на иврите") до целых фабульных кусков (когда тот же герой вспоминает, как на него напала стая одичавших псов, его воображение почти автоматически обращает перспективу и позволяет ему увидеть себя глазами одного из псов). Но еще существенней, что весь повествовательный строй "Клепсидры" напоминает пару обращенных друг к другу зеркально идентичных профилей. Изложение событий в ней ведется способом, крайне далеким от непосредственного, — в основном, посредством диалогов той или иной пары героев. В таких парах по одну сторону всегда оказывается допрашиваемый "свидетель" или "подозреваемый", по другую — допрашивающий его следователь.

Эта фабула, если здесь вообще применимо такое слово, развертывается в высшей степени непривычно. Киш как бы демонстративно игнорирует главную обязанность рассказчика — даже рассказчика современных историй, тоже уже далеко ушедших от бальзаковских или иных условностей прошлого века, — а именно, обязанность хотя бы намекнуть читателю на первых страницах произведения, кто такие его герои и где они размещены в пространстве-времени повествования. Вместо этого он предлагает нам пространное и невыносимо детальное описание какой-то комнаты (где контур керосиновой лампы оказывается первым намеком на мо-

тив зеркала-клепсидры) и сидящего в ней мужчины, который собирается написать какое-то письмо. Но мы не получаем никакого внешнего комментария, никакой вспомогательной информации о том, кто этот мужчина, каково его прошлое или связь с окружающим, когда и где происходит действие и каким образом намерение этого человека написать некое письмо соотносится с безнадежно застрявшим на месте сюжетом.

Постепенно мы начинаем догадываться, что крайняя детализованность этого описания призвана показать, что рассказчик и сам не имеет какой-либо исходной информации, каких-либо предварительных представлений или "готовых" схем, с помощью которых он мог бы интерпретировать и оценить изображаемых людей и события. Дело выглядит так, будто рассказчик и есть следователь, который начинает свое следствие с того, что внимательно разглядывает снимки, оказавшиеся в деле подследственного, и, прежде чем делать какие-либо выводы, пытается подробно, последовательно и объективно описать то, что на этих снимках запечатлено. В этот момент мы чуть ли не воочию видим его близорукий профиль, нависший над застывшим изображением так низко, что охватывающее их пространство действительно сокращается до объема вазы или клепсидры, контур которой очерчивает символический негатив всего "расследования".

Лишь через какое-то время мы начинаем встречать рассеянные там и сям на читательском пути редкие намеки, дающие обрывочную информацию о времени, месте и ходе действия. Намеки эти становятся особенно частыми с того момента, когда повествование-следствие переходит от статичных описаний к другим формам рассказа. Как в настоящем досье какого-нибудь уголовного дела, содержащем наряду с отчетами следователя также протоколы допросов и показания свидетелей, так и в повести Киша описательные куски, с их общим заголовком "Сцены путешествия", постепенно начинают переплетаться с написанными от первого лица "Записками безумца" (как можно догадаться, отрывками из дневника героя) и диалогами, озаглавленными "Уголовное расследование" или "Допрос свидетеля". Постепенно из этого "следственного дела" вырисовывается все более конкретный образ героя (именуемого также "автором письма") и его жизненных обстоятельств. Впрочем, вместо слова "образ" правильнее было бы воспользоваться словом "профиль" — зеркальное отражение профиля следователя, отделенного от героя шириной письменного стола.

Но это не только стол следователя, но и стол писателя. В конце концов мы догадываемся о самом существенном: роль следователя в сущности исполняет в повести сам автор. Более того, допрашиваемый им свидетель-обвиняемый есть не кто иной, как его собственный погибший отец. Вот почему их профили так подобны. Этот факт открывается нам постепенно, урывками, и мы обречены на мучительный труд реконструирования истины из медленно накапливающихся, внешне малозначащих крупич

информации. Так мы узнаем, что автора письма зовут Э.С. (читателя, знакомого с творчеством Киша, это тотчас отсылает к повести "Сад, пепел", в которой отец героя выступает под именем Эдварда Сама); что это 53-летний железнодорожный служащий на пенсии, проживающий в районе города Новисад (населенном сербами и хорватами, но принадлежащем Венгрии); что время действия — 1942 год и стало быть этот район подчиняется власти пронацистского режима Хорти; что Э.С. — еврей и потому вынужден носить желтую звезду Давида и подвергаться непрерывным унижениям; что он ограблен и вместе со своей голодной, нищей семьей живет теперь в нужде, не имея постоянного крова, кочуя с места на место, отданный на милость родственников и не торопящихся с помощью друзей (впрочем, тоже один за другим гибнущих в известковых ямах массовых расстрелов); что, коротко говоря, все это детальное, соблюдающее все формальности и приметы рациональной объективности следствие происходит в самом центре урагана, именуемого ужасом и хаосом еврейской Катастрофы.

Этот фон происходящего за рамками рассказа уничтожения европейских евреев заполняет своим непроницаемым мраком узкую, подобную клепсидре, щель между профилями следователя и подследственного, образуя "негатив" по отношению к "позитиву" их традиционной, до-варварской логики, риторики и этикета. Эта последняя по счету антиномия полностью выявляется лишь под конец повести, когда текст, до той поры составлявший средство разворачивания сюжета, наконец-то сообщается нам целиком. Этим текстом оказывается письмо, которое Э.С. написал сестре незадолго до окончательной гибели — своей собственной и всей своей семьи. (Мы узнаем также — не из самой повести, а из слов на обложке книги, — что Киш использовал подлинное письмо своего отца.) Встающая со страниц этого письма картина ничтожества и подлости толстокожих родственников, которая в пишущем порождает гнев и отчаяние, у нас все еще вызывает ощущение, что перед нами "позитив" обычного человеческого общества — во всяком случае, по сравнению с "негативом" массового расчеловечения, которое должно наступить вот-вот и отделено от описываемых событий всего лишь парой песчинок в клепсидре истории. Ясное сознание этой неизбежности, которая для Э.С. является всего неясным предчувствием, образует последнюю, не названную автором открыто, но отчетливо видимую в зеркале его повести картину.

"Зеркало повести", "повесть как зеркало" — не ведут ли, однако, эти затертые сравнения в ловушку упрощений? Известное определение Стендаля (литература как отражение мира) уже не раз завлекало критиков в такую ловушку, заставляя их видеть в реализме "зеркало" окружающей действительности. Но дело в том, что функция зеркала на самом деле куда сложнее, чем простое "отражение", механическое воспроизведение окружающего. Лучше других сказал об этом Джеймс Меррилл в своем сти-

хотворении, так и названном "Зеркало". Меррилловское Зеркало обращается к Окну со словами: "Ты охватываешь весь мир, не заботясь о порядке. На это большого ума не надо." То же самое могла бы сказать повесть Киша, обращаясь к реализму привычного типа — реализму, попросту "отражающему", "не заботясь о порядке" и без особого "ума", окружающий мир. Речь не идет о принятом разделении литературы на "традиционную" и "современную": примеры "отражающей" литературы можно найти и в "натурализме", и в "авангардизме", и в "постмодернизме" — этикетка не имеет значения. Строго говоря, в этой литературе нет даже зеркального отражения — она предлагает нам всего лишь вырезанный из целого кусок мира во всей его бесформенности и кажущейся бессмысленности, подобно тому, как это делает любое окно, — равнодушно и без всякой попытки сознательного отбора.

Случайность "оконного пейзажа" противостоит "отбору", который совершает зеркало (или, если уж быть совершенно точным, — те, кто смотрит в зеркало). Окно видит только проходящий мимо него, спешащий по своим делам мир; перед зеркалом мир останавливается, чтобы посмотреть на себя. Рама зеркала — больше напоминающая раму картины, чем окна, — охватывает и замыкает определенный кусок мира, выбор которого определяется имманентной целью и противостоит хаосу и случайности; между замкнутым в зеркале отражением и отражаемым предметом устанавливаются принципиальная симметрия и соответствие. Данило Киш — один из немногих в наши дни писателей, заслуга которых, среди прочего, состоит еще и в том, что они дают нам понять, каким неактуальным и несущественным стало сегодня бытующее разделение литературы на "реалистическую" и "креационистскую", на ту, что опирается на "жизненное правдоподобие", и ту, что называют "фантастической", на ту, что питается материалом "истории", и ту, что надисторично "метафизична", на ту, что делает ударение на "этике", и ту, что подчеркивает "эстетику". Что толку с такого разделения в литературе, коль скоро оно не оправдывается в самой жизни — коль скоро, например, гипотетическая повесть, которая захотела бы "реалистически" описать события 1989 года в Восточной и Центральной Европе, должна была бы рассказывать о фактах, не имеющих никакого "жизненного правдоподобия"? Единственное разделение, которое и по сей день сохраняет свое значение, — это разделение на два типа писательского отношения к миру: отношение Окна и отношение Зеркала; это противостояние литературы, ограничивающейся пассивным ухватыванием образа мира, литературе, "упорядочивающей" его посредством "сознательного отбора".

Я привел пример Восточной и Центральной Европы, поскольку здесь сама действительность последних лет так четко продемонстрировала ограниченность традиционного понятия "реализма"; но это отнюдь не означает, будто литературе этих стран свойственна исключительно оп-

тика Зеркала. Напротив, именно здесь доминирует оптика Окна. Впрочем, почти так же обстоит дело и в большинстве современных литератур Запада. И тем не менее есть что-то такое в самой атмосфере восточно— и центрально-европейских стран, в их историческом опыте, что порождает именно в их литературном пространстве пусть немногочисленные, но самые яркие образцы творчества, "совершающего отбор" и этим "упорядочивающего" мир. После всего, что пережил этот регион в уходящем столетии, утверждать, будто в мире властвуют одни лишь хаос и случайность, было бы не только упрощением и тривиальностью, но также чем-то расходящимся с личным опытом каждого здешнего человека. Речь идет не об одном лишь факте краха коммунизма; куда важнее увидеть, что под покровом кажущегося хаоса человеческая действительность представляет собой игру определенных сил и факторов истории. И не случайно, что именно в Восточной и Центральной Европе появилась группа самых замечательных представителей литературной оптики Зеркала.

При этом они совершенно различны. Рассмотрим четыре примера, взятые из четырех разных национальных литератур и представляющие четыре разные биографии, четыре разных стиля и четыре разных типа жанровых пристрастий: польского поэта (и первого лауреата премии имени Бруно Шульца) Збигнева Герберта; русского писателя, покойного Юрия Трифонова; чешского драматурга Вацлава Гавела; и наконец сербохорватского эмигранта прозаика Данилу Киша. Трудно было бы найти во всей современной литературе четырех других писателей, имеющих — по крайней мере, на первый взгляд, — так мало общего друг с другом. Что объединяет такого хотя бы Трифонова, который всю жизнь оставался в рамках традиционного реализма, с дерзким литературным экспериментатором Кишем? Что общего между античными поэтическими параболлами Герберта и современными гротескными одноактовками Гавела? Но стоит на миг забыть о стандартных критических этикетках, чтобы тотчас увидеть в творчестве четырех этих авторов некое глубинное, но явное сходство.

Это сходство состоит как раз в присущем им всем фундаментальном убеждении, что, вопреки всем кажимостям, человеческий мир не сводится только к хаосу и случайности и не лишен ценностей и смысла. Герберт разрабатывает понятие общечеловеческого "наследия ценностей", на которое имеют права даже самые, казалось бы, бесповоротно отлученные и обездоленные. Трифонов, рисуя духовную опустошенность постсталинской России, никогда не отказывается от позиции моралиста: проявления добра, как и проявления зла, не существуют для него отдельно друг от друга, "жизнь, — пишет он в одной из повестей, — это система, в которой неким таинственным образом и в согласии с каким-то высшим планом все переплетается со всем." Гавел — на первый взгляд, сатирик, высмеивающий абсурд иной — политической — системы, предлагает аналогичную

трактовку жизни, в которой "все, что произошло, может перепроизойти" и каждый человеческий поступок оказывается элементом "памяти Бытия" и соотносится с его "Абсолютным Горизонтом", этой "единственной надежной защитой перед небытием". И, наконец, Киш творит свою этически максималистскую картину человеческой истории, в которой "каждый человек сам себе звезда, все происходит всегда и никогда, каждое событие повторяется до бесконечности и тем не менее остается неповторимым".

В таком понимании единственное, что заслуживает названия "истории" — это "сумма человеческих судеб, тотальная совокупность эфемерных событий". Книга, которая пыталась бы запечатлеть такую историю, как раз и должна была бы стать "Энциклопедией умерших" из одноименного рассказа Киша — нескончаемой книгой, в которой описывались бы все, даже самые незначительные человеческие жизни и все, даже самые тривиальные события этих жизней. И хоть реализовать такой замысел полностью невозможно, в словах Э.С., завершающих собой "Клепсидру", звучит отголосок веры самого Киша — веры в то, что литература, вопреки всем своим слабостям, способна что-то сделать для человека: "Если даже все прочее погибнет, быть может уцелеет мой гербарий, или мой дневник, или это письмо, ибо что же они такое, как не конденсированная, овестьленная идея; овестьвленная жизнь; мизерное жалкое торжество человека над безмерным, безграничным, божественным небытием. А может — если потоп поглотит даже это — уцелеет мое безумие и мой сон, подобные северному сиянию и отдаленному эхо. Может, кто-то увидит это сияние или услышит это отдаленное эхо, тень былого звука; может, он поймет смысл этого сияния и этого эхо. Может, этим человеком будет мой сын, который когда-нибудь опубликует мой дневник и мой гербарий растений паннонийских равнин (незавершенный и неполный, как все человеческое). Все, что сопротивляется смерти и побеждает ее, даже самое мизерное и жалкое торжество над вечным небытием, составляет доказательство величия человека и милости Яхве. Non omnis moriar."

Искусство Киша — это искусство зеркальных отражений, теней и отголосков — теней симметрии и отголосков соответствия, в которых человеку открывается скрытый смысл бытия. Одновременно, как и в случае Герберта, Трифонова и Гавела, оптика Зеркала в варианте Киша напоминает о чувстве ответственности. В противоположность Окну, равнодушно и одинаково открытому всему окружающему, Зеркало устанавливает фундаментальную связь между объектом и его отражением; а там, где возникает связь, там тотчас кончается случайность и немедленно возникает ответственность.

И тут мы оказываемся перед самым удивительным, пожалуй, парадоксом той литературы, представителем которой является Данило Киш. Нам, привыкшим к традиционному делению, писатели такого рода могут показаться поклонниками бескорыстной игры воображения и языковых

экспериментов, чистыми эстетам, затерянными в своих галереях зеркал. Между тем именно эти галереи терзают их совесть тысячекратным отражением страдающего человеческого лица. Именно там рождается та высокая этика ответственности, которая так остро ощущается у авторов, подобных Кишу. И там же рождаются их метафизическая глубина: зеркала их книг не только сознают, что мир существует и, застыв перед ними, требует отражения; они сознают также существование "другой стороны", той анонимной "воли" более высокого порядка, которая постоянно таится за реальностью. Зеркало Меррилла кончает свой монолог следующими словами: "Я ощущаю взгляд сзади, оттуда, где нет никого, который своим ледяным холодом обжигает мое нутро и безликой воле которого я должно подчиниться."

Это мог бы повторить за Мерриллом и рассказчик повестей и рассказов Киша, этой мозаики зеркальных обломков, в которых отражаются уменьшенные дробностью образы нашего мира. Западному читателю эти отражения, как бывает обычно в вогнутых зеркалах, могут показаться чересчур резкими, лишенными смягчающей дымки сентиментальности и привычных условностей. Для такого читателя следовало бы помещать на обложке каждой из книг Киша специальное предупреждение — то самое, которое западный человек ежедневно видит на зеркальце своей "Тойоты": "Предметы, отраженные в зеркале, на самом деле ближе, чем это видится в нем."

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

*предлагает!!!*

**АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ.** По ту сторону успеха.  
304 стр.

Книга статей известного ученого и публициста включает философские размышления, порожденные встречей с уникальной действительностью реального Израиля.

**НИНА ВОРОНЕЛЬ.** Кассир вечности (пьесы и эссе).  
Худ. Г. Веницкий. 357 стр.

Книга, равно обращенная к тем, кто ищет в литературе остро сюжетного драматизма, и к тем, кто хочет понять окружающую жизнь.

*В отличие от статьи С. Баранчака, статья известного советского критика Л. Аннинского представляет собой своего рода "размышления о еще не опубликованной книге". Речь идет о книге Аб Мише (псевдоним Анатолия Кардаша) "Черновой вариант". Написанная несколько лет назад и ставшая крайне популярной в советских еврейских кругах, она до сих пор не может найти издателя, опубликована (в "22" № 65) только одна глава из нее, посвященная восстанию в Варшавском гетто, и журнал готовит к публикации некоторые другие главы. Остается надеяться, что сейчас, с переездом автора в Израиль, книга найдет наконец, дорогу к широкому читателю.*

---

*Лев Аннинский*

### ДЕЛО В ЕВРЕЯХ?

*" — Я не думаю, что нас там  
бардзо любят, но... все-таки..."  
Аб Мише. Из диалогов.*

Если бы евреев не было, их надо было бы выдумать. Их роль могли бы сыграть цыгане... армяне спюрка... негры...

"...Соседи, сослуживцы", — иронически продолжает подобный ряд Аб Мише. Ремарк когда-то продолжил иначе: "евреи... и велосипедисты". Сегодня в одном ряду с евреями фигурируют масоны, либералы, космополиты, интернационалисты, христиане, интеллигенты и т.д., у кого что болит, причем эти ряды составляются без всякой иронии. "Еврейский вопрос", как и при всяком очередном повороте истории, оказывается как бы символической осью поворота. Или точкой опоры, в зависимости как раз от того, что и как у кого болит.

Этническое происхождение, состав крови и прочие природные изъяны тут не при чем. Споры о том, кто такие хазары, или о том, в каком генетическом отношении к древним иудеям находятся люди диаспоры, — не добавляют к еврейской теме ровным счетом ничего и ничего не убавляют от нее, разве что варьируют эмоции, но эмоции и так варьируют при каждом повороте.

Однако евреи рождаются от евреев? — скажете вы. — Это чего-нибудь да значит.

Конечно, значит. Если бы я был привычен к религиозной системе доказательств, я сказал бы, что Бог испытывает наш разум, привязывая еврейство к некоей генетической базе, к некому "древу", корни которого уходят в пустыню и теряются в древности. Он лишь добавляет нам еще один соблазн: соблазн "крови". Но даже если возможно проследить "сосуды", "каналы", "капилляры" в стволе и в "древе", — остается вопрос: что за со-

ки движутся в сосудах, какова кровь, текущая в этих сосудах, — разве это не кровь человечества? На улицах Иерусалима я видел людей, по внешности неотличимых от китайца, от эфиопа, — и все это были "евреи". Не говорю уже о всей гамме европейских типов, оказавшихся в этой нише. Лазейка есть: евреи рождаются не от евреев — они рождаются от евреек; сколько какой крови втекло в материнские жилы от отцовских чресел — кто считал? Какая вообще может быть евгеника в перемешавшемся человечестве?

Дело не в крови — дело в судьбе. Когда Аврам и люди его клана откочевали из Ура халдейского и расчищали себе место в стране обетованной, — евреи они были или не евреи? Скорее, они были — "переселенцы", а лучше сказать: разбойники, не хуже тех, от кого они очищали себе страну обетованную. Когда Аврам стал Авраамом и возлюбил единого Бога больше, чем родного сына, — и это еще не было драмой еврейства, но лишь зачином драмы, которой суждено было развернуться в человеческой истории в трех действиях: иудаизм — христианство — ислам. Диаспора — вот драма еврейства. Корни, вырванные из почвы и повисшие в воздухе. Самоощущение верности, не опирающейся "ни на что" — только на самоощущение верности же. Тонкая нить "материнского тела" лишь страхует этот смертельный номер, а смысл его хорошо выразил Бен-Гурион: "еврей — это тот, кто называет себя евреем". Драма еврейства — это драма отверженности, драма изгойства. Быть евреем — значит добровольно пребывать в зоне, покрытой тенью — "антисемитизма".

Поэтому двенадцатикратно прав Аб Мише, начиная свой эпос, свой "Черновой вариант" от обратного: от тени. Тень еврейства — антисемитизм. Три обоснования: идеологическое, историческое, правовое. Затем — техника исполнения. Затем — восемь сфер применения: от медицины до наробраза и от досуга до "кадровой" политики. Некоторая логическая чресполосица этих "антисемитий" и "фобий" передает бессмыслицу, вернее, неопределимость, размытость, запутанность самого феномена. Нет ничего более пестрого, противоречивого и "несводимого", чем антисемитизм. При всей простоте (эмоциональной) его невозможно свести к какой-либо ясной модели и к единой логике. Реальная реакция реальных людей на реальное зло, которое они претерпели от евреев (ну, скажем, среди граждан Третьего Райха — зависть немецких лавочников к еврейским, спокон веку жившим с ними на "той же улице") совмещается в мифологии антисемитизма с суеверным страхом людей, никогда и близко не видевших ни одного еврея, — и однако укладывающих в этот образ все неясное, чужое, неродное, непредсказуемое, "нечистое".

Можно ли проанализировать этот феномен?

Можно. Можно пройти "до конца" (то есть до истока) по любой из нитей, сплетающихся в этот клубок, объяснив тот или иной случай антисемитизма. Но клубок на то и клубок, чтобы в его нитях запутываться. Ты-

сячи новых нитей будут выпадать из перенасыщенного раствора. Зеленеет болото буйно, а дна все равно нет. Модель окаянства маячит перед взорами людей: в модель нужно кого-то вставить. Еврей привычен в этой мировой роли. Но актера можно и заменить.

Можно? В умпостигаемой модели — да. Но как "заменишь" слезы, за тысячелетия пролитые этими, а не теми людьми? Как "заменишь" пражское еврейское кладбище, горбом, холмом, грудой гробов выпершее из земли, потому что земли не было? Как забудешь испанский эдикт 1492 года: скорбное отплытие изгнанников из тех же гаваней и по тем же волнам, по которым тогда же отправился Колумб искать Индию? Искал Индию — нашел Америку: пятьсот лет мир празднует эту ошибку, а помнит ли — судьбу двухсот тысяч изгнанников? А могильные надписи на стенах маленького германского Регенсбурга — кладбищенские плиты с еврейского кладбища пошли после погрома на "строительство домов"; погром был почти пятьсот лет назад — надписи видны сейчас. А миллионный счет еврейской катастрофы в XX веке — по историческому счету "только что" — как это забудешь и как, чем "подменишь в модели"?

Людям, имеющим вкус к построению антиномических пар в духе кантовских, можно предложить для последующей рефлексии два взаимоисключающих суждения, каждое из которых верно:

- а) дело вовсе не в том, что это евреи;
- б) дело именно в том, что это евреи.

Между абстрактно верной гуманистической идеей и практикой истории, которая наполнила идею морем страданий и которую не вернешь и не "переиграешь", — между этими непреложностями натянуто такое внутреннее напряжение, что в этом поле плаваются и "текут" новыми смыслами сто раз читанные цитаты.

Аб Мише на этом все и строит. Он "знает" итог, смысл, урок: дело не в национальности, дело в личности, на которую пало (или не пало) клеймо. Но это знание пропущено через боль людей, которым было не до "личности": их сбили в стада, их заклеямили, обрекли на бойню. Кто сбил, кто обрек и заклеимил? Такие же стада, классы, армии, команды, банды, "теоретические школы". Клеймены все. "Век Освенцима. Век гетто. Век бунтов и усмирений. Евреи — модель. Но эта модель выщеплена из шести миллионов трупов. Ни одно свидетельство не отдает архивом — все пахнут кровью".

Хотя извлечены — из архивной памяти: из книг. Жанр, в котором работает Аб Мише, может показаться причудливым: монтаж цитат, иногда прослоенных... даже не комментарием, но как бы дневником автора. Эти авторские записи не толкуют чужих свидетельств, но вторят им. Или: идут контрапунктом. Книга, построенная на выдержках из других книг, — не "научна", она музыкальна от первой до последней строчки.

Искусственность жанра — кажущаяся. Он для нашего времени естест-

вен. Мы давно подготовлены к такого рода сводам. Сейчас "постгутенберговская эпоха": мир привык к цитатам, свидетельствам, выдержкам, высказываниям, фактам, извлеченным из потока. На таких выдержках строятся мифологии: и теперь, и всегда. Любое высказывание, "вырванное из контекста", тут же попадает в другой, куда более вязкий и властный контекст — в непрерывную идеологическую тяжбу сторон (множества сторон!), которая составляет своеобразный всеобщий фон реальности — в XX веке более, чем когда бы то ни было. Катехизисы не открытие нашего времени, но что искусство монтажа становится ключевым именно в наше время, — факт. Недаром кинематограф — главное действующее лицо в хороводе муз нового времени. И недаром в поэзии сострачиваются целые "одеяла" из кусочков чужой речи — целтоны. И недаром в прозе — от Дос Пассоса до Солженицына — "камера обскура", "экран", "бюро вырезок"... Книжки, подобные "Черновому варианту" Аб Мише, — не новость в смысле жанра: в 60-е годы я держал в руках подобную рукопись, посвященную исторической эпопее русских: ее автор, Ростопчин, не мог напечатать свой труд на родине; он уехал в Голландию; я не слышал, чтобы он издал ее и там, но рукопись была.

Слава Богу, Аб Мише имеет возможность донести свою еврейскую эпопею до читателей. Это жанровое определение — от общего впечатления и от чувства сверхзадачи, но не от "техники": техника необычна: здание выстроено не из кирпичиков, а из блоков. То есть из "цитат".

Издержки этого способа понятны. Возьму пример из сферы, мне относительно знакомой.

Приведа цитату из малоизвестной работы Н.Лескова "Еврей в России", Аб Мише комментирует ее одной фразой: "был антисемит и — очнулся". Это, строго говоря, некорректно: Н.Лесков никогда не был антисемитом. И он вовсе не "очнулся" в 1882 году, когда по заказу петербургской еврейской общины составил (анонимно) свою "справку". В его отношении к евреям: от детской жалости к беженцам до осознанной защиты еврейских прав в зрелости — есть постоянство и последовательность. Такие рассказы, как "Жидовская кувыркколлегия" или "Ракушанский меламед", не доказывают ровно ничего, кроме того, что Лесков выводит свои типы, совершенно не стесняясь национальностью: ни еврейской, ни английской, ни русской (так ведь и из "Левши" можно вывести англофобию). Симпатии и антипатии? Да, были. Любил чехов, а поляков недолюбливал. К немцам и французам — с бо-ольшими оговорками. Жестче же всех был — к русским. Но ведь это же совершенно другая сфера: симпатии и антипатии: тут человек волен. Главное-то что? — позиция! И тут, конечно, никакого "антисемитизма" Лескову не прилепишь. Равно, как и "покаяния" в брошюре о евреях. Он ведь не потому защищает в ней евреев, что это еврей, а потому, что — гонимые.

Опять врезаемся в тот же тупик: но гонимые-то "еврей"! И Лесков не в

безвоздушном пространстве писал свой трактат — он писал его для комиссии графа Палена, а комиссия исследовала причины погромов, впервые произошедших в Российской Империи. Все это осуществлялось в потоке реальности, которая шла, сминая, смывая и переозвучивая отдельные голоса.

Вот и вся разгадка. В лесковском контексте высказывание звучит по-одному. А в еврейском контексте — по-другому. Вырос человек — в одном "потоке": в полном отрыве от "еврейского контекста", в полном спокойствии по поводу "еврейского вопроса", в полной относительно него невозмутимости. А попал человек в другой поток: в ситуацию погрома — и уже не может вырваться, не может быть спокоен, не может не возмутиться.

Книга Аб Мише — именно о потоке. О потоке слез, о потоке крови, о потоке лжи относительно евреев. То-то и страшно, что все идет — потоками. То и опасно, что один поток гасится другим — потоком же.

Я должен акцентировать здесь одну весьма важную и весьма тонкую проблему. Не потому, что Аб Мише сам не чувствует, — он чувствует. Но логика, по которой несетя в его книге "лавина слов" — лавина цитат и контрцитат, — настолько заразительна, что следует принять особые меры для равновесия.

Фр. Энгельс: "...мы евреям очень многим обязаны... Маркс был чистокровным евреем; евреем был Лассаль..."

Так. А если бы Маркс не был евреем? Что, в этом случае евреи бы больше заслужили Освенцим? Защищая евреев по вполне понятной логике "сшибания потоков", мы попадаем в опаснейший водоворот, ибо для того, чтобы признать право людей на жизнь, на достоинство и имя, вовсе не надо, чтобы они были "хорошие". Это — другая логика.

Есть простейший способ проверки: заменить "евреев" кем-нибудь другим. И посмотреть, возникнет или не возникнет эффект идиотической ситуации. Итак. Если Декарт был антисемит, если в Третьем Рейхе теорию относительности считали "еврейскими штучками", то в ответ можно все это и вывернуть: "Мировая наука многим обязана евреям..."

Теперь заменяем слово: "Мировая наука многим обязана новозеландцам". Годится? Вполне. "Резерфорд не даст мне соврать", не так ли? Идиотизм ситуации очевиден: Резерфорд стал великим физиком не потому, что был новозеландцем и не в качестве новозеландца. Равно, как и не в качестве британца, канадца и т.д. Но ведь и Эйнштейн стал великим физиком вовсе не в качестве еврея! Наука — это вообще не еврейские, не русские, не британские и не немецкие штучки. Это штучки общечеловеческие. То же — и мораль.

В борьбе с антисемитизмом не надо доказывать, что евреи "хорошие". Право на достоинство должен иметь любой человек и любой народ, независимо от того (и ДО того), как мы оцениваем его качества. Разрешение

"еврейского вопроса" таится не в "национальной сфере", не в том, хороши или плохи те или иные евреи и как к ним относятся те или иные "неевреи". Достоинство народа коренится в достоинстве личности — независимо от "качеств". Иначе мы никогда не выберемся из логики Освенцима.

Аб Мише хорошо чувствует и эту логику, и то, что ей должно противостоять. Есть логика "национальных чувств", "массовых движений" и "контрдвижений". И есть логика поведения личности, часто — наперекор движениям, хотя еще чаще — в плену у них. Соотношение двух этих "мелодий" составляет контрапункт, монтажный принцип, внутренний сюжет книги. Легко уловить, скажем, что виртуозно исполненные монологи из главы "У костра" построены на "отрицании ожидаемого". Оратор, обладающий всеми признаками "долдона" и мыслящий вроде бы блоками политинструкций, доказывает, что евреи "воевали, как положено" и даже лучше других, хотя, по психологической фактуре, должен был бы доказывать, что "Абрам торгует в коопе". Меж тем, другой оратор, нервный, начитанный, подчеркнуто интеллигентный, цитирующий "Хулио Хуренито" и начинающий с фразы "Я — еврей", — как раз, вопреки ожиданиям, обрушивает на евреев презрение, как на "баранов, покорно идущих на бойню". Кто из этих двоих прав, — в данной точке не решишь. Но возникает как бы магнитное поле абсурда, в котором человек должен нащупать линию поведения, а реализует ли он себя как личность и как реализуется, — не угадаешь и не предпишешь.

Не угадаешь даже, "евреями" ли они себя реализуют. Не в том дело. Ни Дионисий, ни Корчак евреями себя не ощущают, они — христиане, они — ведут себя просто как люди... Меж тем, потомок казака Непейчары как раз чувствует себя евреем, и именно в этом качестве реализуется как человек. Кроткий учитель, ведущий своих воспитанников на смерть, и боевик, отстреливающийся до последнего патрона в развалинах гетто, — равно святы, потому что судьба могла бы поменять их местами, и в противоположных обстоятельствах они нашли бы — каждый — единственный путь спасти достоинство. Обстоятельств не выбирают: в стадо ли овец попадешь или в стаю волков, — выбирают путь внутри этих обстоятельств.

И уж тут — не судите. Но почувствуйте, кто на что пошел и кто чем рискнул. От кого ждали и от кого дождались. Пестра жизнь, страшна, непредсказуема. Есть потоки, есть омуты, и есть капли, которые сливаются в потоки и скапливаются в омуты.

Чаще всего личность реализуется — именно вопреки ожидаемости.

"Типичный львовский жулик", взяточник и осведомитель, узнает, что директор одной из библиотек прячет еврея. Он должен был донести гестапо, но, вместо этого, "полюбив скрывающегося" начинает его подкармливать.

Врач-гинеколог — еврейка, которую в Сорочинцах крестьяне прятали от немцев, вынуждена выйти из укрытия, чтоб помочь разродиться жене

старосты. Она спасает и рожицу, и младенца. Староста ее благодарит, а потом доносит немцам: обрекает на расстрел.

Известно имя фон Рата, немецкого дипломата в Париже, застреленного в 1938 году еврейским юношей Гершелем Гриншпаном, решившим таким образом отомстить Германии за антисемитскую политику. Похороны дипломата были обставлены в Райхе как национальная трагедия, вызывающая к возмездию: Гитлер в скорбной позе сидел в первом ряду: снимок обошел газеты.

Менее известно другое: что отец убитого дипломата был во время войны назначен на крупный правительственный пост, связанный с "решением еврейского вопроса". Все ждали, что отец будет мстить евреям за убитого сына, а он... тайком помогал им.

Человек себя не знает. Он может оказаться выше себя, ниже себя. Две бездны переглядываются в его душе.

Аб Мише достаточно скептичен в отношении человека, и это можно понять. Сопоставляются высказывания Владислава Гомулки в 40-е и в 60-е годы. Вождь коммунистического подполья, в 1947 году заявивший, что евреи воздвигли себе нерушимый памятник славы, восстав в гетто против своих убийц, двадцать лет спустя, став вождем коммунистического государства, объявляет евреев "неполноценными гражданами" и спроваживает из Польши в изгнание. Можно ли ему верить?

Можно ли верить Герингу, когда он, стоя перед Нюрнбергским трибуналом, ругает немцев? Когда он, Геринг, читая в газетах о боях палестинских евреев с англичанами, заявляет, что "счел бы за честь воевать вместе с евреями"?

Можно. Можно верить. С чего бы ему, Герингу, врать-то на пороге смерти? С чего бы и не быть искренним? Ситуация переменилась, обрели евреи силу, потеснили британского льва — отчего бы и не отдать им должное? А была ситуация, когда гетто топили в крови, — топил и Геринг. Это люди массы, люди обстоятельств. Вожди масс. Повелевают и подчиняются — по закону борьбы, по закону силы. Или — "у горла", или "под каблуком", — как сказал пронциательнейший из них, Черчилль. Конечно же, Гомулка был искренен, когда склонял голову перед героями гетто, легшими за общую победу, но нет никаких оснований подозревать его в неискренности, когда через четверть века после победы общественное мнение искало виноватых в пробуксовке польского социализма, и вождь поляков этот поиск возглавил. Ситуация! "Воля масс". Отчего ж и не переворачиваться на 180 градусов, когда ты каплей льешься с массами, да еще и возглавляешь эти потоки?

Что нужно, чтобы повести себя наперекор ситуации, вопреки "воле масс", независимо от потока, — мы видели. Нужна духовная сила, превышающая обычные возможности среднего человека. Но и другое верно: средний человек сам не ведает своих возможностей. И кто его ведет: Бог

или бес — становится ясно только из его судьбы. Судьба же — в плоских понятиях невыразима.

Польский еврей, бежавший в СССР от гитлеровцев, намучившийся в наших лагерях и в нашей армии, ставший калекой и все-таки пришедший на костылях на пепелище варшавского гетто, — говорит:

— Я не думаю, что нас там бардзо любят, но вы все-таки передайте привет России...

Все познается в сравнении. Не бардзо любят? Так. Но никто и не обязан любить евреев. Никто вообще не обязан давать кому бы то ни было отчет в том, кого он любит и кого не любит (евреев... цыган... русских... немцев... венгров... американцев). Любовь — личное дело каждого. Речь о том, чтобы не убивали, чтобы уважали, чтобы не вымещали свои комплексы на тех, кто попался под руку и не имеет защиты. Евреи — только модель, на которой Бог (или бес?) отработывает варианты для всего человечества.

Именно в этом смысле надо понимать название книги Аб Мише: "Черновой вариант".

Есть у этого названия и другой смысл, более узкий и, так сказать, жанрово-личный: эта книга — как бы еще не книга, а предварительный набросок, "материалы для книги", черновой вариант. О том же — и поэтический эпиграф: "Это, в общем, не книга, а только — россыпь фактов, событий, цитат — возвращение толики долга — суетливые поиски толка — в пепле невозможных утрат".

Я бы поспорил с внешним смыслом этого утверждения, если бы не чувствовал в нем — приема. Уже сама выделка стиха в эпиграфе показывает, что перед нами не "ворох материала", а тщательно выверенная и проработанная система фактов, событий и цитат, имеющая художественную логику и духовную сверхзадачу.

Эта логика и эта сверхзадача имеют отношение к коренным закономерностям нашего общего сегодняшнего бытия.

Кто-то должен был написать такую книгу.

Ее написал Аб Мише.

## СУДЬБЫ ИДЕЙ

*На фоне оптимистических предсказаний Ф.Фукуямы ("Конец истории", с.м. "22", №69) особый интерес представляют взгляды известного французского историка Ж.Гимпеля, утверждающего прямо противоположное в отношении перспектив западной цивилизации. Впрочем, так ли уж противоположное? Крайности сходятся, как известно...*

-----  
Жан Гимпель

### СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАШИНА

(эпилог к книге)

Сразу после второй мировой войны я начал сравнительное изучение средневековой Европы и новейших Соединенных Штатов. Я был поражен открывшимися мне историческими параллелями. Великий бельгийский медиевист Анри Пиренн уже заметил когда-то поразительное сходство между тем, что происходило в Европе в XI-XII веках и тем, что происходило на американском Западе в XIX веке. Сходство между городами, возникавшими тогда, и городами, которые американские предприниматели планировали в ожидании железных дорог, и впрямь удивительно. Сходно и то, что в обоих случаях действовали эмигранты-пионеры, люди, собственными руками создавшие себе состояние. В обоих случаях экономика процветала благодаря свободному труду и свободному предпринимательству.

Может показаться, что говорить о процветающей экономике средневековья — это значит исказить историческую истину. Действительно, утверждение, что средние века были периодом динамичного прогресса, весьма отличается от общепринятого представления, противопоставляющего привычную картину "застывшего схоластического средневековья" "живому рациональному Ренессансу". Об этом "общепринятом представлении" следует сказать несколько слов.

Многие поколения, начиная с гуманистов Возрождения, поливали средние века грязью, и их репутация стала "отмываться" только в самое последнее время. Как пишет Джеффри Хиндли, "огромная, напористая и изобретательная эпоха была попросту списана со счета, как некое многовековое зияние между славным классическим прошлым и славным, возрожденным классическим настоящим... Между тем именно в ту эпоху европейские народы создали культуру, которая господствует в мире и сегодня. Университеты и парламенты; систематическое использование источников энергии в производстве и пороха в военном деле; экспансия и колонизация — вот лишь некоторые из достижений средневековья, с которыми европейцы экспериментировали затем все последующие столетия".

Возникает вопрос — как могли гуманисты называть эту эпоху "злосчастливым и варварским перерывом в истории"? Дело в том, что погруженные в свою страсть к античной поэзии и прозе гуманисты Ренессанса были убеждены, что их предшественники, жившие в средние века, были совершенно безразличны к греческим и римским авторам, в то время как на самом деле людей средневековья просто меньше восхищала древняя литература, чем философские, научные и технические достижения древности.

Но если люди Ренессанса считали эпоху средневековья просто схоластической и статичной, то для людей Реформации это была уже эпоха жесткой иерархии и всепроникающей коррупции. С точки же зрения людей Просвещения это было прежде всего иррациональное и суеверное время. Сегодня мы еще во многом разделяем эти предрассудки. Правда, романтизм, возникший в начале XIX века, сделал попытку изгнать средние века от их мрачной репутации, но эта попытка привела лишь к очередному искажению реальности. Затем пришли либеральные реформаторы католицизма, которые увидели в средних веках времена "идеального христианства", этакий образец для современного христианского общества. Французы провозгласили идеальным столетием век Людовика Святого. Укоренилась красивая легенда, будто в те великие времена жители городов без всякой платы за свой труд строили соборы, а скульпторы и архитекторы предпочитали оставаться анонимами. В свою очередь, консервативные круги, потрясенные классово́й борьбой и индустриальными конфликтами XIX века, ухватились за утешительный миф, будто средневековье знало некую идеальную социальную организацию (позднее утраченную человечеством) — систему гильдий, в которой "гармонично" сосуществовали мастера, ученики и работники. Это была, разумеется, еще одна иллюзия. Но ошибались не одни только романтики, католические реформаторы и консерваторы. Рост промышленности в XIX веке и сопровождавшие его ужасы обнищания пролетариата вызвали интерес к средневековью и у социальных реформаторов того времени. Так возникла еще одна легенда, одна из самых устойчивых и живучих, — легенда о том, будто средние века были "благословенным нетехническим временем".

Медиевисты нашего века мало-помалу устранили многие возрож-

денческие и романтические ошибки в представлениях о средневековье, но вот эта последняя легенда — о “нетехническом характере” средневекового общества — в целом осталась нетронутой. Средневековой техникой занимались очень мало. И хотя сейчас исследования в этой области быстро прогрессируют, они все еще едва выросли из пеленок. В учебных заведениях все еще нет кафедр истории техники. На фоне нынешнего бурного развития исследований по экономической, социальной и политической истории прошлого это вызывает удивление. История техники могла бы дать богатейший материал для понимания путей развития человечества и даже для контроля над ними. А в наше время она приобретает особое значение. Ведь история техники — это не история науки. Наука может развиваться и тогда, когда техника уже пришла в состояние застоя. Многие ранее существовавшие общества в свой час остановились в своем техническом развитии. Теперь пришла очередь Запада: он достигает своего плато.

Великобритания вступила на это плато еще в 1851 году. Всемирная выставка в Хрустальном дворце показала, что британское общество не сумело использовать огромный потенциал, содержащийся в технике массового производства, электричестве и органической химии. Эти области осваивали уже другие европейские страны, а также Соединенные Штаты, принявшие у Великобритании эстафету промышленной революции. Но в области науки Великобритания тогда еще продолжала лидировать. Как пишет Мартин Винер, “поколение Всемирной выставки знаменовало конец, а не начало. При нем энтузиазм по поводу промышленного капитализма достиг наивысшей точки. Но на самой выставке уже заявила о себе оппозиция. Ее олицетворял “средневековый город” Огастеса Пьюджина”.

Огастес Пьюджин возрождал средневековье, как он его понимал, а он, как и все викторианское общество, понимал его неправильно. Ложные представления о Средневековье как “нетехническом времени” во многом содействовали угасанию технической творческой активности.

То было начало, а в наши дни число занятых в сельском хозяйстве и промышленности Великобритании непрерывно падает, и уже две трети национального продукта создается в сфере услуг.

Изучение средневековья в сопоставлении с современностью привело меня к мысли, что техническое развитие так же циклично, как и большинство процессов в истории. Западу повезло: в рамках одной и той же цивилизации, которая длится вот уже тысячу лет, он пережил целых два технических расцвета — средние века и Ренессанс. Другие цивилизации — такие, как византийская или исламская — имели только один цикл. Более того, внутри цикла западной цивилизации все ее главные нации имели свой собственный цикл, то есть поочередно становились доминирующими: Италия в XV столетии, Испания в XVI-м, Голландия и Франция в XVII-м, Англия в XVIII-м и XIX веках, Германия и Соединенные Штаты — в XX-м. Все эти нации по очереди становились мотором западной цивилизации в целом.

Мои исследования привели меня и к еще одному важному выводу: цикличность в развитии техники в каждом обществе связана с цикличностью в его психологическом состоянии. Когда общество достигает зрелости, его психологическое состояние меняется, психическая энергия, направленная на техническое творчество, падает, и начинается нисходящее движение. Однако психологическая энергия технического творчества угасает даже быстрее, чем "кривая" развития самой техники, потому что дряхлеющие общества тратят слишком много сил на войну.

Во Франции эта эпоха роста длилась от 1050-го до 1254-го года, когда Людовик Святой возвратился из крестовых походов. Затем наступает краткий период зрелости, а уже в 1277 году можно сказать, что мистицизм одержал верх над разумом. Началом эпохи роста в Соединенных Штатах можно назвать 1850-й год, а датой вступления в зрелость — 1953-й, когда в Нью-Йорке на Парк-авеню был воздвигнут знаменитый Левер-Хаус Билдинг. Стеклоздание в 30 этажей было построено скорее по эстетическим соображениям, чем ради прибыли. Это символизировало важнейший поворот в американской психологии: американцы начали отдавать предпочтение эстетическим соображениям перед чисто денежными. (Впрочем, позже я решил, что правильнее считать годом вхождения Америки в фазу зрелости год 1947-й, когда президент Трумэн от имени Соединенных Штатов взял на себя ответственность за весь "свободный мир").

В фазу старости Соединенные Штаты вошли в 70-е годы, более точную дату назвать трудно.

В 1956 году я читал лекцию в Йельском университете как раз о параллелях между средневековой Европой и Соединенными Штатами. Психическая энергия Америки уже миновала свой пик, но никто этого не сознавал. Средний американский гражданин в эти годы был глубоко, даже фанатически убежден, что его нация все еще молода. Утверждать обратное было богохульством, оскорблением. Впрочем, это оскорбление никто всерьез не воспринимал, потому что его произносил выходец с гниющего континента, более того — из самой гниющей его страны. У Соединенных Штатов был тогда комплекс превосходства, как у всех наций, господствующих над миром. Такой же комплекс был у римлян. Такой же комплекс был у британцев в XIX веке. Этот комплекс превосходства сделал почти безнадежными все мои попытки привлечь внимание американцев к исторической тенденции, которую я заметил. Их интересовала только собственная история, и они даже не могли представить себе, что во всеобщей истории были периоды, из которых они могли бы извлечь для себя полезные уроки.

Между тем, по многим признакам можно было обнаружить, что Америка вступила в полосу зрелости. Она уже не была одержима страстью к рекордам, столь характерной для юных наций. Эстетика Левер-Хаус Билдинг резко контрастировала с эстетикой Эмпайр-Стейт Билдинг. Американцы больше не говорили без усталости о том,

что у них самые большие и быстрые самолеты в мире, самые большие плотины в мире, самая большая протяженность дорог и самые мощные гидравлические прессы. Их общее отношение к жизни менялось. Их перестали восхищать всевозможные устройства. В годы сразу после второй мировой войны многие американцы с гордостью дарили свои новейшие устройства европейским друзьям, желая напомнить им о своей изобретательности. Потом этот обычай исчез, да и самих устройств стали производить все меньше и меньше.

В 1956 году Европа думала об Америке и Америка думала о себе как о стране психологически возбужденной, где каждый куда-то спешил, трудился не покладая рук, где новые миллионеры тысячами появлялись каждый месяц, где у всех на устах было слово "инициатива".

Но я заметил, что мужчины и женщины на улицах не выглядят как бегущие со всех ног на работу и с работы. Они скорее лениво прохаживались, совсем как европейцы. А многие высшие служащие тратили по два часа на обед, совсем как их парижские коллеги. Все меньше становилось людей, пробивавшихся наверх собственными силами. Сыновья, вместо того чтобы искать собственных путей в жизни, все чаще удовлетворялись какой-нибудь ролью в семейном бизнесе. Американский идеал свободного предпринимательства и независимости от государства все больше разрушался. Его разрушению способствовали многие группы — ветераны, фермеры, рабочие, все чаще обращавшиеся к федеральному правительству за помощью. Армия общественных, государственных, штатных и муниципальных служащих росла на глазах.

Уже тогда я собрал достаточно свидетельств сходства американского и средневекового общества в разных их фазах во всех областях — экономике, идеологии, образовании, изобретательстве, индустриализации. Вот лишь несколько символов этого сходства в стадии роста.

Средневековая Франция:  
Плато Бос (пшеничная житница)  
тяжелый плуг  
собор  
собор Сен-Пьер в Бовэ  
орден цистерцианцев  
золотой лундор  
водяная мельница  
лошадь

США:  
прерии  
механизация земледелия  
автомобиль  
Эмпайр-Стейт Билдинг  
Генри Форд доллар  
паровая машина  
двигатель внутреннего сгорания

А теперь — типичные признаки подъема (слева) и зрелости (справа), которые можно обнаружить и в средние века и в Америке.

Валовой национальный продукт  
растет

Валовой национальный продукт  
стабилизируется

население растет  
предпринимательство свободно

свободный рынок рабочей силы

умеренная специализация рабочей силы  
устремленность вовне  
культ нового  
дух рекордов  
эстетизм недоразвит

общинный дух  
сильная валюта  
признаки инфляции  
изобилие естественных ресурсов  
нормальное образование  
новые визуальные искусства  
децентрализация власти  
функциональная техника

использование изобретений

индустриализация

население стабилизируется  
свобода предпринимательства ограничена  
регулируемый рынок рабочей силы  
узкая специализация рабочей силы  
устремленность падает  
сопротивление переменам  
утрата интереса к рекордам  
повышение чувствительности к эстетическому  
частная жизнь  
девальвация  
инфляция растет  
ограниченность естественных ресурсов  
избыточное высшее образование  
более частные развлечения  
централизация власти  
технический склероз (автомобильная промышленность)  
начинается сопротивление изобретениям  
консервация устаревшей техники

На вершине веры в себя американское общество не могло вообразить, что его предпринимательский и завоевательный дух увядает, что ему придется иметь дело с девальвацией, инфляцией и кризисом могущества. И уже совсем невообразимым для них в 1956 году (а потому и для европейцев) было то, что технический невоенный прогресс в Америке почти прекратился.

Чтобы увидеть, что случится с Соединенными Штатами в эру заката, я обратился к примеру Франции конца XIX = начала XX века с ее антитехническими тенденциями и промышленным застоем. Вожди французской "контркультуры" конца прошлого века, так же как в современных Соединенных Штатах, отрицали материалистический дух правящего класса и много говорили об опасностях механизации и индустриализации. Они отрицали разум и обратились к мистицизму, к мечтам о прошлом и наркотикам. Они мечтали вернуться к природе. Антиамериканские настроения во Франции восходят к тому времени. В то время именно Америка была самой материалистической страной в мире, самой механизированной и промышленной державой. По словам Бодлера, "газовый свет" Америки задушил Эдгара По. То, что позже стала говорить об Америке и корпоративном государстве американская контркультура, многие десятилетия было общим местом в Европе.

К этому сценарию упадка я хотел бы сделать только одно дополнение: в исключительных обстоятельствах стареющее общество может задержать ход истории. Так произошло с Францией. Поражение 1940-го года, германская оккупация, освобождение, де Голль и план Маршалла повернули тенденцию вспять. Франция пережила период экономического роста и роста населения, она модернизировала свое сельское хозяйство, построила новые города, провела реформу образования. В это время для нее были характерны вкус к нововведениям и дух рекордов, тенденция к децентрализации.

Экономическое возрождение Франции не было оценено по достоинству внешним миром вплоть до 1973 года, когда Герман Кан опубликовал отчет о необычном экономическом подъеме Франции. Был момент, когда только в Японии валовой национальный продукт рос быстрее.

Сегодняшние французы, я думаю, не отдадут себе отчета, что этот экономический успех базировался на перевороте в их настроении; что сейчас они больше похожи на американцев тридцатилетней давности, чем сами нынешние американцы. Сегодняшняя Франция больше склонна к современной технике, чем Великобритания, Германия или Соединенные Штаты, а возможно даже, чем Япония. Она экспортирует продукции современной технологии больше, чем любая другая страна. Она доминирует в Европейском космическом агентстве. Она производит самую дешевую в Европе электроэнергию на ядерных электростанциях. У нее есть собственная система ядерного утращения и собственные ракеты.

Психологический подъем Франции привел к тому, что теперь французы смотрят на англичан так, как англичане смотрели на французов до 1940 года — как на больную, декадентскую нацию. Все это, однако, не значит, что Франции удастся избежать общей тенденции Запада к упадку.

В Соединенных Штатах появление контркультуры около 1965 года подорвало уверенность американцев в достоинствах своего общества. Те же, кто пожелал заглянуть глубже, обнаружили, что их страна движется в том же направлении, что и другие страны до нее. В 1972 году я вел семинар на архитектурном факультете университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Студенты легко подхватили темы, которые я предложил для изучения. Я предложил им сопоставить средневековые соборы с автострадами Лос-Анджелеса и американскими плотинами; дух рекордов в средние века и в Соединенных Штатах; готику и международный архитектурный стиль XX века; Вийара де Оннекура и архитекторов XX века — Ллойда Райта, Ле Корбюзье, Ваксмана, Гропиуса и Нерви; практику охраны профессиональной монополии в строительном деле в средние века и в сегодняшних Соединенных Штатах.

Студент, занимавшийся первой темой, пришел к выводу, что лос-анджелесские автострады, как и соборы в свое время, никогда не были построены до конца. А студент, изучавший последнюю тему, обнаружил поразительное сходство между контролем над профессией

штукатуров в Париже XIII века и в Америке 70-х годов.

Во время пребывания в Калифорнии я нашел подтверждение своим подозрениям. Я обнаружил падение общественных добродетелей и уверенности в своей миссии, рост интереса к эстетическим ценностям, падение роста валового национального продукта и так далее (см. таблицу). Я смог определить момент вхождения американского общества в фазу упадка: в 1971 году Конгресс Соединенных Штатов отказался финансировать проект сверхзвукового самолета, и эта антитехническая акция символизировала полный поворот в отношении американцев к новой технологии. Фаза зрелости американского общества продолжалась, таким образом, 25 лет — столько же, сколько золотая эра Перикла, которую часто вспоминали в Америке во время президентства Кеннеди.

Американское общество, как некогда и средневековое, бурно выступило против истеблишмента, который его разочаровал. И то, и другое общество захотело реформироваться, чтобы вернуться в прошлое, которое казалось ему золотым веком. И в том, и в другом случае образ жизни в конце концов резко изменился.

Психическая энергия, вознесшая оба общества на вершину цивилизации, начала быстро угасать. Одно из главных последствий этого — замедление технической эволюции. Капиталовложения во многие сферы науки были урезаны, и ученые утратили ту высокую репутацию, которую они имели в годы войны и еще раз сразу после советского спутника. Передовая техника, включая космические исследования, тоже отступила. Стала возрождаться старая техника — процветали ремесла и велосипеды.

В средние века происходило то же самое. Тогда психическая энергия была подавлена законодательством, благоприятным для тех, кто имел власть. Целью этого законодательства было обеспечить сохранение статус-кво. Те же самые монополистические ограничения существуют сегодня в Соединенных Штатах.

Как писал историк Дж. Ф. Клаф, занимавшийся сопоставлением цивилизаций, "пик цивилизации в любой культуре наступает тогда, когда начинается ее экономический упадок". Когда общество, добавляет он, начинает уделять непропорционально большую часть своей энергии на культурную деятельность и любование продуктами культуры, экономическое благосостояние общества оказывается в опасности.

Вступив в период старения, американское общество неожиданно обнаружило, что теряет стабильность денежной системы, техническое лидерство и дух предпринимательства. В марте 1971 года журнал "Форчун" опубликовал статью, в которой резко возмущался "иррациональной кампанией" против науки и техники и предсказывал, что если она не кончится как можно скорее, "Соединенные Штаты станут второсортной державой с третьесортными условиями жизни".

В средние века столь же иррациональной была начавшаяся в 1277 году кампания против томизма и аверроизма, заставившая замолчать Роджера Бэкона, верившего в разум, математику и экспериментальную науку.

Нобелевский лауреат, генетик Джошуа Ледерберг, как-то рассудительно заметил, что сегодня на технику смотрят как на зло: "Если мы будем думать, что техника — это дьявол, мы потратим наши силы на пустые теологические споры о том, как лучше его изгнать".

В 1976 году совпали две годовщины. Соединенным Штатам исполнилось 200 лет. И 200 лет исполнилось знаменитой книге Эдварда Гиббона "История упадка и краха Римской империи". Эти два события пробудили в известных кругах Америки интерес к проблеме исторических циклов. Уолтер Анненберг, американский посол в Англии, попросил Майкла Гранта, авторитетного английского специалиста по древнему Риму, сопоставить Римскую империю и Соединенные Штаты. Грант написал работу "Падение Римской империи — новая оценка". Уже давно была популярна мысль, что Европа по отношению к Соединенным Штатам — то же, что древняя Греция по отношению к Риму. Майкл Грант сопоставляет восточную и западную Римскую империю, с одной стороны, и Европу и Соединенные Штаты — с другой. Согласно Гиббону и Гранту, катастрофическое непонимание между двумя частями империи ускорило гибель слабейшей из них. Грант опасается, что непонимание между Европой и Америкой может кончиться тем, что слабейшая из них — Европа — упадет от западной цивилизации.

Я пришел к убеждению, что следовало провести конференцию историков, которые специализировались на изучении клонящихся к упадку обществ. Они подготовили бы совместный доклад президенту Соединенных Штатов, призвав его сделать все от него зависящее, чтобы приостановить упадок страны. Уолтер Анненберг согласился финансировать такую конференцию в университете Южной Калифорнии. Чтобы удовлетворить интересы разных факультетов, решено было расширить тему и рассмотреть упадок не только Америки, но и Запада в целом.

Конференция состоялась в 1977 году. Среди участвовавших в ней политиков были бывший британский премьер-министр лорд Хьюм и государственный секретарь при президентах Кеннеди и Джонсоне Дин Раск. Выступая по моему докладу, лорд Хьюм сказал, что не читал ничего более пессимистического со времен книги Иова. 7 лет спустя я послал ему свою книгу "Западный мир — ин мемориам", и он заметил, что "многие из моих предсказаний сбылись", хотя добавил, что "остается оптимистом".

Конференция в Лос-Анджелесе, однако, отвергла мысль о неизбежности упадка Запада и сочла, что в средствах против этого нет надобности. Слушая их, я вспоминал византийских теологов, которые накануне крушения тысячелетней империи рассуждали о том, какого пола ангелы.

Десятилетие спустя стало очевидно, что западный мир в разброде ввиду того, что лидерство Соединенных Штатов колеблется. Ирангейтский скандал показал, что верхний эшелон власти не контролирует положение. События в Персидском заливе показали, что

Америка не подготовлена как следует ни в военном, ни в политическом отношении.

Психическая энергия последние 10 лет падала быстро, хотя кривая развития уменьшала свою крутизну не так стремительно, потому что стареющие общества всегда вкладывают большие средства в военную сферу.

Но вложения в военное оборудование не спасают дряхлеющее общество в случае конфликта. Франция накануне второй мировой войны тратила огромные средства на военное оборудование, пренебрегая гражданской техникой, — так же как Соединенные Штаты в 60-е годы (сегодня, впрочем, дело дошло уже до того, что в 1986 году половина патентов, выданных Американским патентным управлением, досталась иностранцам). Французский военный потенциал по артиллерии, танкам и авиации превосходил потенциал Германии. Но Франция проиграла войну, потому что ее психическая энергия была ниже, а солдаты и офицеры не были готовы к боевым действиям.

Такую же низкую боеспособность показали американские военные силы в Ливане, на Гренаде, в Ливии, а потом и в Персидском заливе, где, например, танкер "Бриджтон" получил повреждения, потому что Пентагон недооценил элементарную опасность минных заграждений.

Военные расходы не только не обеспечивают боеспособность страны, но также оказываются причиной эрозии ее экономической мощи, а значит — и ее роли в международных отношениях. Они превратили Соединенные Штаты в самого крупного должника в мире. Сторонники высоких военных расходов верят или хотя бы хотят верить, что военные расходы индуцируют развитие гражданской экономики. Этого не происходит. Достаточно взглянуть на процветающую японскую экономику — а ведь Япония тратит на военные нужды едва ли 1% своего валового продукта.

Барри Блустоун и Беннет Гаррисон в книге "Деиндустриализация Америки" ссылаются на утверждения таких авторитетных авторов, как социологи Амитай Этциони, Джордж Гилдер и Ирвинг Кристол, заявляющих, что суть нынешнего кризиса не в технических упущениях, но в неудовлетворительном моральном духе общества. Гилдер называет это "неуклонным подрывом психологической основы производства". Блустоун и Гаррисон пишут: "Эти теоретики "духовного загнивания" полагают, что американцы утратили страсть к нововведениям, к предпринимательству и упорному труду. Мы попросту стали слишком экстраваганты, пишет Этциони. Нам некого винить, кроме самих себя. Кризис американского капитализма — это фундаментальный кризис духа. Выход из этого кризиса надо искать в сфере моральных, а не экономических решений".

По мнению профессора экономики Маркуса Ольсона, "нации со временем теряют гибкость, у них начинается что-то вроде склероза, который ведет их к упадку". А Мартин Винер в книге "Английская культура и упадок индустриального духа" (1981) рисует упадок интереса к промышленной революции в английском обществе между

1850-м и 1950-м годами. Дети промышленников хотят стать джентри, и это прямая параллель детям американских промышленников (в изображении Ольсона), которые предпочитают стать адвокатами, "чтобы заниматься тонкими диспутами и тяжбами друг с другом", вместо того чтобы заниматься делом.

Соединенные Штаты поражены недугом, характерным для всех стареющих обществ, — мистицизмом и оккультизмом, которые противостоят традиционным религиозным взглядам, лежащим у истоков развития этих обществ. Эта тенденция не чужда даже самим промышленным кругам. В 1987 году представители некоторых крупнейших американских корпораций провели совещание, где обсуждали, как оккультизм и индуистский мистицизм могут помочь их служителям участвовать в конкуренции на мировых рынках. В Стэнфордском университете престижная "Школа бизнеса" проводит семинар, в программе которого — медитации, молитвенное пение, визионерские упражнения, пасьянс и дискуссия на тему "Что такое капиталист новой эры".

Мистицизм распространялся и в XIV веке. В конце концов он привел к возникновению артистизма, связанного с суевериями, и расцвету оккультных наук. Ислам претерпел подобную эволюцию в XIII веке, когда кончилась эпоха великих научных достижений мусульманского мира. Такая же тенденция к иррационализму подорвала эллинистическую науку. Те же иррационалистические импульсы, только более мощные, исходят от восточных религий, от гностических и отшельнических движений.

Как пишет Рене Татон в очерке античной и средневековой науки: "Свойства, нужные для приобретения "знаний", — это уже не интеллигентность, наблюдательность и объективность, а "сердце", слепая вера и лихорадочное воображение. Наука получает страшный удар: астрология конкурирует с астрономией, алхимия удушает первые ростки химии, ботанику вытесняет фармакопея, занятая изобретением причудливых рецептов, вместо зоологии появляется выдуманное фантастических существ".

Иррациональные силы контркультуры, поднявшиеся в нашем обществе с 60-х годов, пока еще не заменили астрономию на астрологию, но они уже нанесли серьезный удар престижу ученого и науки в целом, так что теперь лаборатории уже не рассматриваются как "храмы будущего и залог благосостояния", как об этом мечтал Луи Пастер в XIX веке.

В 1971 году ученые и историки науки собрались на симпозиум в Лондоне, чтобы обсудить, как бороться против нападков на науку. Они отметили, что подобные атаки предпринимались и в прошлом, особенно во времена романтизма, но пришли к единодушному мнению, что нынешнее наступление на науку имеет особенно глубокие корни. Как пишет Жан-Жак Саломон, "представление о научном прогрессе перестало сочетаться с идеей прогресса. Только вчера научная активность процветала, и никому и в голову не приходило обвинять науку в том, что она грозит нам катастрофой. Теперь каж-

дый ученый должен доказывать, что он не виноват, еще до того как ему предъявили конкретные обвинения”.

Наступление на науку и технику в последнюю четверть нашего века имеет драматические и необратимые последствия для нашей цивилизации. Именно тут заложены корни экономического и финансового кризиса Запада. Экономисты не понимают, что их предсказания рушатся, когда они забывают о падающей эффективности техники. Они игнорируют тот факт, что сегодня в мире нововведения становятся все более редкой вещью. Их могла бы просветить книга Орио Джарини и Анри Лубержье “Падающая эффективность техники” (1978 г.).

Авторы этой книги упоминают некоторые предсказания 50-х и 60-х годов, которые никогда не осуществились. В 1964 году “Рэнд корпорейшн” предсказывала, что в 1971 году будет освоено экономичное обессоливание морской воды, в 1972 году — автоматический перевод, в 1975 году будет обеспечено точное прогнозирование погоды и авиация перейдет на ядерное топливо. В 1967 году Герман Кан пророчил к 2000-му году полную автоматизацию, искоренение болезней и существенное удлинение жизни.

Но дела пошли по-другому. Ядерная технология переживает серьезный кризис. В последние 20 лет рынок ядерных реакторов резко сузился. Ужесточение норм безопасности и удлинение сроков строительства так подняли издержки, что стало невозможно утверждать, будто ядерная энергия дешевле других форм энергии. С 1974 года в США были аннулированы 110 заказов на ядерные реакторы, а с 1978 года новых заказов не было вообще. Франция собиралась строить 6 реакторов в год, а построила только один. Швеция планирует демонтировать свои ядерные электростанции к началу следующего столетия. В 1985 году ядерная энергетика работала не более чем на 30% мощности.

Джарини и Лубержье предсказывают: “В течение следующего десятилетия рост прекратится. Около 1970 года закончился исключительный период в истории человечества. В прошлом экономический рост базировался на техническом прогрессе. Теперь снижение эффективности техники может означать, что мы не просто вступили в фазу технической вялости, но что поток нововведений прекратится вообще”.

Экономический рост в последние несколько десятилетий замедлился также потому, что удлинилось время между исследованием и изобретением и изобретением и новым продуктом. Когда новый продукт появляется на рынке, потребитель находит его слишком дорогим и не хочет его покупать. Неудивительно, что фирмы неохотно финансируют нововведения. Эта психология характерна не только для нашего времени. В исследовании итальянского купечества XIV века Бенджамин Кадер пишет, что купцы становились все более экономны и осторожны по мере углубления депрессии.

В конце XX века потребитель стал более разборчив и отвергает, например, ряд продуктов, которые могут нанести ущерб окружающей

среде. Экологическое движение, восходящее прямо к контркультуре 60-х годов, воспрепятствовало осуществлению множества проектов. Американский экономист Сидней Рольф еще в самом начале этого движения сказал: "Борцы против загрязнения среды загрязняют экологию". А в 1972 году редактор журнала "Нэйчур" Джон Мэддокс высказывал опасение: "Коварство экологического движения состоит в том, что оно может подорвать способность развитых обществ решать проблемы, с которыми им несомненно придется иметь дело".

Прекращение нововведений особенно заметно в фармацевтической промышленности. Число новых медицинских препаратов на рынке в последние годы резко уменьшилось. Ограничения на производство новых препаратов слишком жестки. В 1980 году Организация промышленноразвитых стран опубликовала доклад "Технические изменения и экономическая политика", в котором, в частности, сказано: "Если бы аспирин или пенициллин были изобретены сегодня, то они не удовлетворяли бы нынешним стандартам. Ни аспирин, ни пенициллин не прошли бы сегодня экзамена на "безвредность", и это говорит само за себя". Сотни миллионов людей страдали бы от головной боли, если бы нынешние стандарты были введены раньше, и миллионы людей болели бы и умирали без антибиотиков.

В 1987 году промышленностью антибиотиков был нанесен серьезный удар. Администрация продовольствия и лекарств Соединенных Штатов запретила тромболит, созданный с помощью генной инженерии. К счастью, администрация потом передумала, и был разрешен к продаже плазминогенный активатор под названием активаз. А ведь речь шла о препарате с уникальными свойствами: он позволяет рассасывать тромбы сразу после инфаркта.

20 лет назад в Институте атеросклероза в Лос-Анджелесе ученый и гуманист Лестер Моррисон создал препарат "атерол", укрепляющий артерии, но администрация настаивала на дополнительных испытаниях стоимостью 35 миллионов долларов. У профессора Моррисона было только 7 миллионов. Ему пришлось отказаться от мечты продавать чудо-лекарство в аптеках. В слегка модифицированном виде это лекарство в 1982 году все же попало в продажу. Забавно, что в Великобритании, где нормы здравоохранения другие, это лекарство под измененным названием продается даже без рецепта.

Поразительно, что современная наука не способна победить самую серьезную ныне болезнь — рак. Между 1962 и 1982 годами смертность от рака выросла на 8,7% (до 185 на 100000 американцев). Медицинский истеблишмент тратит больше денег на лечение рака, чем на его профилактику, потому что первое как будто обеспечивает больший научный престиж.

Даже самая опасная болезнь средневековья — чума — не исчезла полностью. Американские медицинские власти обеспокоены не столько мелкими вспышками чумы, сколько возможностью эпидемии, потому что теперь не только крысы, но и другие грызуны (например, белки) могут быть носителями бацилл. Медиевист Сара Фергюсон заразилась чумой в штате Нью-Мексико. Как медиевист, она

узнала симптомы, и ее шокировало то, что местные жители не были нисколько удивлены. Сара Фергюсон лечилась пенициллином.

Антибиотики могут помочь против чумы, но не могут помочь против СПИДа. Пресса называет СПИД чумой нашего времени и сравнивает его с "черной смертью". СПИД, во всяком, случае создает атмосферу, близкую к атмосфере тех времен.

Появление СПИДа вынудило публику признать, что медицина не идет по неуклонной восходящей. Можно думать, что на Западе в конце концов найдут долгожданную вакцину. Но такой уверенности уже не может быть в отношении Африки. Там власти в некоторых странах вообще отказываются признать существование вируса. Даже когда вакцина будет доступна, у этих стран не окажется достаточно финансовых ресурсов и организационных навыков, чтобы предотвратить распространение вируса. Как и в средневековой Европе, до одной трети населения может оказаться жертвой болезни.

Серьезные трудности переживает также и компьютерная промышленность. Долгие годы она верила и убеждала других, что несет с собой новую промышленную революцию. Но уже к 1987 году стало обнаруживаться, что в результате применения компьютеров производительность труда падает. Страховая компания "Фрименз Фонд Иншуранс" сократила свое компьютерное оборудование, чтобы восстановить эффективность. Вице-президент одной наднациональной компании в Швейцарии так отозвался о микропроцессорной революции: "В старые добрые времена требовалась неделя для составления доклада, который потом прочитывался за пять минут. Теперь нужно пять минут, чтобы составить доклад длиной в 50 страниц, который потом приходится читать неделю".

Не часто задумываются над тем, почему стареющие общества по-детски увлекаются всякими игрушками-автоматами. Так было в эллинистические времена, когда, например, механики сконструировали Танталову чашу, чертежи которой оставил Вийар де Оннекур. На башенке посредине кубка сидит птица и, кажется, пьет вино. Во времена упадка ислама аль-Джазари написал "Книгу знаний об удивительных механических устройствах". В ней он описывает многочисленные игрушки для развлечения богачей, вроде фонтанов с автоматически меняющимся направлением струй. В конце средневековья при дворе герцогов Бургундских инженерам было приказано сконструировать сложные механизмы для развлечения гостей за обедом.

Когда 28 января 1986 года взорвался космический корабль повторного использования "Челленджер", еще один технический проект был немедленно заморожен. В результате американская космическая программа задержалась на несколько лет. Проведенное исследование показало, что американская космическая программа была бы успешнее, если бы использовала ракеты технически более низкого уровня, как это делает Советский Союз. В 1986 году Советский Союз сделал 91 запуск, из которых 90 были успешными, тогда как американцы сделали 9 запусков, из них 6 успешных.

Еще в 60-х годах инженер Артур Шнитт спроектировал дешевую

ракету, известную под названием "Биг-Дам Бустер". Ее запуск обошелся бы в 310 долларов (в расчете на фунт веса) при 50-тонном весе. Челнок весом 24 тонны обошелся бы в 6800 долларов (в расчете на фунт). Американские космические фирмы не заинтересовались проектом Шнитта: дешевые ракеты подорвали бы огромные правительственные контракты. Не заинтересовалась проектом и НАСА: дорогие программы обеспечивали рост космической империи (а также более высокий престиж тех, кто ею управляет). Пентагон тоже был против чего бы то ни было, что находилось ниже наивысшего уровня технологии. Только после катастрофы с челноком ракеты более низкого технического уровня пошли в ход. И это один из примеров того, как Запад возвращается к более низкой технологии.

В авиации возвращаются пропеллеры, потому что они обещают 40% экономии на горючем и 10% экономии на издержках в целом. Пропеллеры теперь короче, имеют серповидные лопасти, помещаются сзади — два пропеллера по восемь лопастей — и вращаются в противоположном направлении.

Когда себестоимость космических двигателей, ядерных ускорителей и телескопов подскочила до небес, ученые начали возвращаться к простым воздушным шарам для выяснения происхождения и природы Вселенной. Они не только дешевле, но и удобнее. Если эксперимент с воздушным шаром не удался, такой шар может быть легко приземлен и эксперимент можно повторить. Воздушные шары размером с футбольное поле могут поднимать до двух тонн (без экипажа) на высоту до 50 километров.

На море и на суше мы видим возвращение к технике XIX века: к парусной и паровой тяге. В борьбе с высокими ценами на горючее японцы придумали усовершенствованные паруса из винила и полиэстера. Их угол наклона к ветру контролируется не силой человеческих рук, а компьютерами. Паруса служат дополнительной тягой к обычному двигателю. Франция строит по американским заказам туристические суда с классическими парусами площадью 2000 кв. м. Благодаря парусам их скорость увеличивается на два узла.

Возвращаются железные дороги, по крайней мере — в некоторых странах. В Японии экспресс-"пуля" ходит между Токио и Осакой каждые 6 минут. Во Франции сверхскоростной поезд делает примерно 250 километров в час и покрывает расстояние от Парижа до Лиона за 2 часа, а до Женевы за 3.

В производстве энергии, после резкого подъема цен на нефть, были начаты очень дорогостоящие проекты, основанные на высокой технологии. Все они потерпели неудачу. В Канаде 13 миллиардов долларов, вложенные в извлечение нефти из нефтеносных песков, были списаны и забыты. Тогда же, в начале 80-х годов, фирма Эксон отказалась от извлечения горючего из сланцев Колорадо. Так был аннулирован самый амбициозный в американской истории проект изготовления синтетического топлива. Эти проекты были заброшены

отчасти потому, что цены на нефть стали падать, а отчасти и из-за их невероятных издержек.

После крушения этих проектов мир обнаружил, что возвращается к традиционным видам топлива: нефти, углю, энергии ветра и гидроэнергии.

Угольное топливо было усовершенствовано весьма значительно. Теперь научились пульверизировать уголь. Угольные частицы имеют 250 микрон в диаметре. Эта пыль смешивается с водой. Получается плотная жидкость, жидкое топливо. Это топливо выбрасывает в атмосферу меньше загрязнителей (например, двуокиси серы), чем нефть, и может сжигаться на теплоэлектростанциях, в промышленных бойлерах, плавильных печах и даже в двигателях внутреннего сгорания.

Среди традиционных средневековых технических устройств, которые теперь могут быть усовершенствованы, есть и ветряная мельница. Сегодня она тоже пошла в дело. У нее теперь вертолетного типа лопасти на вертикальной оси. Они могут улавливать ветер всех направлений. Переносная турбина этого рода нашла коммерческий сбыт в Индии.

Усовершенствованные технические устройства тысячелетней давности по-прежнему играют огромную роль в нашей повседневной жизни. Пластики поразительно мало проникли в производство окон: окна и зеркала по-прежнему делаются из стекла. Керамика и воск применяются в промышленности высокой технологии. В строительной индустрии дерево по-прежнему остается главным материалом для крыш и полов в частных жилищах (например, в Англии). Широко применяется и бетон, известный еще римлянам, даже саман возвращается. И понятно почему. Камень быстро разогревается и так же быстро охлаждается, а саман — нет.

А вот еще одна старая "техника" особого рода возвращается назад. Я имею в виду безналичный обмен. В глубокой древности люди научились обменивать рыбу на рыболовные крючки, еду на меха и так далее. И вот эта техника возвращается в виде обоюдного обмена товара на товар. Эта бартерная торговля развивается, к особому недовольству и смущению экономистов, именно сейчас, после технической реконструкции (компьютеризации) биржи. Сегодня доля безденежного оборота в мировой торговле уже составляет, вероятно, около 15% и каждый год увеличивается. Возврат к ней означает, что западная цивилизация стареет и не может сохранить свое господство. Трудности, которые развивающиеся страны испытывают с выплатой долга, заставляют их вернуться к бартерной торговле и протекционизму.

Чтобы как-то сбыть свою сельскохозяйственную, военную и промышленную продукцию, развитые страны тоже устремляются в этом направлении. Вот примеры таких сделок. Соединенные Штаты обменяли большую партию скота на бананы из Эквадора. Фирма "Боинг" поставила свои самолеты в Саудовскую Аравию в обмен за нефть. Франция обменяла экскаваторы на китайскую щетину. Часто в бар-

терных сделках участвуют три-четыре страны, и обмен идет по кругу. Корпорации, чтобы сберечь импортеру валюту, часто соглашаются производить компоненты на месте.

В 1987 году Мидланд-банк согласился принять в качестве платежей по долгам железную и медную руду от Перу. Это показывает, какие трудности испытывают банки, пытаясь вернуть то, что они дали в долг. Банки боятся, что страны Третьего мира окажутся неплатежеспособны. Подобное случается не первый раз в истории. Англия — в XIV веке слаборазвитая страна — оказалась неплатежеспособной в 1377 году. Это привело к банкротству банковского дома Перруцци и Барди во Флоренции, а через него и других флорентинских банков. Флоренция была Уолл-стритом того времени. Память об этой катастрофе никогда не изгладилась в Италии. Семья Перруцци с тех пор постоянно подавала на Англию в суд. Поговаривали, что если бы Италия выиграла вторую мировую войну, Муссолини включил бы в мирный договор пункт о возмещении того долга плюс проценты за 600 лет. В 1930 году это равнялось полной стоимости Британской империи!

С начала 70-х годов было несколько финансовых кризисов, выходящих из-под контроля. В других случаях краха едва удавалось избежать. В 1978 году управляющий Английским банком сообщил парламенту, что за пять лет до этого, в 1973 году, Сити опасалось краха, близкого по масштабам к краху 1929 года. В 1974 году закрытие небольшого германского банка (Герштатт) привело к резкому уменьшению международных операций. В ноябре 1975 года банкротство грозило городу Нью-Йорку. За этим несомненно последовал бы крах Уолл-стрита. Президент Форд субсидировал Нью-Йорк из федеральных фондов, и худшего удалось избежать.

В 80-е годы стало уже очевидно, что международная банковская система висит на волоске. В 1981 году оказалось, что восточно-европейские страны, в особенности Польша, не в состоянии платить долги. В 1982 году то же самое стало ясно в отношении латиноамериканских стран — Мексики, Бразилии. Были пересмотрены сроки выплаты долгов. Часть долгов списывалась. Участились банкротства американских банков. Во втором квартале 1987 года крупнейшие американские банки (вместе) впервые с 30-х годов зафиксировали чистые потери.

Процесс старения Соединенных Штатов, сопровождающийся огромным бюджетным и платежным дефицитом, поставил их в один ряд со странами Третьего мира. Оба эти дефицита финансируются другими странами, привлеченными высокими доходами на американском финансовом рынке. Эти средства могут быть быстро изъяты, если их владельцы решают, что могут рассчитывать на более высокие прибыли где-то в другом месте. Это поведет к настоящему банкротству Соединенных Штатов. Журнал "Экономист" в сентябре 1987 года отмечал, что если в 1981 году мир был должен Америке 141 миллиард долларов, то в 1986 году уже Америка была должна миру 264 миллиарда, став самым крупным должником в мире.

19 октября 1987 года Уолл-стрит, наконец, рухнул. Индекс Доу-Джонса упал на 508 пунктов (23,4%) — самое большое падение за день в его истории. Несколько недель спустя из "Уолл-Стрит Джорнел" стало известно, что рынок Соединенных Штатов был на грани полного развала. Его удалось избежать только потому, что Алан Гринспэн, тогдашний председатель Федеральной резервной системы, вовремя провел секретное исследование, чтобы разработать поведение на случай именно такой катастрофы.

Крах Уолл-стрита, по крайней мере, сделал очевидным для широкой публики, что американское общество стареет, и его экономика становится все более уязвимой. Если в Америке начнется спад, а затем депрессия, то всему миру предстоят трудные и драматические времена. Приближающаяся всемирная экономическая катастрофа в одном отношении будет отличаться от катастрофы 30-х годов: она будет, очень вероятно, указывать на то, что западная цивилизация, как мы ее знаем, кончилась. Соединенные Штаты и Европа никогда уже не восстановят утраченного влияния. В 1929 году Америка была еще молода. Теперь у нее не хватит сил преодолеть глубокие экономические и финансовые трудности.

В 20-е годы у Соединенных Штатов был большой положительный торговый баланс, и они быстро опережали Великобританию в роли ведущей финансовой державы. Теперь Япония перехватывает эту роль у Соединенных Штатов.

Японии не загубит мировой экономический кризис: она еще в фазе роста, и у нее есть психическая энергия. Япония не принадлежит безраздельно западной культуре, хотя она заимствовала у нее очень много в технической сфере. В предстоящие десятилетия Япония будет играть ведущую роль в Тихоокеанском бассейне, куда перемещается центр современного мира.

Уже какое-то время Тихоокеанский бассейн представляет собой самый быстро развивающийся район мира. Проблема долга здесь не так остра, как в Южной Америке или Африке. Рядом с Японией здесь возникли динамичные страны — Тайвань, Южная Корея и Сингапур. С 1982 года объем торговли через Тихий океан больше, чем через Атлантику. Теперь к Тихому океану переходит роль, которую в свое время играло Средиземное море, а затем Атлантический океан.

Китай с его четвертью населения земного шара постепенно будет захватывать господствующее положение в Тихоокеанском бассейне и в мире. Приняв революционную идеологию, Китай во второй раз за свою долгую историю войдет в фазу бурного роста, когда кривые технического развития и психической энергии будут параллельны. Китай находится сейчас в начале периода, который может продлиться ближайшие сотни лет, тогда как западная цивилизация приближается к концу цикла, длившегося последнее тысячелетие.

*Перевод А. Кустарева*

## ЭСТАФЕТА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

(вместо послесловия)

Предыдущая публикация — эпилог книги Жана Гимпеля "Средневековая машина". Настоящий очерк — комментарий к теме, предложенной Жаном Гимпелем, и некоторые вариации на эту тему. Но вначале несколько слов о Жане Гимпеле.

Главная сфера его интересов — средневековая культура, наука, техника, искусство. Жан Гимпель не только историк. Он сам — изобретатель. Он комбинирует элементы современной так называемой "высокой технологии" со средневековыми европейскими машинами с тем, чтобы создать оборудование практичное и достаточно эффективное в условиях Третьего мира; впрочем, в принципе, не только Третьего мира...

Книги Жана Гимпеля переведены на все языки. Одна из них — "Строители соборов" — была в конце 60-х годов переведена и на русский (в Москве), но по неизвестным причинам так и не увидела свет в русском переводе.

Недавно она, как и "Средневековая машина", вышла в Лондоне вторым изданием.

Жан Гимпель не "лирик", он — "физик", если пользоваться терминологией, бывшей в ходу в Советском Союзе в конце 60-х годов. Можно даже сказать, что он принадлежит к тому типу ментальности, который в России с давних времен называют "базаровщина" по имени знаменитого тургеневского героя. Взгляды Жана Гимпеля именно поэтому, может быть, полезно ввести в русскоязычный контекст: здесь, кажется, полностью господствует "культ искусств". Одна из книг Жана Гимпеля, кстати, так и называется "Культ искусства" (во французской версии "Против искусства"). Эта книга встретила в свое время (в конце 60-х годов) резкий отпор со стороны художественной критики. Возможно, "антиартистизм" Гимпеля придется не по душе и многим читающим по-русски. Но будем достаточно благоразумны, чтобы признать: статус искусства в обществе не очевиден, а проблематичен, и прятаться от этой проблемы нельзя. Она чрезвычайно актуальна в процессе перестройки. Перестройки, представляющей собой отчаянную попытку остановить тенденцию к упадку; тенденцию, которую сейчас пытается остановить и Запад, — во всяком случае, так считает, как мы видели, Жан Гимпель, и он вовсе не одинок.

Вернемся, однако, к сюжету упадка.

**Сюжет "упадка"** состоит из двух сюжетов.

Один сюжет — с философским налетом. Действительно ли цивилизации (или нации, или геополитические конгломераты) всегда живут как люди, то есть проходят полный жизненный цикл, в конце

которого — упадок, старость и даже смерть.

История как будто свидетельствует, что это так. Наша планета буквально какое-то кладбище цивилизаций. Это зрелище впечатляет, и естественно задаться вопросом: а какие у нас основания думать, что нашу цивилизацию ожидает иная судьба?

Фаталисты ответят: никаких оснований. Наша цивилизация клонится к упадку точно так же, как ее предшественники.

Но все же есть и основания думать иначе. Прежде всего, динамика общества, начиная с прошлого века, принципиально изменилась. Несколько упрощая картину, можно сказать, что все цивилизации до нашей были *статичными*. Им была чужда сама идея экономического роста, как он понимается теперь. Они росли только вширь; их расцвет знаменуется максимальным геополитическим могуществом, после чего цивилизация или империя начинает "сжеживаться", пока не исчезает вообще.

Мы принадлежим цивилизации *динамичной*. Как может выглядеть ее угасание, мы не знаем. Естественно предположить, что это будет прежде всего остановка экономического роста. Но когда эта экономическая стагнация выразится в упадке того вида, который позднее станет объектом археологии, сказать затруднительно. Экономический рост — явление совсем недавнее, и не вполне ясно, насколько "нормальное"...

Так или иначе, а в эпоху экономического роста рассуждать об упадке текущей цивилизации намного сложнее, чем было, скажем, Шпенглеру, в теории (или мифологии) которого явление экономического динамизма не принимается во внимание.

Во-вторых, наша эпоха отличается от очень длительной предыдущей еще и тем, что теперь культурные очаги и геополитические единицы гораздо (на несколько порядков!) активнее сообщаются друг с другом.

Это очень запутывает картину. Потому что в этих условиях возможна настоящая эстафета: цивилизация переходит из рук одной популяции в руки другой, слегка модифицируясь; первоначальный и выдохшийся носитель цивилизации втягивается в орбиту нового центра активности той же в сущности цивилизации.

Можно ли вообще говорить при этом об упадке? Затухание некоторых регионов может означать теперь просто переход от региональных цивилизаций к мировой цивилизации. Собственно, об этом теперь много и говорят, в особенности в Советском Союзе.

И тем не менее правило цикличности продолжает действовать. Города, районы, страны, геополитические блоки переживают кризисы. То, что сейчас и Восток, и Запад христианского мира находятся в состоянии кризиса, отрицать невозможно. Насколько этот кризис глубок и необратим — другой вопрос. Но коль скоро он несомненен, возникает другой сюжет внутри общей темы "упадка": это свидетельства упадка. Мы вернемся к свидетельствам упадка несколько позже. Теперь же займемся проблемой иерархии, или таксономии, кризисов, так как она очень важна для рассмот-

рения "свидетельств" упадка или кризиса.

#### **Упадок и перепады**

Кризисы, которые переживает общество, могут быть разного порядка, точно так же как и циклические изменения, скажем, климата. Проблема "порядка кризиса" была впервые поставлена не в связи с судьбой цивилизаций (или национальных держав), а в связи с первой в истории человечества по-настоящему динамической фазой, которая ассоциируется в нашем сознании с оригинальной и совершенно новой общественной формой — капитализмом.

Проблема различения так называемых "циклических кризисов" (спадов производственной активности) и "общего кризиса" (загнивания) капитализма с особенной страстью разрабатывалась марксистами: марксисты мучились ожиданием смерти ненавистного им общественного порядка. Они объявили первую мировую войну "первым этапом общего кризиса капитализма". В последующие полвека к нему добавились еще два "этапа". Умирание капитализма затягивалось; социализм сам оказался отнюдь не бессмертен, мягко говоря; по иронии судьбы марксисты потеряли интерес к проблеме загнивания капитализма как раз тогда, когда эта проблема действительно становится актуальной.

В полемике с марксизмом родилась концепция "вековых циклов" русского экономиста Кондратьева. Кондратьев начал с анализа кризисных явлений, проявившихся после первой мировой войны. Он пришел к выводу, что этот кризис не окончательный, не завершающий историю капитализма.

Но углубляя свои исследования, Кондратьев обнаружил, что помимо частых краткосрочных экономических кризисов, динамическая экономика (тогда это была только капиталистическая) должна еще переживать редкие и длительные циклические кризисы.

Пolemика с московскими марксистами 20-х годов стояла в конце концов Кондратьеву жизни. А открытие "вековых циклов" увековечило его имя понятием, которое теперь можно найти во всех энциклопедиях — "циклы Кондратьева". Независимо от Кондратьева вековые циклы обнаружил и американский экономист Элвин Хансен. Вековой спад наступил в первой трети нашего века, потому что замедлился рост населения, слишком много власти оказалось у профсоюзов и профессиональных объединений, сложились монополии, механизм свободной конкуренции уступил место механизму рекламы.

Как преодолеть краткосрочный кризис, было известно. В значительной мере он проходил сам собой — во всяком случае, так считала тогдашняя теория. Но вот как выйти из векового кризиса, было неизвестно. И тут появился Джон Мейнард Кейнс.

Идея вековых циклов оказала на Кейнса существенное, по меньшей мере, общинтеллектуальное влияние. Кейнс оказался ключевой фигурой экономической мысли XX века. Он и создал теорию, которая помогла Западу, начиная с 40-х годов, преодолеть и текущий краткосрочный кризис, и вековой цикл "Кондратьева — Хансена",

и "марксов" общий кризис. Так, во всяком случае, казалось еще лет 10-15 назад. Сегодня мы, кажется, опять оказались там, где были в 30-е годы, но об этом речь впереди.

Мы вспомнили здесь марксистов, Кондратьева, Хансена и Кейнса не только потому, что все они приложили руку к понятию "порядок кризиса". А главным образом потому, что это параллельная, "политико-экономическая" школа рассуждений об упадке. Ее рассуждения частично перекрывают рассуждения более популярной "общекультурной" школы. Помнить о политико-экономической школе очень важно, когда мы рассуждаем об "упадке" в терминах этнологии, культурологии, психологии или биологии. Не обязательно поминутно на нее ссылаться, но лучше не упускать ее из виду. Она ведь на самом деле самая, так сказать, реалистичная, но это к слову. Имея это в виду, посмотрим теперь на свидетельства упадка, которые упоминает Жан Гимпель.

#### **Свидетельства, аспекты, причины...**

В своей таблице Жан Гимпель перечисляет признаки "зрелости" общества, переходящего в фазу упадка. Легко заметить, что этот перечень довольно хаотичен. Признаки не классифицированы. Не выясняются связи между ними, в том числе причинные. Жан Гимпель не рассматривает "механизм" упадка. Он скорее рисует "портрет" упадка.

Тем не менее в этом "портрете" просматриваются некоторые элементы "теории" упадка, которые мы и попытаемся теперь вычлениить.

Общая схема упадка выглядит примерно так. На самой поверхности лежит наглядный признак упадка — остановка экономического роста. Отчасти за ним скрывается прекращение роста населения, отчасти — стабилизация производительности труда.

Глубже обнаруживаются некоторые культурные патологии — в мотивациях, установках, ценностях, в общем — в "идеологии".

Рядом с ними — элементы общественной практики. Марксисты сказали бы — элементы общественных отношений. Еще одна школа сказала бы — элементы институциональной структуры и практики.

Наконец, на самой глубине — особое психическое состояние популяции; сонливость и вялость; упадок творческой энергии.

Где запускается механизм упадка? На этот вопрос можно ответить по-разному.

Можно утверждать, что все начинается с психического угасания. Тут возможны разные версии. Например, можно предполагать, что популяции, как и индивиды, изнашиваются, устают, и в глубинах их подсознания возникает тяга к смерти. На мой взгляд, это поэзия, но сколько бы ни было в поэзии вздора, какое-то отношение к реальности она все же имеет.

Можно утверждать, что все начинается с остановки экономического роста. Возникают определенные настроения и через них — заколдованный круг упадка. Естественно, возникает вопрос, а почему прекращается экономический рост. На этот вопрос как раз пытались ответить экономисты типа Кондратьева или Кейнса. Пред-

лажавшиеся ответы никогда не были безусловно удовлетворительными, но кое-какой свет на проблему проливали. Экономический застой объяснялся истощением ресурсов, прекращением роста населения или (тут уже действует другая логика) резким нарушением равновесия между накоплением и потреблением. Большую роль в этих объяснениях играл и "закон падающего плодородия", который гласит, что каждый следующий рубль капиталовложений даст меньший доход, чем предыдущий, пока наконец фондоотдача не приближается вплотную к нулю.

Но можно также утверждать, что механизм упадка запускается в сфере культуры, и я инстинктивно отдаю этой версии предпочтение. Сферу культуры в данном случае удобно определить как сферу ценностей, установок, приоритетов, престижей и статусных знаков. Этот подход позволяет выделить в рассуждениях Жана Гимпеля один сюжет, который я теперь и разовью более подробно.

### **Техника и поэзия**

Жану Гимпелю кажется очевидным, что здоровый динамизм общества сочетается с интенсивностью его технического творчества. Именно таким он и рисует средневековье, опровергая укрепившуюся за этой эпохой репутацию. Упадок же общества сочетается с его безразличием к технике и одержимостью искусствами.

Если мы сосредоточимся на популярности техники и искусств и будем говорить о них, а не об упадке или расцвете общества или цивилизации в целом, нам будет легче обсуждать причины и условия упадка и подъема.

Если техническое творчество в упадке, то значит условия не благоприятны для него. Институциональные условия — поскольку общественные институты подавляют техническое творчество или, во всяком случае, не поощряют его. А также идеологические условия, так как ведется антитехническая пропаганда и нагнетается престиж мировоззрений и занятий, враждебных технической активности.

Займемся сперва институтами и их практикой. Бюрократизация общества и централизация власти, конечно, мешают техническому творчеству. Не то чтобы бюрократия была враждебна технике. Скорее наоборот. Но ее общий контроль над обществом означает рутинизацию всей общественной практики, включая и процедуру технических нововведений. В условиях глубокой бюрократизации, кроме того, у изобретателя эффективно отбирается контроль над его собственными идеями, что ослабляет мотивацию к нововведениям.

Безразлично в принципе, идет ли речь о государственной бюрократии или бюрократии частных корпораций. О некоторых частных корпорациях говорят, что они — государства в государстве. Единственное их преимущество перед государственным аппаратом в том, что они легче реформируются или разрушаются. Но в обычном состоянии их работа регулируется теми же принципами.

Два других институциональных обстоятельства гораздо более непосредственным образом влияют на судьбу технического творчества. Это — профессиональные монополии и узкая специализация труда.

Профессиональные монополии виноваты перед изобретателями, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, от них часто зависит признание и продвижение изобретения, а они отказываются признавать все, что происходит за их пределами. А без их "справки" ни одно изобретение не будет пользоваться доверием. Во-вторых, профессиональные монополии поощряют узкую специализацию. Об этом несколько позже.

Существование профессиональных монополий и их эгоистическое поведение, конечно, не извращения природы — они имеют рациональные основания. Профессиональные монополии, между прочим, хранители стандартов. Одна из их задач — предотвратить подделку и шарлатанство и поддержать престиж профессии. И они добиваются этого, но в силу некоторой прискорбной логики со временем сами превращаются в значительной мере в шарлатанов и, во всяком случае, имитаторов, паразитирующих на чужом историческом авторитете. Будучи сами творчески бесплодны, они все менее склонны допустить в профессиональную монополию свежие силы и все более жестоко преследуют внешние очаги обновления профессии.

Узкая специализация тоже в конце концов препятствует техническому творчеству. Это нелегко заметить, потому что она же ему и благоприятствует, и лишь на определенной стадии ее негативное воздействие перевешивает позитивное.

Дело в том, что узкая специализация ведет к образованию все более специализированных монополий в области научно-технического творчества. А они (помимо того, о чем мы говорили выше) превращаются во враждебные друг другу клики, борющиеся за потребителя новшеств. Самые сильные блокируют целые сферы технического творчества, отвлекая общественные ресурсы исключительно на себя — как, например, военная группа или знаменитая "мафия гидроэлектростанций" в СССР.

Таким образом, "физикам" в институционально зрелом обществе приходится плохо. Нет, разумеется, поток технических нововведений не прекращается. Но на них оказываются способны только мощные узкоспециализированные институты, которые, собственно, *обязаны* изобретать, а массы и отдельные личности остаются бесплодны и безразличны даже к уже готовым новшествам. За ними резервируется функция операторов, выполняющих свою работу исключительно по обязанности. Если техника и продолжает какое-то время развиваться, то уже, так сказать, сама по себе: в ситуации, когда техника — отдельно, а народ — отдельно. Народу остается артистическая активность.

Ни бюрократия, ни профессиональные монополии, ни узкая специализация не способны сдерживать артистическую активность. Казалось бы, они поощряют технику! Они, как могут, дают или монополизуют искусство! Результат — прямо противоположен их ожиданиям. Как это происходит?

Артистическая активность гораздо более общедоступна, чем техническая.

Во-первых, она менее фондоемка. Искусство можно делать, что называется, голыми руками. Уже поэтому артистической активности гораздо труднее помешать.

Во-вторых, гораздо труднее предотвратить распространение артистического продукта, чем технического изобретения. Цензура лишь превращает письменное общество в устное, а именно в устном обществе престиж поэзии, например, выше всего. В устном обществе исполнитель и имитатор становится престижной фигурой.

Стихотворчество и перформанс — самый простой ответ на попытки регулировать течение жизни. О нет, разумеется, бюрократизация, профессиональные монополии и узкая специализация отнюдь не повышают качество и значительность произведений искусства, создаваемых в этих условиях. Скорее наоборот.

Но они способствуют тому, что у людей резко возрастает потребность в компенсаторных мифах, и искусство становится главным полем личной активности.

Из всех искусств в застойном обществе, разумеется, наиболее процветает словесность. Музыка и живопись в меньшей мере, потому что их технический аппарат сложнее. Занятия музыкой и живописью, в отличие от словесности, требуют специальной подготовки и более капиталоемки. Разумеется, это препятствие пытаются обойти. Придумываются такие виды параартистической активности, которые позволяют выступить в роли артиста кому угодно. Этим объясняется широкое распространение многочисленных "измов", например, в живописи, позволяющих рисовать тем, кто рисовать, вообще-то говоря, не умеет.

Все же, конечно, главной сферой артистической активности, всасывающей в себя всех поголовно, оказывается литература. Слово — ресурс общедоступный. Общих критериев качества тут не существует. Любая группа, выработавшая свою групповую модификацию языка, устанавливает собственные критерии, и их никто не может опровергнуть; языковые сообщества суверенны.

Другая важная сторона дела заключается в том, что в этих условиях получает высокий статус потребление продуктов артистической деятельности. Оно приобретает черты демонстративного, показного потребления, обозначающего приобщенность потребителя к "высокому". Соприсутствие потребителя в творческом акте придает потреблению оттенок отправления культа. В потребителе активизируется всегда присущее потреблению искусства ощущение соавторства.

Вообще граница между производством и потреблением культуры стирается, благодаря чему общество в известном смысле возвращается в примитивное "дикарское" состояние, но это особая тема.

Все это происходит в условиях, когда общество формально продолжает нагнетать престиж техники, не обеспечивая в то же время для этого условий. Это лицемерие еще больше усугубляет ситуацию. Оттесненные в сферу искусства, массы начинают заниматься мстительным дезавуированием науки и техники. Начинаются разговоры

о зловредности рационализма, о плебейской сущности техники и аристократичности самой идеи искусства.

Возникает культ искусства. Искусство становится харизматическим институтом. Художники и поэты становятся проводниками политической моды, включая и моду на аполитичность. Артистическая активность как институт втягивает в себя и иные виды вербальной активности — паранауку, поп-интеллектуализм. Нарративная проза захватывается пророками, и они превращают ее в инструмент философско-политической пропаганды.

Все это отнюдь не ведет к расцвету искусств. На самом деле границы сферы искусства размываются, критерии утрачиваются, артистическая деятельность становится дисфункциональной, верх захватывают исполнительство, маньеризм и китч, замаскированные под творчество. Новые художественные идеи не принимаются. В мире исполнительства, маньеризма и китча на первый план выдвигается не идея и не продукт, а сам исполнитель.

Часто говорят, что все это — следствие демократизации общества. Что в демократическом обществе плебен становятся якобы артистами и подрывают стандарты, разжижают искусство. Но это неправда. Как настаивал Питирим Сорокин в книге 1941 года "Кризис нашего времени", парадоксальным образом происходит отрыв искусства от народа; разче выделяется профессиональная каста артистов. Эта каста с помощью дельцов качает из публики деньги и поклонение, ублажая взамен чувственность публики. Сорокин говорил о физических органах чувств; сегодня мы добавили бы к ним "престижный комплекс" — потребность в социальной лестнице, в ощущении принадлежности к высоко аристократической субстанции.

Все это происходит, разумеется, в условиях, когда подобные вещи экономически возможны. Но для того, чтобы такое было возможно, нужно общество с большим совокупным богатством и досугом, относительно равномерно распределенными. Именно в современном обществе это условие соблюдается. Все большее число людей может себе позволить не работать, а также куда-то должно девать деньги и свободное время.

Досуг, хотя и несколько извращенным образом, растет и внизу общества. Безработица — это ведь особым образом институционализированный досуг.

**Кто же загнивает: капитализм или социализм?**

Жан Гимпель так вопрос не ставит. Понятие "капитализм" косвенно и несколько эфемерно присутствует в его повествовании, а социализм вообще не упоминается. Это кажется странным, даже чудаческим в атмосфере, где идут бесконечные и ожесточенные, даже озлобленные споры о сравнительных достоинствах и пороках этих двух версий индустриального общества.

Жан Гимпель, рассуждая на темы упадка, пользуется исторической фактурой Запада, в частности Соединенных Штатов, этого, как он говорит, последнего бастиона западной цивилизации. Он ничего не говорит об опыте России и ее исторического преемни-

ка Советского Союза. В других работах он включает в свои схемы некоторые краткие пассажи о советском обществе, давая понять, что Советский Союз идет той же дорогой. Но он почти не обсуждает советскую фактуру, может быть, просто потому, что мало с ней знаком.

Тем, кто наблюдает за Советским Союзом более внимательно, легко добавить к иллюстрациям Жана Гимпеля советские материалы. С началом гласности материалы этого рода в советских средствах массовой информации растут лавинообразно.

То, что Жан Гимпель пишет о Западе и Соединенных Штатах в частности, должно быть, как мне кажется, советскому читателю интереснее, потому что это для него неожиданно. Картина собственного упадка безусловно заслоняет от советских людей то, что происходит в мире. Их также безусловно гипнотизирует благосостояние западного общества. Им не приходит в голову, что на самом-то деле об упадке вообще уместно говорить только относительно того общества, которое забралось довольно высоко по лестнице процветания. Если бы оно туда не забралось, то откуда бы оно падало?

Это правда, что говорить об упадке Запады, не включая в схему упадка советское общество, было бы самообманом и легкомыслием. Именно этим долго занималась община русских марксистов, упорно делавшая вид, что советское общество — здоровая альтернатива гниющему капиталистическому Западу.

Теперь, когда догматическое неразумие этих самоуговоров стало очевидным, разговоры в Москве об общем кризисе капитализма по существу прекратились. Можно понять, что собственные неудачи, замеченные со столь большим опозданием, создают теперь для советского общества такие проблемы, в тени которых затруднения американской фармацевтической промышленности (и даже американский государственный долг!) могут показаться смехотворными и ничего исторически не значащими.

Ирония судьбы, однако, заключается в том, что в марксистском анализе тенденций капитализма к упадку содержалось много реалистических наблюдений. Они никогда, кстати, не были полной монополией марксистов. Просто не марксисты никогда не выражали свои наблюдения в такой пророчески-приказной форме и не утверждали, что знают рецепт от упадка.

Но вспомним все же, что говорили марксисты. Они говорили, например, что капитализм порождает все большее паразитическое потребление, которому сопутствует разбухание паразитической сферы услуг. Или что капитал в перезрелой капиталистической стране утекает туда, где ему обеспечены более высокие прибыли. Монополии становятся враждебны новым идеям. Бизнес бюрократизируется, а государственная бюрократия коррумпируется. И другое.

Конечно, в сложном обществе, где так или иначе личная инициатива если и подавляется, то все же конституционно обеспечена, постоянно возникают компенсирующие тенденции. Есть также такая

вещь, как инерция. Можно также какое-то время жить в долг. Упадок тормозится, может даже сменяться краткосрочными приступами активности, но историческая тенденция идет вниз.

Марксисты все говорили правильно. Они слишком увлеклись ожиданием конца капитализма, но диагноз их был вполне обоснован. Между прочим, когда их теории гибели капитализма зарождались, они базировались на очень убедительной эмпирии. Это сейчас кажется (особенно в советском обществе), что капитализм доказал свою жизнеспособность и что "соревнование двух общественных систем" благополучно завершилось к вящей славе замечательного капитализма и полному позору противного социализма. Но еще полвека назад очевидным казалось прямо противоположное. Первая мировая война и последовавший за ней затяжной экономический кризис недвусмысленно предвещали конец. Легко теперь смеяться над теми, кто тогда ошибся в прогнозах. Легко называть дураками или негодяями тех, кто с торжеством готовил похороны капитализму. Надо сказать, что если мы приглядимся к тем, кто сегодня готовит похороны социализму, то обнаружим, что это фактически те же люди, что ровно эпоху назад готовились плясать на могиле капитализма. Это — большинство, которое возбужденно торопится присоединиться к позиции, кажущейся очевидно правильной. Увы, на самом деле ничего очевидного вообще не бывает.

Так или иначе, а декорации, что называется, переменялись. До второй мировой войны политическая критика декаданса (как критика слева, так и критика справа) была направлена на капитализм. И правых, и левых в капитализме возмущало одно и то же: индивидуализм и торгашески-рыночный дух. Они связывали упадок общества именно с ними и, более того, считали распространение индивидуализма и торгашески-рыночного духа сами по себе проявлениями упадка. Как реакция на декаданс возникли фашизм справа и социализм слева. Теперь, после практических неудач социализма, критика упадка и пафос возрождения стали иными. Про капитализм забыли. На Западе партии, пытающиеся возглавить "возрождение", весь свой критический огонь направляют на социализм. Они имеют при этом в виду не только Советский Союз и Восточную Европу, где социализм был объявлен в конституционных терминах, но и собственные общества, пережившие после второй мировой войны серьезную модификацию.

#### **Был ли на Западе социализм?**

Формально антисоциалистическую окраску на Западе имеет неоконсервативная философия. Она смотрит на современное западное общество как на социалистическое и призывает вернуться назад в "здоровый" и динамичный XIX век. Итак, в оценке современного западного общества классический московский марксизм и западный неоконсерватизм сходятся. Оба считают, что западная цивилизация дышит на ладан. Но они резко расходятся в одном: Москва считала, что испускает дух капитализм, а неоконсерваторы — что социализм.

Московские марксисты чрезвычайно усложнили диагностические задачи тем, что отказались (или не сумели) правильно понять радикальные изменения в западном обществе после второй мировой войны. Они, например, упорно уговаривали себя, что ничего не изменилось в положении трудящихся на Западе. Или что ничего не изменилось в рыночном механизме экономики. На самом же деле изменилось очень многое. Если не настаивать на догматической и узкой интерпретации социализма московским Институтом марксизма-ленинизма, то нужно признать, что неоконсервативная критика западного общества 70-х годов — не только самообман и демагогия. В ней есть и рациональное зерно.

Дело в том, что в послевоенной модификации западного общества активное участие принимали социалистические партии и им так удалось глубоко "социализировать" общество. Так или иначе, в системе, которую Москва упорно продолжала называть "государственным капитализмом", резко возросли фонды общественного потребления, экономические права трудящихся, общественное (через государство, местные власти и общественные институты) регулирование рынка.

Спор о том, был это социализм или нет, я думаю, схоластичен и ни к чему не приведет: это партийный спор. В сущности, он идет о том, какие партии следует обвинять в тех кризисных затруднениях, с которыми теперь имеет дело Запад. В многопартийных обществах, в постоянной предвыборной борьбе это — самое мясо общественной жизни. Поскольку с прошлого века партийный мир на Западе состоит из двух, так сказать, долей, и одна из них называет себя "социалистической", то вопрос о причинах кризиса приобретает эту форму: кто виноват, виноваты ли социалисты и, стало быть, виноват ли социализм?

Постараемся избавиться от этой партийной формулировки и обратим внимание на то, что же, в сущности, произошло. Что толку обвинять "капитализм" или "социализм"? Это ведь клички, ярлыки, абстракции, условности. Если уж искать виноватых, то среди людей, а не среди идей.

### **Кризис и трудящиеся**

Неоконсервативная критика западного общества весьма часто приобретает гораздо более конкретный характер. Неоконсерваторы часто намекают, а нередко довольно открыто говорят, что динамизм западного общества был принесен в жертву краткосрочным материальным интересам плебейских масс.

Что ж, в системе государственно-монополитического капитализма (как ее называют марксисты) или социализма (как ее называют неоконсерваторы) нашлось теплое место и рабочему классу, который также несет за эту систему, по меньшей мере, часть ответственности. Неоконсерваторы, конечно, все валят на него, что в высшей степени несправедливо, но такова уж реальность партийной борьбы: партия буржуазии не станет в чем бы то ни было обвинять класс, интересы которого она представляет, если есть хотя бы ма-

лейшая возможность обвинить кого-нибудь другого. А такая возможность есть.

Что же случилось с наемным классом на Западе и какое это имеет отношение к проблеме упадка цивилизации?

В результате упорной борьбы рабочий класс на Западе добился безусловного материального благополучия. Но этого удалось добиться не только с помощью забастовок и голосования на выборах. С 30-х годов на Западе началась широкая перестройка, которую часто называют "кейнсианской революцией". Джон Мейнард Кейнс, имя которого символизирует до некоторой степени всю послевоенную политическую историю, совершил глубокий переворот в экономической теории. Кейнс сумел внушить буржуазии и широким политическим кругам, что для самой буржуазии и для национальной экономики целесообразно обеспечить высокий уровень совокупного платежеспособного спроса за счет нижних социальных слоев. Легко понять, что кейнсианская экономическая логика надолго стала логикой левых партий.

После некоторой заминки она была принята также и правыми партиями, в которых в те времена были еще сильны традиционные патерналистские убеждения и которые с другой стороны, именно в силу своего консерватизма думали в первую очередь о сохранении "закона и порядка", то есть социального мира.

Тот мир изобилия и всеобщего благополучия, который застали на Западе ошалевшие советские эмигранты 70-х годов, появился на свет совсем незадолго до их приезда и был результатом кейнсианской революции в экономическом мышлении. Она радикально изменила положение трудящихся, сделала распределение доходов равномерным, покончила с нищетой, дала трудящимся блага, которые раньше были привилегией. И... превратила их в социальный слой с психологией привилегированного слоя. Заработная плата приобрела черты ренты. Класс трудящихся *рантье ризировался*. И стал сторонником статус-кво, как и всякий социальный слой, чьи жизненные амбиции удовлетворены.

Сторонники социализма любили говорить: капитализм — проблема, социализм — ее решение. Попытки выйти из тупика, в который привел общество капитализм, привели общество к социализму. Казалось, что выход найден. Но через какое-то время проблема кризиса и упадка встала вновь.

Социализм или усугубил тенденцию к упадку, или не смог ее остановить. Поскольку социализм — это порождение и продолжение капитализма, трудно будет (если возможно вообще) решить вопрос о виновниках упадка в объективных и недвусмысленных терминах. Разбирательство, кто ведет в тупик — "капитализм" или "социализм", — само, кажется, ведет нас в эмоциональный и интеллектуальный тупик.

Практически более интересно, на мой взгляд, рассуждать о расцвете и закате популяций, а также о диагностировании упадка, что и возвращает нас к работе Жана Гимпеля.

### **Ключевой вопрос**

Если мы, анализируя разнообразные тенденции в каком-либо обществе, соглашаемся, что оно вступило в фазу упадка, то встает вопрос: что, собственно, происходит — кризис системы ценностей, на которых основано данное общество? Или просто данное общество больше не в состоянии реализовать эту систему ценностей? Эти вопросы естественно встают, как только мы вспоминаем одно обстоятельство, которое до сих пор игнорировали, а именно: чей-то закат всегда сопровождается чьим-то восходом.

В этом году произошло знаменательное событие: Япония обогнала Соединенные Штаты по размерам валового продукта на душу населения. Это событие окончательно зафиксировало переход инициативы от Запада к Дальнему Востоку. Переход, о котором говорят уже давно.

В связи с тем, что мы говорили раньше, — что этот переход означает? Торжество капитализма над социализмом? Или торжество социализма над капитализмом? Торжество дальневосточной цивилизации над западной? Или просто смену лидера всемирной цивилизации? Если последнее, то: стала ли в течение XIX-XX века западная цивилизация по существу всемирной и теперь будет только менять лидеров? Или при смене лидеров лишь элементы западной цивилизации включились в какую-то новую?

Наконец, что будет означать утрата лидерства для тех, кто лидерство утратил? Длительный застой и исчезновение — то есть растворение в чуждом этническом материале и утрата геополитического статуса? Или те, кто проигрывает сегодня, могут рассчитывать на реванш? Или, по крайней мере, на достойное партнерство с новым лидером?

Ответы на эти вопросы еще не видны — они за историческим горизонтом. Но эти ответы будут зависеть от того, как своевременно и в какой форме мы зададим соответствующие вопросы. Жан Гимпель сейчас оказался одним из тех, кто нащупывает актуальные вопросы и способы их сформулировать.

## ЗАГАДКИ ПРОШЛОГО

---

*Михаил Хейфец*

### ЦАРЕУБИЙСТВО 1918 ГОДА; ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

*(окончание; начало см. в №№ 74, 75)*

СОКОЛОВСКО-ДИТЕРИХСОВСКИЕ ЕВРЕИ. Что произошло в Ипатьевском доме, сегодня достаточно известно. Там произошло зверское убийство царской семьи. Как именно оно произошло и кто был организатором и виновником преступления — вот что известно меньше и вот что нас интересует. Казалось бы, ответ на этот вопрос вполне доступен — на него должно было ответить следственное дело. Но, листая его страницы, мы все больше убеждаемся, что в нем анализ преступления неразрывно переплетается с сознательной фальсификацией. Начало этой фальсификации положил главный колчаковский следователь по делу о царевубийстве Николай Соколов, назначенный генералом Дитерихсом. Как и почему он это сделал, мы сейчас увидим, как только познакомимся с делом поближе.

Объясняя, как он понимает процесс следствия, следователь Соколов однажды обмолвился, что оно "есть свободное творчество, по определению, данному Достоевским". Понаблюдаем хотя бы одним глазком, как именно этот юрист, работающий "под Достоевского", составлял следственную версию.

Вот он допрашивает шофера Самохвалова: "Из дома (Ипатьевского — М.Х.) вышли комиссар Голощекин, комиссар Авдеев, еще какие-то два лица, и мы все поехали на станцию. Их (царя и царицу) посадили в мой автомобиль. Командовал здесь всем делом Голощекин... Комиссара Юровского я знал. Не помню, чтобы он был на вокзале." А вот показания царского камердинера Волкова об обстоятельствах прибытия цесаревича с сестрами: "Начальник тюрьмы сказал,.. что нас привозил и сдавал ему Юровский."

Казалось бы, что можно извлечь из таких показаний? Но для Соколова они становятся исходным пунктом сквозного идеологического сюжета, проходящего через все его следствие. Именно идеологического, поскольку Соколова интересует найти не просто преступников, но — вполне опреде-

ленных преступников.

"Прибытие в Екатеринбург императора, — пишет он, — вскрыло фигуру главного распорядителя Голощекина. Прибытие детей — Юровского". И далее, характеризуя этих двух людей, заранее намеченных им на роли "распорядителя" и "исполнителя" преступления, Соколов старательно подчеркивает: "Шая Исакович Голощекин — еврей, 1876 года рождения, партийная кличка — Филипп. Юровский Яков Михайлович — еврей, 1878 года рождения."

Возможно, Соколов полагал, что своей цели он добился. Он задался целью найти "преступников-евреев", и он их "нашел". В действительности, однако, это был сомнительный успех. Бруцкус, неопубликованная работа которого, найденная в иерусалимском архиве, как раз и посвящена, в основном, следственной "методике" Соколова, пишет в этой связи: "Представьте себе, что следователь,.. обязавшийся доказать, что во всем виноваты евреи,.. искатель заранее означенной "правды", вместо богатейшего клада находит жалкий огрызок. Легко представить волнение национального духа, когда во всех списках лиц, прикосновенных к екатеринбургскому делу,.. евреев оказалось всего двое! Оставалось Соколову только одно — возместить количество качеством, т.е. уравнивать каждого из двух евреев сотне злодеев-неевреев."

Каким же способом Соколов этого добивался? Он не утруждал себя сложной дедукцией, его методика была самой примитивной. Вот он допрашивает камердинера Чемодурова, и тот упоминает, что сразу по прибытии в Ипатьевский дом царскую семью подвергли личному обыску, который проводил комиссар Дидковский. Имеется в деле у Соколова также собственноручная расписка другого комиссара, Белобородова, в получении пленников на вокзале. Казалось бы — не нужно быть блестящим следователем, чтобы "догадаться", что Дидковский и Белобородов и были теми "двумя комиссарами", которых "не смог" припомнить Самохвалов. Соколов, однако, эти данные не использует. Вместо них он предъявляет Волкову для опознания фотографию Юровского. Волков говорит: "Мне кажется, что это не тот." Тем не менее Соколов, как мы уже видели, заключает, что именно Юровский и есть "главное лицо преступления", а Голощекин — его непосредственный начальник. Таковы приемы колчаковского "искателя правды".

Точно такая же система "доказательств" и приемов характерна и для других лиц, причастных к следствию. Вот, например, каким образом журналист Вилтон, единомышленник генерала Дитерихса, обрушивается на колчаковского министра юстиции Старинкевича, который "посмел" заявить, что евреев среди участников царевубийства найти не удалось: "Степень вины лиц, замешанных в преступлении, — отчитывает Старинкевича Вилтон, — действительно не была окончательно установлена на начальных стадиях расследования, но сами эти лица были известны, как и то, что

они евреи". И далее идет перечисление: Юровский, Голощекин, Сафаров, Волков... Неважно, что Войков назван Волковым, что Сафаров к еврейству отношения не имел; главное заявлено: "Эти лица... евреи".

Любопытно, что у Соколова не было, в действительности, "национального компромата" даже и на Голощекина. Свой "вывод" о его еврействе Соколов сделал на основании всего двух показаний, каждое из которых по-своему малодостоверно. Курьер Логинов, признав, что Голощекина знает меньше недели, тем не менее уверенно заявил: "По национальности он еврей". А горный инженер Котенов высказался еще более "убедительно": "Голощекина я не знаю. По национальности он жид."

Это и все данные о еврействе Голощекина, которые удалось обнаружить в следственном деле. Излишне говорить, что Соколов не задал этим "свидетелям" ни одного дополнительного вопроса. Он справедливо опасался, что "версия" о еврействе Голощекина может лопнуть.

В следственном деле нет и достоверных показаний о "руководящей роли" Голощекина. Эти показания Соколов возмещает по тому самому "методу Достоевского", который он так восхваляет. Как пишет Бруцкус, в ход идет все — политика, психология и даже история с философией. "У Голощекина, доказывает Соколов, были хорошие связи с Москвой, а кремлевское правительство, организовавшее убийство в Екатеринбурге, несомненно имело в этом городе своего человека. Это кремлевское правительство он (Соколов — М.Х.) выставляет в виде еврея Свердлова, а "своего человека" данного еврея — в виде еврея Голощекина."

"Логика" второго главного фальсификатора, генерала Дитерихса, солдатски грубее и проще. Дитерихсу совершенно "очевидно", например, что доктор Сакович, несмотря на подозрительную фамилию, евреем быть не может, потому что он в прошлом гусар. А вот "председатель Белобородов и его помощники Сафаров, Войков, Голощекин, Поляков, Краснов, Хотимский — все евреи." Несколько дальше в двухтомнике Дитерихса евреями — на тех же "основаниях" — объявляются еще Чуцкаев и Сыромолотов. Возбужденная фантазия генерала работает вовсю. Сафаров, например, приехал в Россию в одном поезде с евреем Троцким-Бронштейном — значит, сам еврей (хотя Сафаров ехал в одном вагоне с Лениным, а не с Троцким). Сыромолотов — "многие утверждают, что он еврей"! И так далее.

Бруцкуса эти приемы доводят прямо-таки до иступления. Дитерихс, пишет он, руководствовался принципом — во что бы то ни стало доказать, что "русский народ в этом деле не участвовал", а Соколов ему активно и сознательно помогал.

Сознаюсь — я долго не мог поверить, что юрист царской выучки жертвует своей профессиональной репутацией ради "идеологической фальсификации". Окончательно убедил меня эпизод с Белобородовым.

Многие детали подготовки царевубийства оказались погрешенными в

телеграммах, которыми обменивался в те дни Екатеринбург с Москвой. Все они зашифрованы, без шифровки осталась только подпись. Подпись эта неизменно одна и та же — Белобородов. К чести Соколова, на телеграммы первым обратил внимание именно он (хотя расшифровали ему их значительно позже, уже в эмиграции). Естественно, Соколов стал немедленно пробовать Белобородова, что называется, "на зуб": не еврей ли? Уже в наши дни профессор Шафаревич в своей "Русофобии", следуя вымыслам русских эмигрантов-монархистов, ничтоже сумняшеся объявил Белобородова... Вайсбардом. Соколов, однако, пошел "другим путем". Он занялся "свободным творчеством", которое позволяло и "профессионализм" соблюсти, и евреев-преступников отыскать. Поскольку последняя из упомянутых телеграфных лент подписи Белобородова не имела (она вообще не была подписана), то Соколов приписал ее... Голощекину. Логика его рассуждений была проста: Свердлов обращался к своему екатеринбургскому собеседнику на "ты", а на "ты" он мог быть только с Голощекиным, поскольку они были давние знакомцы.

Всячески "топя" Голощекина, следователь Соколов одновременно всячески выгораживал и умалял роль Белобородова. В действительности, однако, как видно из самого следственного дела, именем Белобородова подписаны документы, имевшие отношение к самым страшным эпизодам дела, ко всей подготовке преступления. Между тем Голощекин во время этой подготовки находился в Москве и вернулся оттуда только 12 июля, "на готовенькое". Следовательно, Соколов, в соответствии со своей юдофобской установкой, фактически выгораживал одного из главных убийц — и все потому, что того никак нельзя было объявить евреем, а Голощекина — можно. Не случайно сегодняшние историки, спустя семь с лишним десятилетий после окончания следствия, все еще вынуждены заниматься не только исследованием обстоятельств преступления, но и элементарной проверкой и розыском всех первичных данных. С царевубийством 1918 года в действительности связаны сразу два преступления: само убийство и его фальсификация колчаковским следствием Соколова-Дитерихса.

**УБИЙЦЫ.** Обстоятельства этого преступления образуют любопытную, почти детективную канву. Как полагали раньше некоторые историки, за время пребывания царской семьи в Ипатьевском доме была сделана, как минимум, одна попытка ее спасения: заключенные как будто бы получили тайные письма от организаторов похищения и даже ответили на них, но затем заговор был "обнаружен", и в доме была сменена вся охрана. История с этим неудачным "спасением" — загадка номер один. Другим требующим объяснения моментом следует признать характер произошедшей параллельно с царевубийством казни некоторых других членов царской семьи (содержавшихся в других местах заточения). Она была преподнесена, как убийство при попытке к бегству. Поскольку, как сказано

выше, подготавливалось и бегство самого царя с его семьей, то обе истории оказываются каким-то образом связанными.

Их загадочность состоит в том, что, как выяснилось в последнее время, никаких попыток к бегству в обоих случаях не было и в помине. Например, Гелием Рябовым установлено, что пресловутые "письма" в Ипатьевский дом и обратно были написаны на одном листе бумаги, оказавшемся в ВЧК!

Иначе говоря, кому-то очень нужно было создать видимость подготовки побега. Зачем? И кому?

Здесь нам придется перейти от фактов к собственным гипотезам. Смею, однако, надеяться, что эти гипотезы прольют новый свет и на сами факты.

В опубликованном недавно дневнике Троцкого, под датой, когда к нему пришло сообщение, что его старший сын Сергей исчез в застенках Ягоды, есть запись на интересующую нас тему. То ли потому, что исчезновение сына напомнило Троцкому судьбу детей царя, то ли по другой причине, но именно в этот день Троцкий записал следующее свое воспоминание: "В один из коротких наездов в Москву я мимоходом заметил на политбюро, что ввиду плохого положения на Урале, следовало бы ускорить процесс царя. Я предлагал открытый судебный процесс. Ленин откликнулся в том смысле, что это было бы очень хорошо, если б было осуществимо. Но... времени может нехватить... В политбюро нас, помнится, было трое-четверо: Ленин, я, Свердлов... В следующий мой приезд.. уже после падения Екатерибурга... я мимоходом спросил Сведлова: "Да, а где царь?" "Кончено, — ответил он. — Расстрелян." — "А семья где?" — "И семья с ним." — "Все?" — "Все, — ответил Свердлов. — А что?" — "А кто решал?" — "Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях"... Больше я никаких вопросов не задавал... По существу решение было не только целесообразным, но и необходимым."

Ричард Пайпс, в сущности, присоединяется к этой неприятной для легенды о Ленине-гуманисте версии. Он пишет: "Есть довольно веские подтверждения, что вскоре после начала чешского восстания Ленин поручил ЧК начать подготовку к уничтожению всех Романовых... По указанию Ленина ЧК собиралось устроить изощренные провокации. В качестве повода для убийства надо было использовать инсценированные побеги. В Перми и Алапаевске (где находились другие члены царской семьи — М.Х.) замысел удался, в Екатеринбурге он не понадобился."

Эта гипотеза Пайпса кажется нам вполне удовлетворительно разъясняющей загадку "двух побегов", о которой мы говорили выше. Она представляется тем более убедительной, что одновременно разъясняет и тот странный факт, что 18 июня Ленин специально дал интервью либеральной газете "Наше слово", в котором туманно сообщил, что правительству

"пока неизвестно", верны ли слухи о побеге Николая с семьей. Опровержение слухов последовало только через неделю — раньше правительство, якобы, никак не могло получить информацию из Екатеринбурга (хотя поддерживало с ним ежедневную телеграфную связь!). Пайпс в этом месте предполагает, что "слухи (о побеге — М.Х.) распускались Москвой с целью проверить реакцию общественности..." Когда же "народ в целом, как интеллигенция, так и массы, не выказал никакого отношения к судьбе бывшего царя", это "решило участь царской семьи".

У Пайпса, однако, есть одно упущение: он почему-то не сопоставляет хронологию совнаркомовских действий с екатеринбургскими событиями. Сопоставив их, я обнаружил такое любопытное совпадение: в те самые дни, когда в Кремле начали свою провокацию, в Ипатьевский дом доставили первые "секретные письма" о подготовке "побега". "Спасителей" ожидали в ночь на 27 июня; они, разумеется, не появились. Зато на следующий день в столичных газетах появилось сообщение, что Романовы живы-здоровы. Иными словами, зондаж ситуации Совнаркомом протек абсолютно синхронно с действиями провокаторов, орудовавшими вокруг Ипатьевского дома по заданию Ленина. Это — дополнительный аргумент в пользу гипотезы Р.Пайпса.

Р.Пайпс не знал, что задолго до него аналогичное убеждение высказал Бруцкус: участие Ленина в цареубийстве было направляющим и решающим. Не исключено, что какое-то участие в нем принимал и Сталин (тот самый, "забытый" Троцким, "четвертый член политбюро", вполне подходящий для такого дела по квалификации и темпераменту). Однако после отъезда Сталина в Царицын, последовавшего 5 июня, роль главного политического куратора всего дела, по всей видимости, перешла к другому ленинскому соратнику. Им был председатель ЦИКа Советов Яков Михайлович Свердлов.

Яков Свердлов всегда был темной лошадкой большевистского штаба. Типичный "практик", он ни разу не бывал за границей, поэтому до 1917 года Ленин даже не знал его лично. В апреле 1917 года, прибыв в Россию, вожь решил было первым делом выбросить незнакомца из нового ЦК, но неожиданно наткнулся на такое твердое сопротивление собственных функционеров, что уступил и ввел Свердлова в руководство. Вскоре тот сделался его ближайшим помощником, оттеснив на второй план даже прежнего адъютанта Зиновьева.

Ленин был несомненно харизматической личностью, но как руководитель правительства, каковым он стал после революции, имел кардинальный недостаток: он непрерывно занимался мелочами, зато упускал из виду центральные административные проблемы. В разгар гражданской войны он, например, мог вдруг предложить Троцкому уволить из армии всех бывших офицеров, даже не подозревая, что их там свыше 30 тысяч! Но этот недостаток компенсировался у Ленина ценным достоинством: зная

свои особенности, он не боялся возвышать рядом с собой выдающихся администраторов. Это и была, мне думается, причина карьеры, сделанной в большевистском штабе такими неожиданными и во всем остальном непохожими друг на друга людьми, как Троцкий, Сталин и Свердлов.

В 1917 году к победившим большевикам хлынула масса левонастроенных авантюристов. Хозяином-распорядителем этой массы и стал Свердлов; фактически он отстраивал для Ленина совершенно новую партию, в которой старый, подпольный ее слой оказался в явном меньшинстве.

Именно этого человека следователь Соколов посчитал главной кремлевской пружиной царевубийства. В своей характеристике Свердлова Соколов естественно не скупится на перечисление его заслуг перед большевиками — ему нужно показать, что Свердлов действительно крупная фигура. Бруцкус, однако, куда более скептичен. Он знает, что "первый президент Российской Советской республики был не Яков Михайлович Свердлов, а Яша, или, чаще, Яшка Свердлов, который так Яшкой и умер. Он и на стезе высокой остался тем же хулиганом, каким был всю жизнь. Избрание Свердлова в председатели ЦИКа было одной из знаменитых "улыбок" Ленина... Свердлов отличался пронзительным голосом и решительными манерами. Лучше него никто не мог прикрикнуть,.. закрыть рот хулиганской угрозой или ударом кулака об стол."

Характеристика Бруцкуса язвительна, тем не менее догадка Соколова о ведущей роли Свердлова в организации царевубийства представляется совершенно правильной: все телеграммы из Екатеринбурга в Москву имеют двух адресатов: "Совнарком; Председателю ЦИК Свердлову". Этот факт подкрепляет утверждение Бруцкуса-Пайпса, что верховным "куратором" всей затеи был все-таки сам Ленин. Вдобавок он показывает, как осторожно вел себя Ленин в этом деле: в отличие от Свердлова его фамилия нигде в телеграммах и переговорах не фигурирует! На некоторых телеграммах иногда стоит: "Секрсовнаркома Горбунову" — еще одна ленинская уловка. Наивно же думать, что единственным человеком в кремлевском правительстве, который интересовался судьбой Романовых, был какой-то "секретарь" Горбунов. Но если вспомнить, что Горбунов был не просто секретарем Совнаркома, а личным секретарем его председателя Ленина, то ситуация проясняется. И Соколов, который Ленина выгораживает едва ли не так же, как Белобородова, и тут оказывается виновен в фальсификации. В наши дни на эту фальсификацию неожиданно клюнул известный журналист, первооткрыватель места захоронения останков царской семьи Гелий Рябов. В одном из своих интервью он заявил, будто на заседании президиума ЦИКа, где обсуждался вопрос о казни царской семьи, Ленин, якобы, выступил против, а оставшись в меньшинстве даже демонстративно ушел.

Эта история про "гуманного Ленина" совершенно невероятна. Невероятно уже, чтобы большевики обсуждали такой вопрос в ЦИКе, где тогда

еще сидели левые эсеры. Еще менее понятно, почему в таком случае никто из участников этого многолюдного собрания не оставил ни следа воспоминаний о таком обсуждении.

Нет, мне представляется куда более правдоподобной гипотеза, что вопрос решался не в ЦИКе Советов, а в ЦК большевистской партии. Нетрудно установить, кто его мог там решать: из 15 членов и 8 кандидатов в члены ЦК в Москве в те дни находилось только семеро — Ленин, Свердлов, Дзержинский, Шмидт (тогдашний секретарь ВЦСПС, так сказать — представитель общественности и рабочего класса одновременно), Владимирский и Петровский (оба из НКВД), а также Стучка, нарком юстиции. Реальное значение имели, конечно, только трое первых. И Ленину вовсе не нужно было "демонстративно уходить", чтобы убедить оставшихся в "целесообразности" срочной казни Романовых — его авторитет в этом кругу был непререкаем.

Уже после окончания первого варианта этой книги я прочитал в советском еженедельнике "Аргументы и факты" следующее сообщение журналиста Радзинского. Обнаружена, оказывается, еще одна, прежде неизвестная екатеринбургская телеграмма. Она была получена в Петрограде, переслана Зиновьевым Ленину и гласила следующее: "Сообщите Москву, что условленный Филипповым (Филиппом Голощекиным, во время его пребывания в Москве — М.Х.) суд по военным обстоятельствам не терпит отлагательства. Если ваше мнение противоположно, сейчас же вне всякой очереди сообщите."

Этот поразительный документ имел не менее поразительную судьбу: по рассказу Радзинского, один из охранников Ленина, некто Акимов, получил приказ отнести ответ Кремля на телеграф и забрать оттуда и саму телеграмму, и ленту. Телеграфист ленту выдать не захотел, и Акимову пришлось для убедительности пригрозить ему. Не успел он еще вернуться в Кремль, вспоминал Акимов, как об инциденте уже стало известно Ленину.

Как толковать весь этот рассказ? На мой взгляд, он неопровержимо свидетельствует о непрерывном внимании, которое Ленин лично уделял ходу задуманного дела. Роковая телеграмма пришла через Зиновьева, чтобы опять-таки не связывать Кремль с уральцами напрямую и не оставлять следов; по этой же причине ответ на нее был дан "на условном языке", как позднее вспоминал в своей автобиографической "Записке" Юровский; а кроме того и этот ответ, и даже ленту с его текстом велено было изъять (вот почему, повидимому, до сих пор обнаружены только телеграммы из Екатеринбурга в Москву, но не обратно); сам Ленин, если верить Акимову, лично и бдительно следил, чтобы в организации этого конспиративного дела не было никаких "проколов".

Гипотезу о руководстве Ленина делом царевубийства можно считать доказанной. Только она позволяет понять многие запутанные, противоре-

чивые и темные детали этого дела. Ленин настоял — ЦК решил — Свердлов организовал — в Екатеринбурге выполнили и еще взяли на себя ответственность за решение. Однако в этой цепочке существовало, оказывается, еще одно звено.

**ПЕРМСКИЕ ПОДРУЧНЫЕ.** Как мы уже сказали, не стоит умалять "выдающуюся" роль Свердлова. Именно он вел все главные переговоры с Екатеринбургом и именно он передавал туда все кремлевские указания по организации дела. Один из таких разговоров, после убийства (с инсценировкой "побега") царских родственников в Алапаевске, как раз и дал мне возможность нащупать упомянутое и доселе совершенно неизвестное промежуточное звено преступной цепи.

Разговор этот, неизвестно кем и почему записанный в Екатеринбурге, попал в руки следователя Соколова. Это был тот самый разговор, на основании которого Соколов, как мы уже рассказывали, утверждал, что собеседником Свердлова, а стало быть — и главным преступником в Екатеринбурге был не Белобородов, а Голощекин. Примечательно, что в своих секретных "комментариях для себя", записываемых в ходе следствия, Соколов называет участником этого разговора со Свердловым не Голощекина, а именно Белобородова. Иными словами, он знал истину и стало быть в следственном отчете сознательно писал ложь. Но о методах Соколова мы уже говорили выше, поэтому обратимся к самому разговору Свердлова с Белобородовым.

Свердлов спрашивает, кто организовал неудачную инсценировку в Алапаевске (там произошла перестрелка и мнимый "спаситель" был убит). Белобородов отвечает, что ему еще ничего не известно, ведется расследование. Тогда Свердлов дает прелюбопытное указание: "Немедленно запросить Мотовилиху и Пермь." После чего передает Белобородову текст будущего правительственного сообщения о "казни царя по решению Уральского областного совета".

Это то самое "решение", которое позже войдет в историю и которое на самом деле никогда не было принято. Но мы уже знаем и об этом, поэтому обратим внимание на другую деталь.

Судя по характеру разговора, ясно, что Свердлов, как и Белобородов, в этот момент еще не имел информации из Алапаевска. И в этой ситуации он дает Белобородову указание, куда обратиться за такой информацией — "в Мотовилиху и Пермь". Видимо, Свердлову было известно, что его собеседник знает, к кому там обращаться.

Упоминание "Мотовилихи и Перми" заставило меня обратить внимание на другую телеграмму в следственном деле: "Пермь, Лукоянову. Прошу пригласить немедленно аппарату Сыромолотова для важных переговоров. Белобородов."

Кто такой Лукоянов? Согласно показаниям его сестры Карнауховой,

это организатор и председатель Уральской ЧК. Бросается в глаза, что в момент пребывания бывшего царя в Екатеринбурге глава местных чекистов почему-то переместился в Пермь. Это само по себе странно. Единственное объяснение может состоять в том, что Пермь играла важную роль в системе большевистского руководства всеми событиями на Урале. Еще более странный узел завязывается вокруг Сыромолотова. Его имя упоминается также в телеграмме Белобородова от 4 июля 1918 года: "Москва, председателю ЦИК Свердлову для Голощекина. Сыромолотов как раз поехал для организации дела согласно указаниям центра опасения напрасны точка Авдеев (первый комендант Ипатьевского дома — М.Х.) смнен его помощник Мошкин арестован вместо Авдеева Юровский внутренний караул весь смнен заменяется другим точка Белобородов".

Прежние исследователи единодушно сошлись во мнении, что первая часть телеграммы к царевубийству отношения не имеет. Сам Соколов писал: "Установлено, что в ней речь идет о вывозе денег из Екатеринбурга в Пермь, куда для этой цели и ездил комиссар финансов Сыромолотов." Однако после того, как Свердлов упомянул Пермь как источник информации для Белобородова, а Белобородов пригласил Сыромолотова — из Перми! — на конфиденциальные переговоры, причем не прямо, а через председателя ЧК, я взглянул на телеграмму другими глазами.

Что мы знаем о Сыромолотове? Судя по характеристике энциклопедии "Гранат", это был опытный большевистский экспроприатор и боевик, тесно связанный со Свердловым. Еще более интересно дальнейшее: "С сентября 1918 года отозван в Москву, введен в коллегию наркомата финансов, в апреле 1919 года назначен членом Президиума ВСНХ, заведующим финансами ВСНХ, членом Малого Совета народных комиссаров, членом президиума Госплана."

Головокружительная карьера! И притом — сразу же после убийства Романовых! В этой связи становится особенно существенной информация, которую я почерпнул в книге израильского (а до этого — русского) инженера Моше Новомейского. В бытность в России он работал на Урале вместе с Сыромолотовым. В своей книге он, в частности, упоминает, что Сыромолотов отличался крайней жестокостью к рабочим, а затем говорит: "Когда я потом услышал о его участии в убийстве царской семьи, то не был удивлен. Говорят, Романовых убили евреи. Чепуха, я лично знал Белобородова и Сыромолотова, оба русские."

Откуда Новомейский мог знать об участии Сыромолотова в царевубийстве, если об этом не упоминалось ни в одном известном источнике?

Тогда-то я заново перечитал упомянутую телеграмму Белобородова. "Сыромолотов как раз поехал для организации дела согласно указаниям центра..." Что, если речь шла вовсе не о "вывозе золота", а именно об организации царевубийства? И Белобородов начал свой отчет о подготовке казни (ведь дальше перечисляются как раз действия, направленные на та-

кую подготовку: смена караула, назначение "доверенного человека" Юровского комендантом Ипатьевского дома) прямо с главного: Сыромо-лотов, лично известный Свердлову, уже выехал в Пермь, чтобы организо-вать все, "согласно указаниям центра"?

Косвенные эти соображения могли вызывать сомнения. Но вот в 1989 году в Советском Союзе была впервые опубликована "Записка" Юровского об обстоятельствах убийства царской семьи, и там я черным по белому прочел: "16 июля была получена телеграмма из Перми на условном языке, содержащая приказ об истреблении Романовых." Екатеринбургские исполнители получили окончательный приказ на уничтожение царской семьи из промежуточного большевистского центра в Перми, а не напрямую из Кремля.

Советский историк Г.Иоффе, обсуждая эту фразу, прилагает невероятные усилия, чтобы бросить тень на содержащееся в ней сообщение. Может быть, говорит он, когда Юровский писал свою "Записку" (спустя два года после царевубийства), он уже чуял другую политическую обстановку и не хотел всю вину возлагать на екатеринбургцев; может быть, он хотел избежать личной ответственности; может быть, у Кремля не было прямой связи с Екатеринбургом.

Каждое из этих "может быть" может быть легко опровергнуто. Связь с Екатеринбургом у Москвы была бесперебойная, свое участие в царевубийстве Юровский только подчеркивал и им гордился, а о соратниках по Екатеринбургу прямо писал: "16-го в 6 часов вечера Филипп Г-н (Голощекин — М.Х.) предписал привести приказ в исполнение" — то есть вовсе не скрывал, что непосредственный приказ об "истреблении Романовых" был передан через члена президиума местного совета Голощекина. Так что разгадка сообщения Юровского о получении приказа из Перми, думается мне, состоит совсем в другом. Именно в Перми, по всей видимости, находился большевистский центр, который готовил и координировал всю операцию "истребление Романовых" в целом: не только инсценировку побега и царевубийство в Екатеринбурге, но и предшествовавшие ему (и предназначенные для "прощупывания" общественности) "инсценировки" и убийства в Алапаевске и других местах. Эта была разветвленная, многоходовая операция, требовавшая немалых сил и средств, четкой координации во времени и пространстве, точного учета многих возможных факторов. Естественно, что она требовала специального координационного (сегодня мы сказали бы — логистического) центра и притом поближе к месту событий — из далекой Москвы всего продумать и предусмотреть было нельзя, а екатеринбургцы или алапаевцы на эту роль явно не годились — слишком "местнический" у них был кругозор. Нужен был центр, куда сходились бы нити из всех мест, где находились арестованные члены семьи Романовых, где собиралась бы вся информация и откуда за эти нити можно было в нужный момент дергать. Только предположение, что

Пермь и была таким центром большевистской паутины, позволяет понять, почему Свердлов рекомендовал Белобородову обратиться за информацией об алапаевских событиях именно в Пермь, а не, скажем, в тот же Алапаевск.

**ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ КОМИССАРЫ.** Последним звеном цепи были екатеринбургские исполнители. Присмотримся теперь к этим людям. Как мы знаем, они не только охотно взяли на себя физическое "истребление Романовых" и ответственность за него, но и активно побуждали кремлевских вождей и пермских комиссаров к скорейшим действиям. Какая сила заставляла их торопить Москву и Пермь? Что за люди были эти исполнители злодейского приказа?

"Сейчас нам непросто понять психологию этих людей, — пишет историк Г.Иоффе. — В большинстве своем это были еще молодые люди." Действительно, Белобородову и Сафарову было по 27 лет, Толмачеву — 23. Как многие их сверстники, они щеголяли беспощадной решительностью, не догадываясь, чем она обернется для них самих. Повезло лишь Толмачеву — его убили через год на гражданской войне. Белобородова в награду за ипатьевское дело назначили в 1919 году членом нового ЦК, потом он (вместе с Сырцовым) возглавлял зверское "расказачивание" на Дону, потом его взял к себе Дзержинский, сделав сначала своим замом, а затем — наркомом внутренних дел; говорят, своей беспощадностью на этом посту он удивлял даже московских коллег. Сафаров был фигурой едва ли не столь же страшной: деятель Коминтерна, потом ближайший помощник Зиновьева, пал вместе с шефом и вел себя на следствии так "хорошо", что ему сохраняли жизнь до 1942 года, когда все-таки расстреляли.

Эти молодые люди страдали комплексом Герострата. Они не хотели тайных расправ, они жаждали казни царской семьи, полагая, что останутся в истории героями. Может быть, лишь 42-летний Голощекин выделялся среди них некоторым "благоразумием". Его-то они и послали в Кремль с заданием: добиться отмены плана с инсценировкой "побега" и тайным убийством Романовых и утверждения официальной казни "по приговору Уралсовета". Как ни удивительно, Голощекин этой замены добился — скорее всего, потому, что это соответствовало замыслам Ленина: повязать свои кадры круговой порукой цареубийства и в то же время переложить свою вину в нем на "уральских товарищей". Только вот решение о том, когда и как объявить о "решении" Уралсовета, Кремль все-таки оставил за собой. И как мы уже знаем, в нужный срок передал его через пермских подручных.

Здесь мы опять вступаем в область гипотез. Можно предположить, что первоначально Ленин предпочитал план казни Романовых при "попытке к бегству", потому что опасался возмездия в случае провала революции; для такой инсценировки было более пригодна команда охранни-

ков Ипатьевского дома под руководством Авдеева — известные городу пьяницы, расхитители, воры. Когда же Ленин, после Алапаевска, все-таки принял план уральцев с их "законным решением" о казни, то екатеринбургские комиссары немедленно сочинили подходящий предлог, сместили всю авдеевскую команду и поспешили дать своему человеку в Москве, Голощекину (а через него Ленину и Свердлову) успокоительную телеграмму: "Авдеев смещен, весь внутренний караул сменен", Ипатьевский дом теперь охраняют исключительно надежные, "свои" люди во главе с Юровским. Лишь после этого заверения план уральцев был окончательно принят. Голощекин вернулся в Екатеринбург и стал дожидаться сигнала из Перми, чтобы передать его Юровскому.

Свидетель Якимов рассказывал следователю Соколову, что к новой охране Ипатьевского дома вскоре после смещения Авдеева присоединились еще 10 человек. "Из числа прибывших пятеро были русские люди, а пятеро нерусские... мы их всех безразлично называли почему-то латышами." Если учесть, что незадолго до этого Белобородов попросил сменить также команду, охранявшую поезд с золотом, то не исключено, что новоприбывшие составляли как раз прежнюю поездную охрану. В таком случае это были безусловно надежные люди. Всю команду Ипатьевского дома возглавлял теперь заместитель областного комиссара юстиции Яков Юровский, его помощником стал казначей местной ЧК Григорий Никулин.

О Юровском следователь Соколов пишет: "Яков Михайлович Юровский... получил весьма малое образование... учился в Томске в еврейской школе при синагоге, но курса не кончил. Мальчиком поступил к часовщику-еврею Перману, а в 1891-2 годах открыл в Томске собственную мастерскую. В 1904 году женился на еврейке Мане Янкелевой. В годы первой смуты почему-то уехал в Германию и год жил в Берлине. Там изменил вере отцов и принял лютеранство. Из Берлина он... вернулся в Томск... Это же время было и началом его революционной работы. Он был привлечен к дознанию в Томском губ.жанд. управлении и выслан в Екатеринбург... По характеру вкрадчивый, скрытный и жестокий человек."

Советский журналист Касвинов уточняет биографию Юровского следующим образом: "Член партии с 1905 года... в Екатеринбурге продолжал в подполье активную революционную деятельность по заданию партии... Был одним из ближайших соратников своего тезки Свердлова и других ветеранов — Ф.Голощекина, А.Белобородова, Н.Толмачева. Юровского знал, принимал в Кремле и лично беседовал с ним (после окончания гражданской войны) В.И.Ленин." В именном указателе к собранию сочинений Ленина действительно есть упоминание о Юровском с указанием его должности — "председатель следственной комиссии Уральского облтрибунала".

Слово профессору Бруцкусу: "Судьба сжалилась над Соколовым и по-

слала ему еврея, на котором можно отыгаться за всех неевреев. Надо признать сразу — этот еврей, Яков Юровский, личность дрянная. Мотивы его действий остаются под сомнением: выполнял ли он только волю пославших его; сидел ли в нем дух Герострата... Не подыскать ни слова оправдания для этого фигуранта революции... Но Юровский должен быть изображен таким, каким он был, а не густо подкрашен, как это сделал с ним Соколов, что всего хуже, сделал... ради лживого и опасного по кровавым последствиям вывода."

Скорее всего, Юровский все-таки был Геростратом. Музею Революции в Москве он позднее подарил пистолеты, из которых убивали царскую семью, — жест опьяненного кровавой "славой" маленького человека, жаждущего войти в историю. В своей "Записке" сам себя именовал с неизменной высокопарностью — "Комендант": "Комендант сказал... Комендант приказал..." Бруцкус считает, что этот выкrest изначально нес в себе задатки скверны и падения. Тем не менее можно сказать кое-что и в его пользу: он, например, был человеком лично честным. Сразу после назначения комендантом проинвентаризировал драгоценности Романовых и сдал их на хранение... им же самим. В "Записке" рассказывает другой характерный эпизод: "Начали перегружать трупы на пролетки... сейчас же стали очищать карманы — пришлось и тут пригрозить расстрелом и поставить часовых." Сообщает также, что после расстрела Романовых осталось бриллиантов на 3200 каратов, которые он и сохранил для властей.

Это бескорыстие держалось на каких-то внутренних скрепах его личности. Во время казни он старался соблюсти ритуал, замаскировать предстоящее, воспрепятствовать палачам издеваться над жертвами, пригласил к царской семье священника, держал себя с ним корректно, даже заботливо. Все это очень соответствует облику "истинного большевика", который воспринимал совершаемое им преступление как некий общественный, даже исторический акт — казнь монарха, а не простое убийство. Пытаясь понять этот тип, я вспомнил героя книги В.Хенкина "Охотник вверх ногами" — знаменитого шпиона-гебиста Абеля-Фишера. Тот тоже обладал определенными человеческими достоинствами, но они у него всегда распространялись только на "своих". Хенкин назвал это свойство своего героя "партийностью". Им обладали многие большевики. Оно было привито им в процессе ниспровержения традиционных ценностей, объявленных "классово вредными". Как писал Пьер Паскаль еще в конце 1917 года, "все, что говорится против большевиков, что они предатели, агрессоры, сеятели смуты, с сегодняшней точки зрения совершенно верно. Но это и не может, и не должно их трогать, потому что они объявили войну нынешнему обществу и не скрывают этого."

Именно это, видимо, и имел в виду Бруцкус, говоря, что не следует "подкрашивать" образ Якова Юровского.

**ЗАГАДКИ ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ.** Показания красноармейца Летеми-

на: "По словам Андрея Стрекотина, он в ту ночь (16 июля — М.Х.) находился на пулеметном посту в большой комнате нижнего этажа и видел, как в его смену (а он должен был дежурить с 12 до 4 утра) сверху повели царя... и всех доставили в ту комнату, которая сообщается с кладовой... Комендант Юровский вычитал бумагу и сказал: "Жизнь ваша покончена". Царь не расслышал и переспросил, а царица и одна из дочерей перекрестились. В это время Юровский выстрелил и убил царя на месте, а затем стали стрелять латыши и разводящий Павел Медведев."

На Летемина колчаковские следователи вышли по той простой причине, что он подобрал и взял к себе домой осиротевшую собачку цесаревича — соседи и донесли. К Андрею Стрекотину, непосредственному свидетелю цареубийства, пришли почти сразу — но он загадочным образом исчез из дела уже в августе 1918 года. Вспомним, что первый следователь Сергеев жаловался, что колчаковские контрразведчики "убрали" кое-каких свидетелей. Не убрали ли они и Стрекотина? Он был одним из немногих очевидцев убийства и одним из двух, которые показывали против Юровского как непосредственного убийцы царя; вторым был уже упомянутый Летемина, который сам ничего не видел, а пересказывал со слов Стрекотина. Между тем эта роль Юровского, как мы увидим, оспаривается другими участниками казни. Если бы Стрекотин не "исчез" из дела, эта загадка, возможно, давно бы прояснилась.

Гелий Рябов, пофамильно перечисляя палачей, называл, кроме Юровского, также Медведева, Якимова, Ваганова и Никулина. Это показывает, что Рябов с материалами следственного дела не был знаком, ибо, например, Павел Медведев категорически показал следователю Сергееву: "Разводящего Якимова при самом расстреле не было." Сам Якимов в своих показаниях решительно отмежевался от применения насилия большевиками, заявив: "Его (царя — М.Х.), по моему мнению, могла судить только вся Россия... А такое дело, которое случилось, я считаю делом нехорошим, несправедливым и жестоким." Якимову же мы обязаны и наиболее подробным описанием казни, которое он дал на основании рассказов своих соседей по казарме. "Впереди шли Юровский и Никулин. За ними Государь, Государыня и дочери. Наследника нес на руках сам Государь. Сзади за ним шли Медведев и "латыши", то есть те 10 человек, которые им были выписаны из чрезвычайки. Из них двое русских были с винтовками... Юровский сказал так: "Николай Александрович, ваши родственники старались Вас спасти, но этого им не пришлось, и мы принуждены Вас расстрелять." Тут же, в ту же минуту за словами Юровского, раздалось несколько выстрелов. Стреляли исключительно из револьверов. Кроме Никулина стреляли некоторые из "латышей"... Расстреливаемые стали падать один за другим. Первым пал... Царь, за ним Наследник. Демидова же, вероятно, металась. Была ли она ранена или нет пулями, но только... она была приколоты штыками одним или двумя русскими из чрезвычайки.

Когда они все лежали, их стали осматривать и некоторых из них достреливали и докалывали... Из кладовой было взято сукно. Его разложили в автомобиле. На него положили трупы и сверху закрыли этим же сукном... Вместе с трупами уехал сам Юровский и человека три "латышей", но русских "латышей" или нерусских — не знаю."

Все это произвело на Якимова такое впечатление, что он при освобождении Перми (белыми — М.Х.) отстал от большевиков и вступил в ряды колчаковской армии. Его арестовали на передовой в апреле 1919 года, а полгода спустя он скончался "от чахотки" в одиночной камере, где содержался как обвиняемый в убийстве царской семьи.

Еще одним таким обвиняемым был 17-летний Филипп Проскуряков, парень, судя по всему, недалекий, пошедший в охрану Ипатьевского дома исключительно ради "четырех сотен", обещанных начальником охраны Павлом Медведевым. С Проскуряковым у следователя Соколова вышел любопытный конфуз: Проскуряков показывал, что вместе с Белобородовым в Ипатьевский дом все время ходил "какой-то пузатый", и Соколов, в погоне за "жидомасонами", немедленно предъявил свидетелю для опознания фотографию "еврея" Голощекина. Однако Проскуряков Голощекина в "пузатом" не опознал, а ознакомленный с фотографиями других екатеринбургских комиссаров уверенно отождествил "пузатого" с... Ермаковым. Но генерал Дитерихс все равно называл среди убийц и Голощекина.

О казни Проскуряков показал следующее: "В три часа ночи к нам пришел Медведев, разбудил и сказал: "Вставайте, пойдемте." Привел он нас в нижние комнаты дома Ипатьева. В комнатах стоял как бы туман от порохового дыма... в стенах, полу были удары пуль... Там, где в стенах и на полу были пулевые отверстия, вокруг них была кровь. На стенах она была брызгами и пятнами. На полу маленькими лужицами. Были капли и лужицы крови во всех других комнатах, через которые нужно было проходить во двор... Медведев приказал нам убирать комнаты."

В отличие от перечисленных выше свидетелей начальник Ипатьевской охраны Павел Медведев был тяжким преступником. Впрочем, не врожденным преступником, а человеком, втянувшимся в преступление, плывя по течению событий. Жена его показывала следствию: "Муж мой — человек грамотный, непьющий, меня и детей он очень любил и заботился о нас." На заводе Медведев слыл парнем лихим и авторитетным, и главный заводской большевик Сергей Мрачковский сделал его своим помощником. Они вместе воевали против Дутова, а потом Мрачковский записал его в охрану Ипатьевского дома. Вместе с Юровским Павел подготавливал казнь, но от личного участия в ней отпирался. Однако та же жена показала: "Стрелял и мой муж." То же утверждал и Проскуряков: "Как только Юровский это сказал, он, Белобородов, пузатый (как мы уже знаем, Ермаков — М.Х.), Никулин, Медведев и все латыши... выстрелили сна-

чала все в Государя, а потом уже стали стрелять во всех остальных... Пашка сам мне рассказывал, что он выпустил пули две-три в Государя."

Подобно Проскурякову, Медведев после убийства тоже сломался и перешел к белым. Когда они его арестовали, он показал следствию, что царя убил Юровский самолично. Самого же Медведева Юровский будто бы отослал на улицу, посмотреть, нет ли там кого и не будут ли слышны выстрелы.

Кто же все-таки стрелял в царя? Юровский в своей "Записке" 1921 года, адресованной историку М.Н.Покровскому (для увековечения своей персоны?!), утверждал: "Команде было заранее указано, кому в кого стрелять, и приказано целить прямо в сердце, чтобы избежать большого количества крови и покончить скорее..." Чекист М.Медведев-Кудрин много позже рассказывал своему сыну, — а тот рассказал Э.Радзинскому, — что "по жребию" в царя должен был стрелять Ермаков, в царицу Юровский, в наследника Никулин. Юровский, однако, продолжает: "Затем началась стрельба, продолжавшаяся 2-3 минуты. Николай был убит самим комендантом наповал."

Вся эта надоедливая путаница и препирательство убийц за "высшую честь", на мой взгляд, объясняется просто тем, что когда началась стрельба, в царя выстрелили все залпом. Это соответствует и психологическому состоянию убийц — они, в сущности, боялись своей жертвы и потому старались все вместе и как можно скорее с ней покончить. Это и дало Юровскому основание утверждать, что истинный цареубийца — это он, другим — считать таковым Медведева-Кудрина, а официальным историкам — объявить им Ермакова (даже удостоенного в этой связи лестного прозвища "Товарищ Маузер"). Этот самый Ермаков, как вспоминает писатель Ф.Незнанский, как-то приходил потом к ним, свердловским школьникам, на праздник Октября и, потрясая грязной ладонью, кричал, что ею он и убил всю царскую семью: "Царица вышла вперед, — живописал он, — и кричит: "Сволочи, хоть детей в живых оставьте"..."

Естественно, что такой человек менее всего годился в действительности на роль цареубийцы, но в те времена, когда нужно было изобразить казнь царя как справедливое возмездие русского народа династии Романовых, этот чистокровный русский человек, рабочий и красногвардеец показался большевикам пригоднее всех остальных. И уж наверняка пригоднее еврея Юровского. Вспомним, что по той же логике Ленин, распорядившись о террористическом истреблении православного духовенства, рекомендовал товарищу Троцкому (еврею) в своих публичных выступлениях об этом помалкивать, а произносить соответствующие речи по этому поводу поручил товарищу Калинину (русскому человеку, этакому Ермакову в Политбюро).

Теперь можно уже подвести итоги всем этим страшным показаниям по делу о цареубийстве и "вычислить" его непосредственных участников.

Бесспорными в списке будут Юровский и Павел Медведев, а также Никулин, член партии с 1917 года и, судя по рассказам, большой любитель массовых расстрелов (за что получил в своей компании кличку "Пулеметчик"); четвертым, несомненно, был Ермаков, пятым Медведев-Кудрин. Если из 13 участников вычтеть этих пятерых, то на долю "латышей" останется восемь вакансий. Это число подходит, так как, согласно одному из показаний, двое "латышей" отказались стрелять, а всего их было, как мы помним, десять. Журналист Касвинов, имевший доступ к закрытым документам, перечисляет Ваганова, Авдеева, Костоусова, Партина, Леватных и Кривцова. Авдеев, скорее всего, был "на подхвате", Леватных тоже (ему принадлежит гнусная фраза: "Теперь и умереть не грешно — шупал у царицы п...у"); кандидатуру Кривцова оспаривают другие свидетели. Таким образом, русских "латышей" остается трое — Ваганов, Костоусов и Партин. Оставшиеся пять мест приходятся, видимо, на иностранных подданных. Из литературы известны такие фамилии — Лайош Хорват, Ансельм Фишер, Эмиль Фекете, Имре Надь, Андраш Вергази; любопытно, что имя и фамилия Имре Надь совпадают с именем и фамилией венгерского премьера, возглавившего народное сопротивление советской оккупации в 1956 году и через год повешенного по приказу Хрущева.

И наконец, последняя загадка в сюжете: пресловутые надписи — двестише из Гейне и "кабалистические знаки", — обнаруженные на стене подвала, где происходила казнь. Профессор Пагануцци, человек, не скрывавший своих антисемитских взглядов, опубликовал эти "кабалистические знаки" в книге, посвященной "разоблачению" жидомасонского заговора против Романовых, в сопровождении ссылки на брошюру некоего Энеля "Жертва", в которой найденные на стене цифры, закорючки и загогулины (кстати, приведенные профессором вверх ногами), якобы, "переведены" на русский язык, в котором они составляют целых 18 слов! Вот эти слова: "Здесь по приказанию тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются другие народы." Всерьез поверить в эту фальшивку не может, разумеется, ни один грамотный человек. Тайну этих закорючек куда прозаичнее расшифровал журналист Николай Росс. Их зарегистрировал только Соколов; до него их попросту не было. В самих же закорючках отчетливо читаются первые буквы слова "рублей". Иными словами, в промежутке между убийством и осмотром Соколова кто-то сделал на стене пустой комнаты какие-то свои денежные расчеты, а предварительно попробовал, как пишет перо — отсюда и несколько бессмысленных черточек и палочек.

Сложнее обстоит дело с двестишем из Гейне, напоминающем о судьбе царя Валтасара. Генерал Дитерихс с удовольствием сопроводил это двестишие указанием, что Гейне "писал на немецко-еврейском жаргоне", то есть на идиш! Но что удивляться царскому генералу, когда уже в наши дни профессор Шафаревич (тоже возвращающийся к этому эпизоду),

ничтоже сумняшеся утверждает, что Валтасар, по Гейне, был убит за то, что оскорбил еврейского бога Иегову, хотя все стихотворение Гейне проникнуто как раз сочувствием к великому царю и презрением к его убийцам.

Осмелимся выдвинуть гипотезу: сразу после смерти царя, когда еще не было известно, объявят ли большевики о казни, кто-то из близких или сочувствовавших царю людей тайком пробрался на место убийства и оставил надпись, чтобы оповестить о состоявшемся здесь преступлении. Опасаясь большевиков, этот человек закодировал свое сообщение в виде двустишия Гейне об убийстве, из чего мы можем сделать вывод, что Гейне был ему достаточно хорошо знаком и немецкий язык был ему родным. Кроме того, он наверняка знал, что в доме не осталось людей, способных читать по-немецки — например, того же Юровского (который, припомним, когда-то провел год в Берлине). Такой человек в Ипатьевском доме действительно жил: денщик Юровского, военнопленный немец, которого Якимов называет Рудольфом. В надписях на стене есть слово "Адольф" — видимо, это он и есть.

А саму стенку, в которую впивались не попавшие в цель пули, не уничтожили: если верить Гелию Рябову, ее аккуратно сняли и продали в Великобританию, где живут Ганноверы, ближайшая на сегодня к Романовой королевская семья.

"МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ". Остается рассказать о судьбе действующих лиц.

Яков Юровский уцелел, хотя ходила версия, будто его казнили казаки, к которым он попал в плен. В 20-е годы он работал в Государственном хранилище ценностей РСФСР. Смерть его была для тех лет необычной: в 1938 году старый большевик скончался от прободения язвы желудка.

Григорий Никулин, согласно сведениям Радзинского, дожил до 1964 года, когда в качестве последнего живого участника царевубийства давал показания особой комиссии ЦК КПСС.

Петр Ермаков, по рассказу Ф.Незнанского, спился и просил милостыню у церкви. Люди знали, кто он, но подавали — чтобы помянул в молитвах жертв своих. Русский сюжет.

Партин и Ваганов попали в плен к белым и были убиты без допроса. О судьбе Костоусова и Леватных мне ничего не известно. Авдеев умер в 1947 году от туберкулеза.

Белобородов, побывав наркомом внутренних дел РСФСР, кончил в застенках Лубянки. По рассказу писательницы Р.Зерновой, когда его волюки на расстрел, кричал: "Люди, я убил царя и теперь за это отвечаю." Филипп Голощекин стал кандидатом в члены ЦК, сталинским наместником в Казахстане; в 1937 году тоже попал на Лубянку, но расстрелян был только в 1941-м, когда Верховный Главнокомандующий, гото-

вась эвакуировать Москву, приказал ликвидировать группу уцелевших арестованных, куда входили крупнейшие военачальники Смушкевич, Локтионов, Рычагов, Штерн, Проскуряков и в которой оказался также Голощекин. Дидковский, коллега Голощекина по Уралсовету, дожил только до 1938 года, а Сафаров, ставший позже одним из руководителей "рабочей оппозиции", был ликвидирован в 1942-м году. Проходивший по касательной к делу о цареубийстве екатеринбургский комиссар по снабжению Войков стал советским послом в Польше и в 1924 году был застрелен там студентом-эмигрантом Ковердой; этому факту посвятил прочувствованное стихотворение Владимир Маяковский: "И падает Войков, кровью сейчас..." Вот куда дотянулись нити екатеринбургского преступления!

О судьбе комиссаров Пермского штаба — Лукоянова и Сыромолотова — мне ничего не известно. По моим догадкам, в этот штаб входил и Берзин, впоследствии создатель советской военной разведки; он был убит в 1938 году вместе со всем тогдашним аппаратом ГРУ.

Судьба кремлевских организаторов цареубийства общеизвестна: Свердлов скончался от испанки уже через несколько месяцев; его сын стал агентом-provokатором ГРУ и НКВД, сестра села в лагерь, племянник был расстрелян на Лубянке, внучатый племянник скончался в детприемнике, родной брат — в тюрьме. Ленин умер через пять с лишним лет, в страшных мучениях, парализованный, с пораженным левым полушарием мозга. Дзержинский скончался "от разрыва сердца", как гласила официальная версия, в 1926 году, и его смерть Сталин сопроводил странной репликой о том, что, может, это так и надо, чтобы старые товарищи сходили в могилу один за другим.

Они и сходили один за другим, опозоренные, проклятые и сломленные. Среди миллионов жертв на их совести были 19 членов царствовавшей 305 лет династии Романовых, уничтоженных по приказу Кремля исполнителями на Урале, в Петрограде и Средней Азии в течение семи месяцев 1918 года.

## РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

---

Михаил Золотоносов

### "МАСТЕР И МАРГАРИТА" И СУБКУЛЬТУРА РУССКОГО АНТИСЕМИТИЗМА

Успехи, достигнутые в изучении многочисленных источников последнего романа Булгакова, бесконечный рост списка этих источников заставили задуматься о структуре, о специфической авторской установке, сформировавшей определенные отношения романа с культурой в целом. Обширнейшие связи между ними позволяют предположить сознательную установку на *абсорбцию*.

К "старому" материалу, проникшему в роман, относится и "еврейская тема", в том числе и как часть субкультуры русского антисемитизма (СРА). Термин "субкультура" означает в данном случае определенный раздел, часть культурного целого, которая, во-первых, подчиняется неким универсальным законам, а во-вторых, обладает способностью кодировать другие субкультуры, налагать на них принципы своей знаковой системы.

СРА весьма активна, она рассматривает "еврея" как социальную роль исключительной важности и, пробуждая к нему ненависть, апеллирует к архетипам мышления, в первую очередь, основанным на делении "мы"/"они", что служит задачам социальной консолидации русских на националистической основе. Психологической базой антисемитизма являются юдофобия, тяга к тайнам и тайным организациям и убеждение в том, что мир управляется верховной волей. В условиях атеизации сознания ею не может быть Бог, но может — "мировое еврейское правительство", могут "сионские мудрецы".

В культуре СРА находится в практической изоляции, общественное мнение не позволяет абсолютному большинству литераторов непосредственно и открыто с ней соприкасаться. Вместе с тем это не означает полного отсутствия влияния: в ряде случаев СРА выступает в роли фильтра, сквозь который воспринимаются многие культурные явления.

Ниже мы попытаемся показать, что при сохранении парадигм, характерных для СРА, Булгаков разворачивает их (пользуясь методом бриколажа) в новые синтагматические цепи. Такое "переоборудование" культурных парадигм вообще свойственно для перелома в России в 1920-1930-е гг. и для "Мастера и Маргариты" в частности.

Прежде всего с точки зрения СРА необходимо взглянуть на Воланда и его свиту — на сатанинские силы зла, держащие в руках весь мир и управляющие им по своему усмотрению.

В ранней редакции романа Иванушка кричал: "Бейте, граждане, арамея"<sup>1</sup>, этим весьма прозрачным эвфемизмом заменяя известный в России призыв. Однако дело было не просто в указании на национальность одного из членов воландовской свиты, а в том, что *вся эта свита во главе с Вельяром Вельяровичем Воландом* представляла хорошо известный в литературе XIX — начала XX в. (как русской, так и зарубежной) *мировой еврейский заговор*. Не исключено, что по первоначальному булгаковскому замыслу эта концепция позволяла — с учетом мистицизма, окутывавшего еврейство в русской культуре XIX в., — объяснить земное зло как результат вмешательства демонической, таинственной еврейской силы (не анализируем в данном случае соответствующий контекст восприятия русской революции, для Булгакова наверняка актуальный).

"...*Юдаизм полон тайн*, притом каких-то зловещих, от которых "уразумеваящие дело" даже сходят с ума"<sup>2</sup>, — писал страстный любитель всего таинственного.

Может быть, не случайно сумасшедший дом оказывается одним из важнейших мест действия в "Мастере и Маргарите" — в той поздней редакции, которая нам известна; не случайно с предсказанным диагнозом "шизофрения" в нем сразу же оказывается Иван Бездомный, столкнувшийся со злодеями и отчасти "уразумевший дело"; не случайно, наконец, "дом скорби" выбирает для жительства и бездомный мастер, проникший мыслью в "мировые тайны"? Можно выдвинуть рабочую гипотезу о том, что первоначально Булгаков имел в виду именно готовую идею мирового еврейского заговора, функционировавшую в СРА. Весьма вероятно, что он достаточно хорошо знал этот материал и по публицистике<sup>3</sup>, и по художественной литературе<sup>4</sup>.

"...Создавалось страшное оружие, именуемое "тайным обществом", остающимся всегда и везде одинаково опасным "разрушителем государств и развратителем народов", меняя имена по мере надобности, то

---

<sup>1</sup> Цит. по: Чудакова М.О. *Жизнеописание Михаила Булгакова*. М., 1988. С. 397. "Антисемит!" — истерически кричат Ивану в ответ.

<sup>2</sup> Розанов В.В. *Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови*. СПб., 1914. С. 13.

<sup>3</sup> См., напр.: Осман-бей (Миллинген Ф.). *Покорение мира евреями*. СПб., 1874; Брафман Я.А. *Книга Кагала*. СПб., 1882. Ч. 1-2; "Протоколы сионских мудрецов" (особенно издания С.А.Нилуса); Шмаков А.С. *Международное тайное правительство*. М., 1912.

<sup>4</sup> Романы В.В.Крестовского, Н.П.Вагнера, Е.А.Шабельской, переводные сочинения Г.О.Ф.Гёдше, писавшего под псевдонимом "Джон Ретклиф", и др.

есть как только люди, непричастные к великому жидовскому заговору, поймут опасность, угрожающую им".<sup>5</sup>

ГИПОТЕЗА: именно эта протосхема стоит за тем, что Воланд и его спутники держат в руках судьбы всего мира, всемогущи, всезнающи и всепроникающи (вспомним сцену с глобусом Воланда). Однако в окончательном тексте романа от этого исходного смыслового комплекса остались лишь отдельные "формализовавшиеся" черты: кабалистический треугольник на портсигаре мессира<sup>6</sup>, структура отношений персонажей, мотивы денег и крови, отдельные значимые фразы и детали<sup>7</sup>. Всесильный Воланд и его свита утратили национальные черты (хотя Азazelло и Абaddonна и носят древнееврейские имена — первый, правда, в итальянизированной форме, а Воланд, в котором угадывается "жидовский" "мессия"-антихрист", не до конца избавился и от черт салонного черного мага и кабалиста, под каковыми в соответствующей литературе в начале XX в. маскировались еврей-сатанисты, направленные из-за границы в Россию для человеческих жертвоприношений во славу Люцифера и подрывной работы в пользу Сиона) Булгаков обратился к нейтральному средневековому западноевропейскому варианту (нечистая сила инфицировала мир и управляет его движением, Сатана — всесильный соперник Бога и "князь мира сего"<sup>8</sup>), а роман заполнился ведьмами и демонами, с того света прибывающими в Москву, как будто это делегаты конгресса Коминтерна. Иудеи, воплощающие — согласно средневековым представлениям, ожившим в России в начале века, — дьявольское начало, исчезают, трансформируясь в интернациональную "нечистую силу". И лишь сведение некоторых особенностей романа в систему позволяет с определенной вероятностью говорить как о протосхеме, так и о круге булгаковского чтения, который он пожелал в романе увековечить.

Буфетчик Соков заметил, что стол у Воланда покрыт церковной пар-

---

<sup>5</sup>) Шабельская Е.А. *Сатанисты XX века*. СПб., 1912. С. 31.

<sup>6</sup>) Ср. с отношением к треугольнику С.А.Нилуса, одного из издателей и комментаторов "Протоколов сионских мудрецов" (Дю Шайла А.М. С.А.Нилус и "Сионские протоколы". *Последние новости*. (Париж). 1921. 12 мая. С.3.).

<sup>7</sup>) Ср.:

"У евреев об умерших не принято говорить, например, "он умер"; следует всегда выражаться метафорически: "он взят", "он принят" или "он отнят Богом" (Крестовский В.В. *Собр. соч.* СПб., 1905. Т. 8. С. 6).

"Он прочитал сочинение мастера, — заговорил Левий Матвей, — и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера <... > А что же вы не берете его к себе, в свет?" ("Мастер и Маргарита", гл. 29).

<sup>8</sup>) См.: Гуревич А.Я. *Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства*. М., 1990. С. 318.

чий — профанация, характерная для сатанистов, проводящих черные мессы, и евреев, оскверняющих христианские святыни. В ранних вариантах романа мотив оскверняющего переворачивания христианской символики был выражен еще более явно (см.: Кушлина О., Смирнов Ю. Некоторые вопросы поэтики романа "Мастер и Маргарита". М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 188).

Гипотетическая эволюция булгаковского романа (от ранней, сожженной редакции к окончательному варианту) заслуживает отдельного исследования, здесь же мы ограничимся указанием на два литературных примера, в которых та же протосхема присутствует в скрытом виде: повесть А.И.Куприна "Каждое желание" (впоследствии названа "Звезда Соломона") и роман Андрея Белого "Москва под ударом". В повести Куприна действует некая мировая "организация" демонов, подчиняющаяся Ивану Цвету, случайно разгадавшему тайну "звезды Соломона" (магическое слово "афроаместигон"), а представителем этой демонской "сети" является *Мефодий Исаевич Тоффель*. В романе же Андрея Белого внимание на себя обращает фигура фон-Мандро (гл. 2, § 20): герой родом из Полесья (в пределах черты оседлости), "по местечкам таскался", после усыновления стал именоваться "фон-Мандро", но его именовали "Сатанилом", мечтал о "мироправлении" ("вплоть до фантазии о мироправстве, — желание Мандро, чтобы люди, подобные Доннеру, мир заплели в свои сети; мечтал бескорыстно о гадине, о мировом негодяе, которому в мыслях своих он служил с удивительной верностью..."<sup>9</sup>). Любопытно, что "фон Мандро" друзья называли главу петербургской фирмы Мендроховича и Лубенского, которая "занималась, главным образом, экспортом и импортом оружия"<sup>10</sup>. Иными словами, прототипом персонажа из романа Андрея Белого или, по крайней мере, "владельцем" фамилии является капиталист-еврей.

В СРА образ дьявола прочно соединился с евреем в фигуру так назы-

---

<sup>9</sup>) *Фон-Мандро выжигает глаза профессору Коробкину. В "Сатанистах XX века" Е.А.Шабельской убивают профессора Рудольфа Гроссе, который в рукописи "История тайных обществ" открыл тайну жидомасонства; убийца — еврей-сатанист барон Джевид Моор (от англ. Jew; Джевид — Jewed — можно перевести как "ожидовленный"). Естественно, барон-сатанист уходит от ответственности, коварно подставляя вместо себя полиции русскую красавицу Ольгу, подругу убитого. Характерно, что и в 1933 г. Андрей Белый продолжал утверждать: "Теперь обнаружено документами: мировая война и секретные планы готовились в масонской кухне" (Белый Андрей. Между двух революций. М., 1990. С. 283). Здесь же дано подробное описание своего страха перед масоном-миллиардером: "Вот в чем коренилась моя тогдашняя мистика: из испуга перед незримою гариной" (там же).*

<sup>10</sup>) *Берберова Н.Н. Железная женщина. Дружба народов, 1989, №9. С. 108.*



1872. Т. 1. С. 244-249; сведения об иллюминатах и иерархии должностей ордена Булгаков мог также получить в т. 12а "Энциклопедического словаря" Брокгауза-Эфрона).

Иллюминатство и мировой еврейский заговор весьма плотно соединились друг с другом к началу XX в.<sup>15</sup>, и маловероятно, что Булгаков мог воспринимать орден иллюминатов *помимо* соответствующей (антисемитской) традиции, помимо определенных ассоциаций. Концепция же "мирового еврейского заговора", наложенная на воспроизведение в системе персонажей иерархических отношений ордена иллюминатов, позволяет с достаточной уверенностью говорить о том, что это и есть один из тех случаев, когда СРА выступает в качестве фильтра, действующего, возможно, в обход сознания. Ибо литература, доказывавшая, с одной стороны, что "центральное" секретное еврейское правительство существует, что оно находится в вечной и неустанной борьбе со всем остальным человечеством, а с другой стороны, что масоны вообще и иллюминаты в особенности играют во всех этих кознях едва ли не *первую роль*, оказываясь пособниками евреев, — такая литература была слишком распространенной и увлекательной, особенно для тех, кто испытывал интерес к мистике. Один из самых видных русских антисемитов, присяжный поверенный Алексей Семенович Шмаков, посвятивший жидомасонам немало вдохновенных страниц<sup>16</sup>, прямо писал об иллюминатах как о "крайней, террористической" фракции масонства, идущей рука об руку с евреями: "Не опасаясь конкуренции, еврейство могло даже способствовать расцвету, например, ордена иллюминатов, зная, что в конце концов это послужит только Израилю"<sup>17</sup>.

Тема стала расхожим предметом публицистических упражнений: скажем, в заметке Ник <олая?> Я <блонского?> "Темные силы", помещенной в газете "В Москву!" (Ростов-на-Дону), военный врач Булгаков мог

---

<sup>15</sup> На подозрени иллюминатство находилось в России уже с начала XIX века. К концу же века оно как часть масонства стало одним из символов "торжествующего жиди" (см.: Делевский Ю. Протоколы сионских мудрецов: История одного подлога. Берлин, 1923. С. 40-42. Не случайно, надо полагать, именно в начале 1899 г. "Русская старина" опубликовала рукопись М.Л.Магницкого "О водворении иллюминатства под разными видами в России". См.: Шильдер Н.К. Два доноса в 1831 году. Рус. старина. 1899. Январь — март. Характерно, что уже в 1831 году М.Л.Магницкий в связи с иллюминатами вскользь упомянул и о евреях, среди которых распространяется "иллюминатство особенного характера" (Март. С. 625), причиной чего является злой умысел раввинов, насаждающих кабалистику и магические толкования.

<sup>16</sup> Поражают объемы книг Шмакова: Еврейские речи. М., 1897, 674 стр.; Свобода и евреи. М., 1906, 793 стр.; Еврейский вопрос на сцене всемирной истории: Введение. М., 1912, 616 стр. Всего — 2317 стр. в четырех книгах.

<sup>17</sup> Шмаков А.С. Международное тайное правительство. С. 193, 493-494.

прочитать: "Ближайшим образом коммунизм Ленина и Троцкого связан с деятельностью секты иллюминатов" (1919. 14 окт.).

Аналогичным образом, то есть в контексте СРА, возникли на ранней стадии работы и представления о Воланде. Мы уже сказали об аспекте, так сказать, "еврейско-сатанинском". Но на формирование образа (точнее даже — облика) Воланда, вероятно, повлияли впечатления от фигуры знаменитого в начале века доктора Папюса (псевдоним Жерара Анкоса), автора изданных в России многочисленных книг о хиромантии, магии (черной и белой), масонстве, кабале, оккультизме, астрологии. Папюс был доктором Кабалы и медицины Парижского университета, президентом независимой группы эзотерических знаний, маршалом Верхней Манчестерской ложи, председателем Великой Сведенборгской ложи во Франции, Великим Жрецом Часовни и Храма INRI<sup>18</sup>. Необычайно важно, что отдельные детали из книг Папюса, видимо, повествующие о собственном опыте доктора, напоминают об облике и атрибутах Воланда.

"Воланд был со шпагой <...> Воланд поднял шпагу. Тут же покровы с головы потемнели и съезжались..." ("Мастер и Маргарита", гл. 23 "Великий бал у Сатаны").

В книге Папюса: "Экспериментатор (маг — М.З.) одной рукой держит шпагу с длинным острием, а другой сильно намагниченный жезл"<sup>19</sup>.

"Шпага мага, заканчивающаяся изолирующей рукояткой, имеет стальной наконечник. Это рассеиватель психического флюида <...> Никогда посвященный не обращается к невидимому существу, не имея шпаги, острие которой оттолкнет злые влияния"<sup>20</sup>.

"...Если маг предполагает, что вызванная им астральная сила желает злоупотребить своим могуществом и готова действовать против его намерений, то ему ничего не остается, как выставить острие своей шпаги"<sup>21</sup>.

"Чтобы производить операции, надо шить себе одежду из белого полотна, вроде рубашки, но до пола, с отверстием для головы и несколько шире книзу"<sup>22</sup>.

Между прочим, в книге "Магия и гипноз" (Киев, 1910) на стр. 262 Булгаков мог видеть иллюстрацию "Шпага. Действие шпаги при магических вызываниях": на картинке изображен маг со шпагой в правой руке, в хламиде, напоминающей одеяние Воланда. Шпага направлена в некоего "де-

---

<sup>18</sup>) *Ignis Natura Renovatur Integra* — огнем вся природа обновляется. Ср. с мотивом очищающего огня в романе ("Гори, гори, прежняя жизнь!"). В то же время INRI — Пилатова надпись: *Iesus Nasorensis Rex Iudaeorum*.

<sup>19</sup>) *Магия и гипноз: Сборник проверенных и доказанных фактов и опытов. Разъяснение оккультизма. Под ред. Папюса. Киев, 1910. С. 279.*

<sup>20</sup>) Там же, с. 287.

<sup>21</sup>) Папюс. *Практическая магия (черная и белая)*. СПб., 1912. Ч. 2. С. 86.

<sup>22</sup>) Там же, с. 93.

мона", вызванного магом и повисшего над ним в воздухе<sup>23</sup>.

От черного мага Папюса конкретные черты облика перешли к Воланду, устраивающему бал, в котором, в свою очередь, отразились детали шабаша и святотатственной черной мессы (а святотатство — это прерогатива евреев-сатанистов), которые Булгаков мог узнать из книг Папюса<sup>24</sup>. Характерно использование при этом головы Берлиоза: композитор с такой фамилией был автором "Торжественной мессы". Еще важнее, что черная месса сближалась в СРА с кровавыми еврейскими обрядами<sup>25</sup>. Вообще для СРА характерно истолкование в антисемитическом духе *всей* каббалы и черной магии: любые следы древнееврейской мистики и даже обычной символики сразу же истолковывались как знаки проекта еврейской мировой экспансии. Это же касалось и масонства: все *тайное* сближалось с еврейством, "еврейское" и "тайное" оказывались синонимами. Это необходимо учитывать при анализе "Мастера и Маргариты".

Царицу шабаша, красивую голую девушку, приносил на себе черный баран, прилетавший с севера. Мессир Леонард дефлорировал девушку на глазах у всех. Последний мотив Булгаков отверг вообще, черный баран заменен летающим автомобилем, остальное совпадает, включая наготу Маргариты.

Титулатура Папюса, в которой упоминаются и две масонские ложи, и кабала, естественным образом провоцировала особый интерес к нему и "еврейское" истолкование. Не случайно по одной из версий "Протоколы сионских мудрецов" были созданы для удаления от Николая II гипнотизера Филиппа, представителя масонских и стоящих за ними еврейских кругов. Доступ же ко двору был «открыт Филиппу, главным образом, благодаря доктору Папюсу, бывшему тогда "Председателем верховного Совета мартинистского ордена"»<sup>26</sup>. Иными словами, "Протоколы" были пущены в ход против ставленника доктора Папюса, что вполне недвусмысленно характеризует "имидж" черного мага. Другой пример. В четвертом издании "Протоколов"<sup>27</sup> мистик-антисемит С.А.Нилус использовал свиде-

---

<sup>23</sup> Ср. с названием главы "При шпаге я!" в "Тайному Другу": *шпага* — это атрибут не оперного Мефистофеля (с.м.: Чудакова М.О. Неоконченное сочинение Михаила Булгакова. Новый мир, 1987, №8, с. 192), а черного мага Папюса.

<sup>24</sup> Например, на шабашах все целовали апус козла, в облике которого пребывал мессир Леонард (Сатана); с.м.: Тухолка С. Оккультизм и магия. Спб., 1907. С. 89-90; Папюс. Практическая магия... Спб., 1913. Ч. 3, с. 269. У Булгакова в романе апус заменен коленом Маргариты.

<sup>25</sup> С.м., напр.: Монах Неофит о тайне крови у иудеев в связи с учением Каббалы. Спб., 1914. С. 14.

<sup>26</sup> Делевский Ю. Протоколы сионских мудрецов. С. 116.

<sup>27</sup> Нилус С.А. "Близ есть, при дверех". О том, чему не желают верить и

ния и иллюстрации из книги Элифаса Леви "Dogme et Rituel de la Haute Magie" (Paris, 1856)<sup>28</sup>, в частности, материал, посвященный предсказательному Таро. А "предсказательное Таро", тесно связанное с кабалой и "еврейскими тайнами", не могло не ассоциироваться читателями все с тем же Папюсом, автором книги "Le Tarot des Bohémiens" (Paris, 1889), кстати, воспроизводившей и всю еврейскую графическую символику из книги Элифаса Леви (в частности, *Таро* и *Тора* рассматривались на стр. 17 как тождественные по смыслу анаграммы). Между прочим, книга Папюса о Таро была переведена на русский язык<sup>29</sup> и была весьма популярна.

Совершенно естественно, что доктор Папюс был воспринят СРА как представитель "мирового еврейского правительства"<sup>30</sup> и послужил прототипом Эндера (Эндора)<sup>31</sup> Мамюса, профессора оккультных наук, еврея из Парижа, в антисемитском романе Е.А.Шабельской<sup>32</sup> "Красные и черные" (Изд. газеты "Русское знамя". Спб., 1911-1913. Ч. 1-3. В третьей части романа, интерпретирующего события 1905 года как результат всемирного "жидомасонского заговора", описан сон графини Вреде, "продавшейся жидам" (фамилия — неточная анаграмма слова "еврей"), накануне "катастрофы" 17 октября 1905 года. Графиня видит во сне жертвоприношение христианской девочки, которое совершает Мамюс — парижский еврей-сатанист<sup>33</sup>. Обращает на себя внимание одна существенная деталь: предло-

---

что так близко. Сергиев Посад, 1917.

<sup>28)</sup> См. плохой русский перевод (к тому же издание лишено иллюстраций): Леви Элифас. Учение и ритуал высшей магии. Т.1.Учение. Спб.,1910.С.173-180.

<sup>29)</sup> См.: Папюс. Цыгане Таро, или Книга Тота. Спб., 1910; Он же. Предсказательное Таро, или Ключ всякого рода карточных гаданий. Спб., 1912; Альбом рисунков "предсказательного Таро" Папюса. Спб., 1912.

<sup>30)</sup> Евреем Gérard Encausse не был.

<sup>31)</sup> В романе встречаются оба написания. Ср. с франц. *endolorin* — причинять боль, *endormager* — наносить ущерб, *endormir* — усыплять.

<sup>32)</sup> Елизавета Александровна Шабельская была актрисой и антрепренершей, ставила на сцене собственные сочинения и сама в них играла (см.: История русского драматического театра. В 7 т. М., 1987. Т. 7). Антисемитизм был для нее делом семейным: гражданским мужем Шабельской являлся доктор Алексей Борк, занимавший "отличное место по фабрично-заводской медицинской инспекции" (Кугель А.Р. Из моих воспоминаний. Жизнь искусства. 1924, №32. С. 5) и являвшийся учредителем и первым старшиной "Братства свободы и порядка", почетным членом Союза русского народа и председателем его Путиловского отделения (две его брошюры: "Союз русского народа" и "Кому и зачем нужна гибель Союза русского народа" — вышли в Петербурге в 1910 г.). Видимо, Шабельский-Борк, убивший В.Д.Набокова, был сыном Шабельской и Борка.

<sup>33)</sup> Кстати, именно в Париже — на что особое внимание обратил еще

женный жертве *стакан вина* со снотворным. Мамюс успокаивает девочку, подносит ей «стакан вина, прося ее выпить вместе с присутствующими <...> "Выпей за нашего владыку, девочка, и мы отпустим тебя на волю!"»<sup>34</sup>. Однако девочка, увидев изображение сатаны, роняет стакан, а затем пытается бежать. Ее ловят, и Мамюс ударом ножа в грудь убивает жертву. "Графиня Вреде с ужасом вскрикивает и... просыпается"<sup>35</sup>.

Ясно, что появление эпизода с увиденным во сне жертвоприношением христианского ребенка (для добывания из него крови) в третьей части романа (вышедшей в 1913 г.) было связано с "делом Бейлиса". Отдаленно этот эпизод напоминает о *чаше с кровью* барона Майгеля, которую Во-ланд протягивает Маргарите. Однако куда более основательным доказательством знакомства Булгакова с творчеством Е.А.Шабельской (а следовательно, и с антисемитским контекстом восприятия мага Папюса, облик которого повлиял на облик Воланда) оказывается сравнение с другим ее романом — "Сатанисты XX века". Являясь смесью салонной "дамской" прозы и "романа тайн и ужасов", довольно бойко написанные "Сатанисты" соединяют "масонскую тему" и мотив сатанизма, унаследованный от Гюисманса (роман "Там внизу"<sup>36</sup>), с идеей мирового еврейского заговора против христиан (славян). Именно для этого романа Шабельская придумала инициационный обряд, который не встречается нигде, ни в одном из описаний обрядов масонских организаций, но является точным подобием булгаковского описания. В ритуале, изобретенном Шабельской, помимо пистолета, из которого посвящаемый должен был стреляться по приказанию мастера (при взведении курка пуля пропадала в рукоятке; ср. с выстрелом в доносчика ("изменника") барона Майгеля, вследствие чего из него хлынула кровь), использовался «кубок, наполненный кровью "изменника", убитого на глазах посвящаемого. Кубок этот подносили уви-

---

*Я.А.Брафман — располагался центр Alliance Israélite Universelle. На Францию указывал и Нилус в комментарии к "Протоколам": они были добыты, писал он, "моим корреспондентом из тайных хранилищ Сионской Главной Канцелярии, находящейся ныне на французской территории" (Нилус С.А. Великое в малом и антихрист как близкая политическая возможность: Записки православного. 2-е изд. Царское Село, 1905. С. 394).*

<sup>34</sup> Шабельская Е.А. Красные и черные. Спб., 1913. Ч. 3. С. 14-15.

<sup>35</sup> Там же. С. 15.

<sup>36</sup> См.: Гюисманс Ж.К. Собр. соч. М., 1911. Т. 1. Ссылку на этот роман см. в кн.: Шабельская Е.А. Сатанисты XX века. Спб., 1912. С. 56. Кстати, у Гюисманса сатанизм объяснен как последствие возрождения манихейских идей (Гюисманс Ж.К. Указ, соч. С. 69), а это тема весьма популярная в булгаковедении. В этом же романе подробно излагается история черной мессы (с. 71-79) и описывается садизм сатаниста XV в. Жилья де Рэ, выпускавшего кровь из тел своих жертв (с. 180).

давшему "малый свет" [явная иллюминатская аллюзия — М.З.] — с приказанием выпить "кровь предателя", за "погибель всех изменников великому делу"<sup>37</sup>... Прodelывая эти обряды, — напоминала романистка, — испытываемые не задумывались об их символическом значении и не догадывались спросить себя, а нет ли в самом деле капли крови замученных христианских детей в этом "кубке смерти"..."<sup>38</sup>

Маргарите (посвящаемой) именно и подносят кубок, наполненный кровью изменника — барона Майгеля, убитого на ее глазах, и приказывают выпить кровь предателя. В синтагматическую цепочку Е.А.Шабельская выстроила те элементы (кровь, чаша, жертва, предатель, убийство), которые порознь присутствуют в различных описаниях масонских обрядов. Иными словами, речь идет об одной и той же парадигме. Опуская цитаты, сошлемся на такие источники, очевидно, известные Булгакову, как статья С.В.Ешевского "Материалы для истории русского общества XVIII века. Несколькo замечаний о Н.И.Новикове"<sup>39</sup>; книга академика П.П.Пекарского "Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия"<sup>40</sup>; входивший в репертуар гимназического чтения роман Д.С.Мережковского "Воскрешение боги. Леонардо да-Винчи"<sup>41</sup>; наконец, антисемитская брошюра Н.Л. и Г.В.Бутми "Обличительные речи. Франк-масонство и государственная измена", где "масонский обряд" был придуман автором<sup>42</sup>.

Итак, синтагматическая цепочка была выстроена Шабельской из элементов, наверняка Булгакову известных — хотя бы по упомянутым источникам. Теоретически можно допустить, что писатель выстроил свою собственную сюжетную синтагму независимо от "Сатанистов" и произошло совпадение. Однако вероятность его чрезвычайно мала. Вообще говоря, для человека булгаковского поколения, тем более для киевлянина,

---

<sup>37</sup>) Очевидно, описание восходит к 45-му закону "Еврейского зеркала", *впер-вые переведенного с немецкого А.С.Шмаковым и опубликованного в его кн. "Еврейские речи" (М., 1897). 45-й закон предписывал убивать или калечить донощиков.*

<sup>38</sup>) Шабельская Е.А. *Сатанисты XX века. Роман. Оттиски фельетонoв газ. "Колокол" за 1911 год. Вып. 1. Ч. 1-2. Изд. В.М.Скворцова. Спб., 1912. С. 30-31.*

<sup>39</sup>) *Ешевский С.В. Соч. М., 1870. Ч. 3. С. 421-422.*

<sup>40</sup>) *Пекарский П.П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. Спб., 1869. С. 40. Сочинения Ешевского и Пекарского Булгаков наверняка читал: они были указаны в списке литературы, помещенном в статье "Франк-масонство" в "Энциклопедическом словаре" Брокгауза-Эфрона (т. 36а) — основном источнике информации для писателя.*

<sup>41</sup>) *Указано М.В.Безродным.*

<sup>42</sup>) *Н.Л., Бутми Г.В. Обличительные речи. Франк-масонство и государственная измена. Спб., 1906. Вып. 1. С. 87.*

мотив крови не мог не носить специфически "еврейского" характера, и подчеркнутое внимание к крови в романе явно отсылает к определенным культурным ассоциациям, к той обильной книжной продукции, которая "неопровержимо доказывала" употребление евреями христианской крови.

Интересно с этой точки зрения проанализировать обмывание Маргариты сначала кровью, а затем розовым маслом: описание отсылает к обряду очищения в еврейском религиозном обиходе — *микве*, подробное и восторженное описание которой оставил Розанов в "Уединенном". Страницы, посвященные микве, насыщенные острыми сексуальными деталями, безусловно, относятся к числу самых запоминающихся в этой книге. И, видимо, Булгаков умышленно сохранил в тексте детали, позволяющие вспомнить именно о микве. Вокруг бассейна *горят свечи*; Маргариту окутывают Гелла и Наташа, Коровьев же может стоять лишь *у дверей* комнаты с бассейном; Маргарита *одна* принимает участие в омовении. Характерно и то, что Булгаков фактически воспроизводит розановскую синтагму: в обоих случаях за омовением следует описание *бала, бального зала с колоннами и полета*. В "Мастере и Маргарите" естественным образом опущен вопрос о том, *чьей кровью* омывают Маргариту. Стоит его задать, и текст переключится в совершенно иной регистр. Но у Булгакова этого нет, хотя "кровавая миква" — это такое же святотатство по отношению к установлениям иудаизма, как черная месса (элементы которой использованы в описании бала Вооланда) — по отношению к установлениям христианства.

Особую роль в булгаковском случае играет другая книга Розанова — "Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови" (1914). Несмотря на явный антисемитизм и безнравственность, это сочинение, написанное выдающимся мастером. Трудно предположить, что Булгакову оно было неизвестно. В книге страстное припадание к "иудейским тайнам", кабалистическое истолкование расположения ран на голове мальчика А.Ющинского сочетались с мотивами *крови и отрезанной головы*. Как и в случае с "Сатанистами XX века", сопоставление текстов из книги Розанова и романа Булгакова заставляет предположить прямое заимствование.

Речь, прежде всего, идет об опубликованной Розановым в книге статье некоего  $\Omega$  — яростной полемике с трудом известного семитолога, профессора Петербургского университета Д.А.Хвольсона "О некоторых средневековых обвинениях против евреев" (Спб., 1880), в котором автор полностью отвергал чудовищные и абсурдные обвинения, выдвинутые против евреев. В качестве же контрдоводов  $\Omega$ , настаивавший на том, что евреи употребляют-таки христианскую кровь, цитировал другую книгу Д.А.Хвольсона — "Die Ssabier und der Ssabismus" (St.-P., 1856), посвященную халдейским и сирийским сабеям.  $\Omega$  заинтересовал в этой книге сюжет о ритуальных убийствах и обрядах, связанных с отделенной от ту-

ловища головой. Обрядам такого рода, писал Ω, подвергались люди, вид которых "соответствует виду Меркурия" (имеется в виду астрологическая связь); обряды были приурочены к точке кульминации Меркурия<sup>43</sup>. При этом Ω ошибочно контаминировал культ Меркурия и декапитацию: согласно книге Хвольсона это совершенно различные, никак не связанные друг с другом обряды.

Булгаков, немецкой книги Хвольсона наверняка не читавший, эту ошибочную контаминацию повторил.

По немецкой книге Хвольсона приводилось сообщение Маймонида, который в комментарии к Мишна-Торе указывал: "Берут голову человека после того, как плоть его истлела, и осторожно поднимают ее, затем делают воскурение над нею — и тогда слышат эту голову говорящей < ... > "<sup>44</sup>. "Подобные же указания на "говорящие головы", — резюмировал Ω, — мы встречаем во всех тайных обществах, так или иначе связанных с семитской, и в частности с иудейской, магией"<sup>45</sup>.

Такая голова предсказывала. Ω называл ее терафим<sup>46</sup>. В помещенной в книге статье "О терафимах" сам Розанов даже нарисовал жуткую сцену, которая сильно напоминает эпизод в "Мастере и Маргарите" (где Воланд разговаривает с отрезанной головой Берлиоза): Ω Голову вытаскивают из масла и говорят:

"Пойми и предскажи".

И голова страдальца... говорила. Говорила ведь? Слышали, — глухо, шепот, тихо, но — "слышали"<sup>47</sup>.

Описание "живой головы" Булгаков мог прочитать в книге М.А.Орлова "История сношений человека с дьяволом" (Спб., 1904), конспект которой сохранился в булгаковском архиве: "Глаза отрубленной головы медленно открылись и сделали явный утвердительный знак своими веками" (с. 314).

Описание черепа на блюде могло появиться вследствие знакомства писателя с популярной книгой Гекерторна "Тайные общества всех веков и всех стран", где в описании некоего масонского общества "Левитикон" (Франция, начало XIX в.) давался следующий текст присяги: "Если я когда-либо самовольно нарушу мое торжественное обязательство брата храмовника < ... > пусть мой череп распилят тупой пилой, вынут мозг и

---

<sup>43</sup> См.: Розанов В.В. *Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови*. Спб., 1914. С. 193-194. Ср.: Chwolsohn D. *Die Ssabier und der Ssabismus*. St.-P., 1856. Bd. 2. S. 395-396.

<sup>44</sup> Розанов В.В. *Указ. соч.* С. 196. Ср.: Chwolsohn D. *Op. cit.* Bd. 1. S. 693.

<sup>45</sup> Розанов В.В. *Указ. соч.* С. 196-197.

<sup>46</sup> См. подробное толкование и в статье "Терафим". *Еврейская энциклопедия*. Спб., [б. г.] Т. 14. Стб. 809-810.

<sup>47</sup> Розанов В.В. *Указ. соч.* С. 286.

положат на блюдо <...><sup>48</sup>.

Упоминание Меркурия ("Меркурий во втором доме", — говорит Во-ланд Берлиозу, вид которого, вероятно, "соответствует виду Меркурия") может объясняться прямым заимствованием из статьи "Астрология"<sup>49</sup>.

Однако если рассматривать *пересечение* мотива "живой головы" и упоми- нания Меркурия, то окажется, что оно присутствует лишь в книге Роза- нова и в романе "Мастер и Маргарита", где сюжетным мотивировочным звеном оказывается Берлиоз. К тому же в описании Орлова начисто от- сутствует эмоциональная, бьющая по нервам разработка эпизода, в то время как и у Розанова, и у Булгакова голова *страдает* ("<...> и на мерт- вом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза").

Кроме того, в книге Розанова с терафимом "сцеплено" *масло*, в кото- ром голова сохраняется до того, как ее начинают использовать. Это мас- ло преобразуется у Булгакова в "подсолнечное масло", которое разлила Аннушка. Таким образом, одна синтагма (у Розанова) трансформируется в другую (у Булгакова), в которой, кстати, способность терафима пред- сказывать передана Воланду. В данном случае объяснить сходство пара- дигм (набор элементов) одним лишь совпадением опять же трудно: го- раздо вероятнее непосредственное знакомство Булгакова с книгой Розано- ва, ее "переработка" в роман. Кстати, напомним, что в романе есть и дру- гая "живая голова" — конференсье Бенгальского, декапитация которого сопровождается обильным кровотечением, доставляющим удовольствие колдунам-мучителям<sup>50</sup>.

Непосредственное отношение к нашей теме имеет и сам барон Май- гель. Имел ли в виду Булгаков определенный прототип? Наше предполо- жение заключается в следующем. Для человека булгаковского поколения и круга словосочетание "барон Майдель" было привычной "твердой фор- мой": *Майдель* — чрезвычайно распространенная баронская фамилия в России (Булгаков, например, не мог не знать прозектора при Киевском университете св. Владимира барона Эрнеста Эрнестовича Майделя). Но форма "барон Майдель" лишь замаскировала цель, куда более актуаь- ную для Булгакова в тридцатые годы: литературоведа Михаила Гаврило- вича *Майзеля* (1899-1937), доцента ленинградского Историко-лингвисти-

---

<sup>48</sup> Гекертон Ч.У. *Тайные общества всех веков и всех стран. В 2-х ч. Спб., 1876. Ч. 1. С. 241.*

<sup>49</sup> "Энциклопедический словарь" Брокгауза-Ефрона. Спб., 1890. Т. 3. С. 373. На это указано Б.Соколовым: *Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. М.: Высшая школа*, 1989. С. 391.

<sup>50</sup> Впрочем, "фокус" с головой конференсье напоминает и, возможно, вос- ходит к аттракциону "Голова демона", входившему в арсенал "белой магии"; см., напр.: *Тайны магии. Варшава, 1909. С. 486-490.*

ческого института, автора ряда книг о советской литературе. В сочинениях левонапостовца и литфронтовца М.Г. Майзеля Булгаков неизменно характеризовался как представитель "новобуржуазного направления", художественного "шульгинизма"<sup>51</sup>. Именно Майзель использовал слово "апология" ("апология чистой белогвардейщины"), введенное впоследствии в последний роман.

Возможно, что Булгаков что-то знал о доносительстве (в прямом смысле слова) Майзеля, если назначил на роль шпиона именно его; возможно, отличил за то, что Майзель *высказывал вслух* то подразумеваемое, что прямо в тексте не называлось, но будучи сформулированным, напечатанным, становилось именно *доносом*.<sup>52</sup> Знал, вероятно, Булгаков и об аресте Майзеля в период "большого террора" (убит 4 ноября 1937 г.)<sup>53</sup>. Эта смерть, интерпретированная в романе как *справедливое возмездие* (ощущение, действительно испытанное Булгаковым в 1937-1938 гг.), и нашла фантастическое объяснение в романе: на балу у Воланда барона Майгеля убивает Азazel.

Пересечение этого убийства с мотивом крови основано на перевертыше: согласно антисемитским мифам, евреи убивают христиан (чаще детей), чтобы использовать их кровь в своих пасхальных приготовлениях. Здесь же в пасхальную ночь используется кровь барона, прототипом которого является литературный критик — еврей. "Благо", которое совершают силы зла, приобретает ритуализованный характер: Азazel у древних евреев был божеством, которому приносили в жертву козла, роль коего и выполняет Майгель. Но "Азazel — ключ к Дионису"<sup>54</sup>, поэтому в романе немедленно возникает превращение крови в вино, отсылающее читателя одновременно к метафоре из древнееврейской книги, где вино именуется "кровью гроздей" виноградных (Быт. XIX, 11)<sup>55</sup>, и к парадигме чер-

---

<sup>51</sup> См.: Майзель М.Г. *Новобуржуазная литература*. Л., 1929. С. 45-47; Он же. *Краткий очерк современной русской литературы*. М.; Л., 1931. С. 128-129; Он же. *О рабочих критических кружках*. Лит. учеба. 1930, №1. С.101-114.

<sup>52</sup> "Доносчиком Видоком" назвал Булгаков Ю.К. Олешу после его эпиграммы с намеком на то, что Булгаков "бел нутром": об этом полагалось молчать (см.: Овчинников И. В редакции "Гудка". *Воспоминания о Михаиле Булгакове*. М., 1988. С. 142-143.

<sup>53</sup> Ср. с удивлением Маргариты ("Позвольте... — подумала Маргарита. — Он стало быть, что ли, тоже умер?") и предсказанием Воланда ("Это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц").

<sup>54</sup> Евреинов Н.Н. *Азazel и Дионис: О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у семитов*. Л., 1924. С. 185.

<sup>55</sup> О мотиве превращения крови в вино см.: Бахтин М.М. *Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса*. М., 1990. С. 232. Как у Апулея

ной мессы, в которой "для большего успеха <...> рекомендовалось принести в жертву новорожденного младенца, причем кровь его сливалась в чашу и от нее пили и священник-рenegат, и женщина-алтарь, после чего следовало их совокупление"<sup>56</sup>.

Булгаков соединил это описание с превращением крови в вино, заменив новорожденного младенца Майгелем — Майзелем.

И наконец последний мотив, на который нельзя не обратить внимания, — мотив *денег*. Волшебные деньги, которые возникают во время сеанса в Варьете, связаны с популярной в СРА темой власти евреев (и Антихриста) над миром вследствие концентрации в их руках значительных капиталов, *золота*.

В заключение подчеркнем, что из рефлексов СРА последнего романа с необходимостью не следует антисемитизм самого Булгакова в тридцатые годы, его желание хотя бы и тайно, хотя бы в виде шифра, но об этом антисемитизме заявить. Впрочем, теоретически возможны три варианта:

а) бессознательное манипулирование "готовыми", лишенными прежнего смысла формами, *бриколаж*; но при этом отсутствует всякая связь форм с первоначальным содержанием, которое попросту забыто;

б) сознательное восстановление элементов иллегитимированной СРА, его "второе рождение", но уже в зашифрованном виде;

в) не до конца удавшаяся попытка преодолеть содержание раннего варианта, как основной сюжетный ход включавшего концепцию "мирового еврейского заговора" и наличия "мирового еврейского правительства" (Воланд — его эмиссар). Видимо, из-за такого содержания и последовало уничтожение ранней редакции романа, что напоминает об уничтожении дневника 1924-1925 гг. с явно антисемитскими записями<sup>57</sup>.

Вариант "в" представляется наиболее вероятным. К тому же он включает в себя редуцированный вариант "б", служащий успокоению *исколотой памяти* — мотив, который объединяет автора романа, Ивана Бездомного, и пятого прокуратора Иудеи, всадника Понтия Пилата.

---

в "Золотом осле", у Булгакова "мрачный суд оборачивается сценой всеобщего веселого смеха".

<sup>56</sup> Тухолка С. *Окультизм и магия*. Спб., 1907. С. 91; републиковано: Паюс. *Практическая магия*. Ч. 3. С. 263-264.

<sup>57</sup> См.: Булгаков М.А. *Под пятой: Мой дневник. 1923-1925. Театр. 1990, №2; отрывок: Огонек. 1989, №51. Найденный в недрах архива ГПУ, где с отобранного при обыске 7 мая 1926 г. дневника сняли копию, он со значительными купюрами (касающимися именно негативного отношения Булгакова к евреям) был опубликован и вызвал сенсацию. Целиком публикация дневника готовится к 100-летию со дня рождения писателя в "Булгаковском альманахе" (ред. А.А.Ничов)*

## ЛЮДИ И КНИГИ

---

М. Вартбург

### РЕЦЕПТ БЕССМЕРТИЯ

(В.Лазарис. "Сонет для Статуи Свободы",  
изд-во "Дом", Тель-Авив, 1989)

Новая книга журналиста, писателя и переводчика Владимира Лазариса ("Резервисты", "Бункер", "Моя первая война" и др.) посвящена поэтессе, эссеистке и переводчице Эмме Лазарус ("Семитские песни", "Пляска смерти" и др.). Фонетическая близость фамилий случайна: Владимир Лазарис — бывший московский еврей, репатрировавшийся в семидесятых годах в Израиль, тогда как Эмма Лазарус — американская еврейка, родившаяся в 1849-м и умершая в 1887-м году. Имя Лазариса известно русскоязычным читателям, пожалуй, больше, чем имя Лазарус, хотя в Америке дело обстоит, по-видимому, наоборот: Эмма Лазарус — автор знаменитого "Сонета для Статуи Свободы", одно из четверостиший которого выгравировано на постаменте упомянутой статуи. Поскольку Статуя Свободы неразрывно связалась в сознании ряда поколений с представлением о Соединенных Штатах, а сонет Э.Лазарус столь же неразрывно связался с представлением о Статуе Свободы, то пропуск в бессмертие поэтессе был обеспечен, так сказать, автоматически. В.Лазарис решил подробно познакомить русскоязычного читателя с этим "рецептом бессмертия", справедливо полагая, что жизнь и творчество его героини остаются для этого читателя тайной за семью замками.

Свою биографию Э.Лазарус автор начинает задолго до рождения поэтессы и кончает лет через двадцать после ее смерти, но на это у него есть свои основания. Сегодняшняя американская литература кажется немыслимой без ее еврейской составляющей (И.Башевич-Зингер, С.Беллоу, Ф.Рот, Н.Подгорец, Ц.Озик и многие другие), но в прошлом веке этой составляющей еще не было, и Э.Лазарус с ее "Семитскими песнями" и сионистскими эссе была, можно сказать, первой ласточкой, воспарившей в данном направлении. Интерес к процессу становления американской еврейской литературы естествен; он столь же естественно приводит автора к необходимости рассказать о становлении американского еврейства вообще, и первая часть книги посвящена именно этому рассказу. В. Лазарис ссылается на американского историка М.Шепса, чья книга "Документальная история евреев в США" стала неисчерпаемым источником богатейшей и малоизвестной информации, использованной в "Сонете для Статуи Свободы".

Информацию, почерпнутую из книги М.Шепса и других источников, В.Лазарис слегка расширил, щедро пользуясь для этого разрешенным писателю художественным воображением. Первые строки "Сонета" ("Питер Стювесант с такой яростью нажал на перо, что чернильные пузырьки брызнули на

бумагу и на его кружевные манжеты") задают всю литературную тональность книги. Это — распространенный жанр беллетризованной биографии. Поскольку речь идет о биографии творческой, в книге преобладает разговор о стихах и эссе, а поскольку, вдобавок, это творческая биография человека, глубоко zaangażированного в еврейские дела, то попутно мы узнаем и о тогдашних еврейских делах. Книга о поэтессе была бы суховатой без образцов ее поэтического вдохновения, и тут на помощь Лазарису-биографу приходит Лазарис-переводчик, который снабжает автора своими переводами стихов Эммы Лазарус.

Оговоримся сразу: поэзия Э.Лазарус не поражает размахом. Вполне профессиональный перевод вполне позволяет увидеть монотонность ритма, напыщенность образного строя и ходульность эмоций. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть хотя бы заключительные строки из "Синагоги Ньюпорта": "Пока шагов почтительную робость/ Хранят полы, святыне нет конца,/ Как у Куста горящего, сбрось обувь/ Пред вечной тайной Смерти и Творца." Или из сонета на смерть Эмерсона, старшего друга, учителя и покровителя поэтессы: "Отец и Мастер! Нас любовь сомкнула, / Она — не слава — громче всяких од,/ И Тень твоя как будто промелькнула./ Нам запретив оплакать твой уход." Строго говоря, Э.Лазарус была весьма слабой поэтессой — до европейских и даже американских современников и собратьев по перу ей было далеко. Тем не менее и знаменитый Эмерсон, и не менее знаменитый Тургенев отдавали ей дань искреннего уважения. Ее высоко оценивала американская еврейская и нееврейская критика того времени. Надо думать, это признание было связано с новизной темы, которую она привнесла в американскую поэзию. Начав с вполне универсальных тем, она к началу 80-х годов постепенно почти полностью перешла на еврейские мотивы. Время еврейских погромов в России совпало с зародившимся у нее интересом к Гейне, а последующая массовая эмиграция русских евреев в Америку — с открытием своего еврейства. Ее поэзия, оставаясь попрежнему рассудочной и суховатой, обрела силу внутреннего чувства, продиктованного осознанием вековых еврейских страданий. Имманентная логика этого чувства побудила ее обратиться к изучению иврита и идиш, а отсюда уже было рукой подать до увлечения протосионистскими идеями Дж.Элиота (роман "Даниэль Деронда"), Л.Олифанта ("Земля Гилеад") и других английских авторов 80-х годов. Творческим итогом этого духовного развития стало знаменитое "Послание к евреям", в котором Э.Лазарус с неженской трезвостью и четкостью проанализировала ситуацию еврейства и высказалась за "национальное возрождение как единственное решение вечного вопроса, единственную гавань и прибежище после долгих скитаний". Одновременно она столь же четко постулировала, что "американскому еврею ... нет нужды связывать свои надежды с образованием еврейского государства. Американскому еврею нужно лишь проявить бескорыстное сострадание к своим угнетенным братьям и содействовать, насколько в его силах, созданию для них безопасного убежища."

Вся программа будущего Еврейского Агентства и Магбита (равно как и весь современный конфликт между Израилем и диаспорой) уже содержится

в этих словах.

Было только естественно, что в пору создания легендарной Статуи в нью-йоркском порту, которая должна была стать символом надежд для всех беженцев из Старого Света, певец сострадания, каким была Эмма Лазарус, первым откликнулся на знаменательное событие. Сонет, сочиненный ею для выставки-аукциона, где собирались недостающие средства на постамент для Статуи Свободы, оказался не только чеканной поэтической формулой, осмыслившей символику "Нового колосса", но и своего рода итогом всей жизни поэтессы — творческой, еврейской и общегражданской. Спустя четыре года Э.Лазарус скончалась от рака в возрасте 38 лет. Несмотря на скромность поэтического дарования, она завоевала бессмертие. Как убедительно показывает В.Лазарис, рецепт этого бессмертия состоял в сочетании искреннего национального чувства с глубоким историческим прозрением, вспыхнувшим от соприкосновения с уникальным и глубоко символическим событием. В истории литературы — и просто истории — есть немало таких "строчек на века": "Марсельеза", "Атиква" и вот — "Сонет для Статуи свободы".

Книга В.Лазариса подстать ее героине — скромный, но искренний след увлечения, сострадания и признательности. Она заметно уступает другим книгам этого автора (особенно его военным повестям и сборнику интервью об израильской армии): не так свежа по материалу и не вызывает столь же сложных размышлений. Она даже во многом шаблонна. Но в своем жанре она несомненно удачна. Русскоязычный читатель узнает из нее то, чего он не знал и что стоит узнать, коль скоро он хочет прослыть "культурным человеком". Она прекрасно, даже роскошно издана, с большим полиграфическим вкусом оформлена, замечательно проиллюстрирована (все это — несомненная заслуга художника Д.Менделевича) и легко, прозрачно написана (что уже заслуга автора). Эта книга заслуживает места на полке с табличкой "Жизнь замечательных людей".

-----  
А.Пташкин

#### ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

(Pierre Boule. *Les jeux de l'esprit*. Paris, Juillard, 1971)

Новая книга — это та, которая только что прочитана. Недавно мне попала на глаза книга Пьера Буля "Игры ума". Я получил от нее большое удовольствие.

Пьер Буль, насколько мне известно, на русском языке представлен двумя романами — "Планета обезьян" и "Мост через реку Квай". Он — один из самых читаемых и переводимых на языки мира французских романистов. Пьер Буль — вполне коммeрческий писатель.

*В романе "Игры ума" рассказана следующая поучительная история.*

*В один прекрасный день становится ясна беспомощность политических элит и правительств. Беспорядок в мире достигает возмутительного уровня, а большинство человечества безнадежно увязает в мизерableм состоянии.*

*Научная элита предлагает все взять в свои руки, и политики, изнуренные своей неэффективной возней, подумав, соглашаются.*

*Всемирное правительство ученых создано, и все быстро становится на свои места. Решены проблемы перенаселения, очищена среда обитания, покончено с нищетой. Дела человечества устроены, но, как говорил писатель О'Генри: сначала казалось, что дельце выгодное, но погодите, дайте рассказать до конца.*

*После некоторой релаксации начинаются проблемы. Становятся все более частыми несчастные случаи. Автомобили врезаются друг в друга, самолеты садятся мимо посадочной полосы и так далее. Смертность угрожающе нарастает.*

*Одновременно ученых начинает заботить проблема, казалось бы, второстепенная, но очень для них обидная: народ не проявляет никакого интереса к науке.*

*Ученым несколько обидно. Ведь наука — такое захватывающее занятие! Ученые вовсе не были элитистами, стремившимися припрятать науку как источник тайного знания исключительно для своей касты. Наоборот. Они хотели поделиться своим бесценным достоянием со всеми. И вот обнаружилось, что наука интересует людей меньше всего.*

*Итак, надо было решать две проблемы. Во-первых, растолковать согражданам радости и увеселения любителя науки. Во-вторых, понять, почему люди мрут как мухи без всякой видимой причины — просто, так сказать, на бегу, в результате необъяснимой случайности.*

*Чтобы решить первую проблему, стали читать населению хорошо продуманные популярные лекции. Результат не замедлил последовать и несколько озадачил ученых.*

*Ведущий астрофизик доступно изложил публике свою новейшую концепцию происхождения космоса, галактик и звезд. Лед был сломан. Публика была в страшном возбуждении, и на астрофизика посыпались вопросы. На разные лады народ спрашивал: можно ли будет теперь, наконец, предсказывать будущее?*

*Крупнейший математик разъяснил аудитории самые последние достижения теории вероятности. Воодушевленные слушатели и его забросали вопросами. Они хотели знать: можно ли теперь рассчитать надежную стратегию для игры в рулетку?*

*Физики, математики, биологи, химики и психологи, грамотно и разумно управлявшие миром, задумались.*

*Между тем психологам удалось установить, почему так росло число несчастных случаев. Обнаружилось, что они, как правило, — результат, в лучшем случае, небрежного отношения к жизни, в худшем случае — самоубийств. Волна самоубийств нарастала.*

*Постепенно обнаружилась и причина самоубийств — скука. Мир благоустроился, но стал скучен.*

*Стали думать, что делать. Главный авторитет отошел к психологам, и психологи придумали следующее. Были организованы соревнования по борьбе без правил. Это был все тот же "кэтч", но с одним нововведением: борьба шла до смертельного исхода. Были построены огромные стадионы, проводились непрерывные чемпионаты мира и, разумеется, все это транслировалось по телевидению.*

*Успех. Кривая самоубийств пошла вниз. Но не надолго. Упадок моральных сил человечества не удалось радикально остановить.*

*Тогда был предложен усиленный вариант того же лекарства. Даже несколько. Принцип был тот же самый: драка на смерть, но в разных экстравагантных условиях. Например, под водой в аквалангах, или в воздухе, или в лесу и так далее.*

*Колористическое обогащение зрелища помогло, но опять не надолго. Тогда схватки были превращены в групповые. Постепенно перешли к схваткам с применением более изощренного оружия. Стали планировать схватки на несколько дней, на месяц...*

*Нетрудно догадаться, в каком направлении все пошло. Военные операции, транслируемые во всех деталях по телевидению, вытеснили в качестве развлечения все остальное.*

*Ученые наблюдали за играми ума вместе со всеми, но не участвовали в них. Среди них даже нашлись еретики, сомневавшиеся в том, что лекарство от самоубийств найдено корректное. Но после некоторых колебаний и они присоединились к авторитетному мнению большинства.*

*Заключительный аккорд выглядит примерно так: всеобщее побоище с применением ядерного, химического и бактериологического оружия. Гибнет чертовой матери все. И все с увлечением наблюдают собственную гибель по телевидению.*

\* \* \*

*Остроумная парабола. По духу вполне скептически-консервативная. Наглядно выражающая самую, на мой взгляд, сильную сторону консерватизма — скептицизм. Поучающая нас еще раз, что осуществление идеала (в виде полного порядка) на земле ведет к исчезновению жизни. В самом деле, выбор между индивидуальным и коллективным самоубийством — не богатый выбор.*

*Не надо, конечно, заходить слишком далеко и делать вывод о тщетности каких бы то ни было улучшений земной юдоли вообще.*

*Не надо также думать, что ситуация, возникшая в книге в результате успешной деятельности сайентистского правительства, возможна. Провидение ведет прогресс вдоль асимптотической кривой. Мы не знаем, правда, как далеко от асимптоты мы располагаемся теперь, но она где-то есть. И об этом нам напоминает фантазия Пьера Буля.*

*Нуждаемся ли мы в таких напоминаниях? С одной стороны, само су-*

ществование асимптоты, кажется, гарантирует нам уверенность в нашем будущем. С другой стороны, можно предположить, что дело с этим миром обстоит сложнее и асимптоту можно передвигать, как ни безграмотно может показаться это предположение кандидатам физико-математических наук. Попытка сделать это — возможна, хотя наказывается так, что это равноценно невозможности. (Мы могли бы варьировать этот парадокс на разные лады, но в ряд ли это продвинет нашу мысль дальше.)

\* \* \*

В основе книги лежит логическая схема, которой можно было бы придать вид концепта. Этот концепт вполне видится как эссе на пять-семь страниц или как стихотворение, например. В принципе его можно представить себе в виде афоризма. Зачем же этот концепт насаживается на целый роман?

Как лингвистический материал, роман Пьера Буля совершенно неинтересен. Язык его примитивен и никаких семантических игр в нем нет. Характерология и межперсонажные коллизии скудны почти до полного отсутствия. В общем, они сводятся к подсказкам сценаристу и режиссеру на случай, если кто-то захочет превратить роман в киносценарий.

Вероятно, роман и писался как болванка для киносценария. Это сценарный полуфабрикат. Очень многие широко читаемые романы именно таковы. Прогресс видеопродукции на рынке искусств сильно повлиял на литературную технику.

Но есть, вероятно, и другие соображения для превращения концепта в роман, как правило — небольшой роман, но все же в книжный том ощутимого размера, в книгу, в вещь. Это соображения одновременно коммерческие и дидактические.

Дело в том, что словесный концепт — не вещь. Он имеет ограниченную циркуляцию. Хотя афоризм, стихотворение, короткое эссе могут быть опубликованы в газете, там они легко могут потеряться. А чтобы зарабатывать на этом, нужно печь такие произведения grosсами. В любом случае качество концептов поддержать не удастся. Профессиональные афористы, стихотворцы и авторы колонок обречены на посредственность. Как бы высоко ни оценивался их продукт по внутренним профессиональным критериям, он — жвачка.

Много хороших концептов не придумашь. И чтобы заработать на них, нужно придавать им такой товарный вид, который обеспечивает хороший заработок в расчете на единицу продукции. Такая единица продукции — роман.

В дидактическом плане таким образом удастся избежать "разжижения" концепта до уровня стандартной газетной продукции. По-видимому, некоторые писатели в этом заинтересованы. Они предпочитают сохранить концепт на высоком уровне. Форма короткого романа позволяет сохранить достоинство, одновременно прилично зарабатывая. Это удастся, однако, только если автор — талантливый концептуалист и хорошо знает технику нарративной прозы. Буль — именно такой автор.



*Александр Тавшунский (Израиль). Из иллюстраций к повести  
А.Платонова "Котлован".*

## ОБ АВТОРАХ НОМЕРА

*М.Зайчик (Иерусалим) — писатель и журналист, автор книг "Феномен", "Сделано в СССР" и др.; в Израиле с 1973 г.*

*К.Капович (Иерусалим) — поэтесса; в Израиле с 1990 года; в "22" публикуется впервые.*

*С.Бурда (СССР) — поэт; в "22" публикуется впервые.*

*Б.Хазанов (Мюнхен, ФРГ) — писатель и публицист, соредактор журнала "Страна и мир", автор книг "Час короля", "Я воскресение и жизнь" и др.; в "22" опубликовал повесть "Бешт, или четвертое лицо глагола".*

*З.Герберт (р. 1924 г. во Львове) — польский поэт, автор книг "Рапорт из осажденного города", "Варвары в саду", "Элегии на прощанье" и др., продолжатель классических традиций мировой поэзии.*

*Д.Флуссер (Иерусалим) — профессор Еврейского университета, автор многочисленных исследований по истории иудаизма и раннего христианства; публикация в "22" представляет собой главы из подготовленного к печати полного перевода книги "Иисус", осуществленного в Москве С.Тищенко под редакцией и с комментариями С.Лезова.*

*С.Баранчак (США) — польский поэт и критик, профессор Гарвардского университета.*

*Л.Аннинский (Москва) — советский критик и литературовед, сотрудник журнала "Литературное обозрение", автор многочисленных статей, а также книг о Лескове, Писемском и др.*

*Ж.Гимпель (Лондон) — историк, исследователь культуры и техники средневековья.*

*А.Кустарев (Лондон) — писатель и социолог, сотрудник русской службы Би-Би-Си, автор ряда книг и статей; в "22" опубликовал цикл "Социально-политический фольклор советской интеллигенции" и другие произведения.*

*М.Хейфец (Иерусалим) — историк, писатель и публицист, автор книг "Место и время", "Военнопленный секретарь", "Украинские силуэты" и др., а также многочисленных статей в "22" и др. русскоязычных изданиях; публикация в №№74-76 представляет собой дайджест выходящей в свет книги.*

*М.Золотоносов (Ленинград) — критик и публицист, сотрудник газеты "Час пик".*

**Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН**

*Редакционная коллегия:*

**В.БОГУСЛАВСКИЙ, А.ВОРОНЕЛЬ, Н.ВОРОНЕЛЬ,  
Н.ГУТИНА, Э.КУЗНЕЦОВ, Ю.МЕКЛЕР,  
М.ХЕЙФЕЦ, Я.ЦИГЕЛЬМАН, И.ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Миррам БАР-ОР  
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять  
по адресу: "22", п/я 44050, Тель-Авив 61440.  
Телефон редакции – 1031394525*

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва–Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле — 100 шек., для организаций — 110 шек., за рубежом — 75 долларов (авиапочтой в Европу — 85, в США — 90 долларов), для организаций — 95 долларов (включая почтовые расходы)

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране) — 60 шекелей (с рассрочкой в 3 платежа).

**ПОДПИСНОЙ ТАЛОН**

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с № . . . . .

Прилагаю чек (чеки) № . . . . . на сумму . . . . .

Журнал прошу выслать по адресу . . . . .

. . . . .

. . . . .

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала . . . . .

(фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я — 44050

